

International Literary Magazine #

KRESCHATIK 62

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Белл-Howarth

#62
KRESCHATIK
International Literary Magazine



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор
Борис Марковский
Зам. главного редактора
Евгений Степанов (*Москва*)

Зав. отделом прозы
Елена Мордовина (*Киев*)
тел. (038) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:
Андрей Коровин (*Москва*)
Борис Херсонский (*Одесса*),
Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*),
Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),
Владимир Алейников (*Коктебель*),
Игорь Лощилов (*Новосибирск*),
Вальдемар Вебер (*Аугсбург*)
Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Художник
Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания пятнадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

V. Markowskij, Tränke Str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2013 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	Похвала Петербургу	5
Наталья Мисюра / <i>СПб.</i> /	Мороз	35
Владимир Беспалько / <i>СПб.</i> /	«Я жил как жил...»	42
Евгений Мякишев / <i>СПб.</i> /	«В Петербурге сникает жара...»	57
Михаил Окунь / <i>СПб.</i> /	Золотая полоска	60
Борис Лихтенфельд / <i>СПб.</i> /	Обыск	124
Арсен Мирзаев / <i>СПб.</i> /	Тараканий царь	129
Пётр Чейгин / <i>СПб.</i> /	Сочинения июня	148
Валерий Скобло / <i>СПб.</i> /	Библейские мотивы	151
Сергей Зубарев / <i>СПб.</i> /	Роман с холодильником	161
Пётр Казарновский / <i>СПб.</i> /	«Одинаково дождь соберёт...»	164
Михаил Мельников / <i>СПб.</i> /	«перечитывая...»	171
Александр Смир / <i>СПб.</i> /	«Учил добру...»	174
Валерий Мишин / <i>СПб.</i> /	Вариации	187
Дмитрий Григорьев / <i>СПб.</i> /	«Я живу...»	195
Аркадий Илин / <i>СПб.</i> /	«В музее Достоевского...»	207
Валерий Земских / <i>СПб.</i> /	«Мы долго плыли по реке...»	213
Тамара Буковская / <i>СПб.</i> /	«я заткнусь я заткну себе глотку...»	272
Александр Радашкевич / <i>Париж</i> /	В скором поезде были	278
Владимир Гандельсман / Нью-Йорк — <i>СПб.</i> /	Из книги «Грифцов в нескольких измерениях»	285

Проза

Вл. Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Трапезы теней	10
Валерий Черешня / <i>СПб.</i> /	Три рассказа о любви	46
Алла Дубровская / <i>Нью-Йорк</i> /	Одинокая звезда. Роман	64
Андрей Тат / <i>Лос-Анджелес</i> — <i>СПб.</i> /	Исповедь попугая. Рассказы	134
Дмитрий Северюхин / <i>СПб.</i> /	Современник гениев. Рассказы	154
Юлия Шоломова / <i>СПб.</i> /	Серьги для неправильной. Рассказ	167
Евгений Линов / <i>СПб.</i> /	Отрывок из антиромана «Лжизнь №5»	176
Наталья Василькова / <i>СПб.</i> /	Шизовки. Коллективные действия	201
Александр Гиневский / <i>СПб.</i> /	«Лабас ритас, Берт Ланкастер!..»	219
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Письма в никуда	252

In memoriam

Евг. Феоктистов / 1937–1997 / «Пересекаю площадь плоскую...» 244

Переводы

Исаак Розенберг / 1890–1918 /
Перев. с англ. Евг. Лукина Рассвет в окопах 263

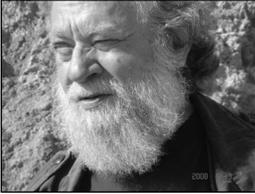
Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Борис Хазанов / *Мюнхен* / Письмо редактору 271

Герман Гессе / 1877–1962 /
Перев. с нем. В. Вебера По поводу «Экспрессионизма
в поэзии» 282

Конст. Кузьминский / *Нью-Йорк* /
Георгий Бен / *СПб.* / Переписка 292



Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва — Коктебель /

ПОХВАЛА ПЕТЕРБУРГУ

До вечной встречи в небесах
осталось ровно полчаса —
воздвигни сутолоку всех
на безотрадные весы —
ни виноградная лоза
ни отправная бирюза
ни приуроченное за
не отвернут косы

но станет попросту ясней
доставит хворосту грустней
заменит яростью тесней
и разожжёт костёр
всё то что выбилось сквозь лик
всё то что горестнее книг
и не напраслиною вмиг
ступает до сих пор

всё это выживет как даль
ограду вышвырнет свою
всё это слышит как рыдал
у криворучья на краю
всё это сучья и столбы
меняет нынче на грибы
и процветает босиком —
напрасно с вами незнаком

не знаю где но здесь в лесу
не чьё-то лишнее несу
не стану знать а стану зреть
останусь зрение смотреть
ступени мокрые пройти
вдобавок мохом зарастаи

кому не лень придут встречать
на стане ближних замечать

озёр рыдающая плоть
морей ликующая гладь
речная глубь и благодать
стекающая высь
голубоглазая вода
не подобает никогда
невероятное испить
как спит на ветке рысь

как шерсть кипит и ждёт сосуд
иль как песок шероховат
не пригласят преподнесут
а ты не виноват
как едет поле по гульбе
как нынче сам не по себе
съезжаешь к тихим мотылькам
ты для себя остался сам

как пахнет хвойная метель
как изгаляется ковыль
как дремлет пыль и стонет хмель
себе теперь поверь
как гром грохочет по кустам
как грех представится простым
как забываются в пустом
признания потерь

мы слышим видимую суть
её прошу не позабыть
но парики Елизавет
пора остепенить
стаканы сохнут и молчат
вокруг великое кричит
и за незримостью кручин
судеб смеётся нить

и нет ни слова ни добра
а теплота не подведёт
и проходимцем ввечеру
мелькнёт видение карет
и никого не укорит
накуролесит второпях
необозримее слепых
прибоя дым как вскрытый пах

я помню запахи поры
где были вредные добры

где грусть в горсти кидалась враз
и это было не про нас
не пронеслось а пролетело
засим осталось где-то в Туле
болит затылок непричастный
совсем задумавшийся честный

и это называть ли счастьем
когда теперь скажи по чести
я вижу кости и мониста
и стойкий голубь ворожит
слетают лихо эполеты
на вицмундиры бросим лето
не забываем мы полёты
пускай тоска брюзжит

в хорошем доме пахнет мылом
в прекрасном доме пахнет мелом
а в самом лучшем неумелым
позволь ему цвести
где губы тянут и смеются
где можно просто обогреться
где можно в прошлое зарыться
и за горением грести

как много лодок накидали
как мало вёсел в самом деле
как быть влечёт в стволе измятом
да зверь дрожит в дупле
как боль проносится как ветер
спокойно выберет фарватер
как тикают часы простора
букашка на столе

как плачет Русь среди чухонства
как зарывается Украина
как загораживаешь крылья
смущением объят
не много ль на душу Карелий?
не мало ль набело умелей?
не хочешь наглухо так лопаи
мой друг и брат

и похвала за похвалю
вовсю становятся смелее
когда-то злые тяжелеют
перебирают счёт
читают прошлое не просто
а нуними размеры роста

с креста иль с крыши или с места —
вокруг Нева течёт

и всеми собранные гости
и живописцы нашей вести
и птица юная и луки
стрелков расстреливавших нас
на вас смотрю почти причастен
и благодарности по части
не выживания а чувства
примите в этот раз

резва настойчивая сила
посевы скашивают сёла
а нас наверное спросила
о многом слов неверных зыбь
но правомерно задыханье
дохода в собственном дыханье
и нам скажу до одуренья
достаточно сих глыб

голубка верная не дремлет
а мир по-прежнему приемлет
безукоризненно как жала
трамвая рельсы расслепят
следы слипаются и лупит
по крышам нашего участка
непрекращающийся лепет
угомонившее как сад

ведь это я над миром рею
ведь это я отраду рою
и безотрывным но тревожным
земное сделаю возможным
и так тирады повторяли
как нас турили да швыряли
и так не сразу проверяя
ты парус вывесил на рею

и за мостом своим с мечетью
читая чопорность зачатья
воспримет частное значенье
и ждёт волна
и замечательное свойство
пора не чествовать отчасти
а доверяться словно действу
всему сполна

и город радуги и горя
не обойдёт ни в коей мере

и нас всю живущих в мире
июльских радостей своих
и так не к спеху огорчаться
что неохота мне прощаться
и я пою хоть эту малость
как зов земель иных.

1972

* * *

Расцвела островами Нева —
и над нею конечно над нею
всё сильнее болит голова
ясновиденье станет сильнее

как в бессонном чаду анфилад
проясняются судьбы неровно
потому что не так уж и рад
а отчаянье это бескровно

как играет волна и клянёт
несусветного времени гнёт
как рыдает она и тревожит
неизбежное — что же! быть может!

как шумит за листвою листва
как трамвай перекатывал плавно
неумелые наши права
облака над Невею державной

прощевай и лазури тверди
что у тверди своя же изнанка
поскорее себя находи
сознавая своё спозаранку

и навечно вздымая как жезл
соглядатайство города с лесом
непредвиденный шороха жест
ограничится просто навесом

и как шины шуршат впопыхах
как решение порой разрешимо
не останется спешки в стихах —
и бегут по дороге машины.

1972

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ¹

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Ходили слухи, будто андреевского Гоголя уничтожили, но оказалось, нашлись добрые люди: сокрыли от всевидящих очей на кладбище Донского монастыря (на бездействующем — бездействующего), где тайком пережидали злое время и некоторые иные неугодные властям создания отечественной скульптуры.

Семь лет спустя, в пору «оттепели» и реабилитаций Гоголя возвратили по амнистии в центр столицы и определили ему местом жительства — неподалеку от Арбатской площади, где монумент был установлен когда-то, — маленький замкнутый дворик дома, в котором умер великий писатель.

2

Однажды, уже в восьмидесятые, поздно ночью, возвращаясь откуда-то, мы с Юрой Овсянниковым, моим другом, писателем и издателем, поднимались по Гоголевскому бульвару к Арбатской площади — и вдруг застыли в недоумении. Высокий постамент «от советского правительства», где, предполагалось, обязан неотлучно находиться «великий русский художник слова», был пуст.

Сюжет совершенно гоголевский.

Мы подошли ближе. Фигуру, то ли для профилактики, то ли для ремонта, сняли с пьедестала. Почему-то маленькая, жалкая, обмотанная рваными тряпками, утратив заказной оптимизм «нужного нам», она уныло торчала на площадке.

Хотелось смеяться — и не смеялось.

Такое убожество.

«Заглянем теперь к твоему Андрееву, покурим там на скамеечке...» — предложил Юра.

¹ Окончание. Начало «Крещатик» №58.

3

Редко замечаемый с улицы торопливыми пешеходами, андреевский Гоголь манит к себе тех, кто знает о нем. Назначение его как бы переменялось: теперь не толпа (как некогда на площади) общается с ним — каждый общается один на один. Сюда, в уединенность, отгороженность тесного двора, кажется, заполненного молчаливой тревожной думой, излучаемой монументом, человек приходит — вырывается, прерывается — в столь необходимый в жизни каждого час, когда среди «деловой» суеты настагает его неодолимая потребность остановиться, оглядеться — одуматься...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

«И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии семь агниц, которых ты поставил особо? (Авраам) сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому он и назвал сие место: Вирсавия»...

Вирсавия = Беер Шева = Колодец семи (или: Колодец клятвы).
Начало библейской Истории: Книга Бытие, глава 21.

2

Я впервые попал в Израиль в начале 1989 года.
Дипломатические отношения еще не восстановлены, но эмиграция — полным ходом, и в гости по приглашению пускают.

3

В Беер Шеву я приехал вечером.

Утром, только рассвело, отправился искать этот самый Колодец Авраама. Родственники, у которых я переночевал, о Колодце ничего не знали. Или, может быть, забыли.

Они переселились в Израиль уже давно, большинство — вообще тамошние уроженцы; жизнь непростая: работа, заботы, дети, дом в кредит, коммунальные платежи и проч. — какой Колодец!..

Улицы были пустынные, как пустыня, посреди которой стоит город.

Суббота, день седьмой: «в этот день не совершал Бог никакой из работ Своих, которыми занимался прежде и которые намеревался совершить после того».

Первый встречный, который мне попался, был заведомо из наших — свежий советский переселенец, не израильтанин.

Я понял это еще издали, как только его увидел.

На нем были синие с белыми лампасами — динамовские — тренировочные штаны и белая майка без рукавов, в них не заправленная.

Но дело не в лампасах, не одежде: может быть, в том, как ее носят, в походке, в жестях, в выражении лица, а, может быть, не только в этом, или вообще не в этом, а в ином чем-то, что я не умею передать в словах. Просто: мы — узнаваемы.

Мы — узнаваемы.

Вот и он тотчас — тоже издали — узнал меня и, приблизившись, поинтересовался — по-русски, — не найдется ли закурить.

«Я тогда две возьму, — сообщил он, ковыряя пальцем в протянутой пачке. — Такое царство гребаное: в шабат не то, что сигареты, дыма не сыщешь».

Я спросил про Колодец.

«А у меня — водопровод»,

И — засмеялся.

Это он пошутил.

Солнце пекло всё жарче. Небо, сначала яркое, быстро теряло цвет, наливаясь зноем.

Я прошел еще два квартала и увидел старика, араба или бедуина, — он погонял палочкой осла с переброшенной через спину поклажей в полосатом матрасном мешке. Возможно, старик был не старше меня, но очень уж сверкала седина бороды и усов на его смуглом, изрезанном морщинами лице. Голова старика была обмотана клетчатой кефией.

В наказание за дерзкую попытку наших предков возвести Вавилонскую башню, Бог наказал нас со стариком неспособностью словесного общения («Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого»).

Я жестом остановил старика, так же, жестом, показал, будто пью из поднесенного двумя руками к лицу ведра, и на всякий случай прибавил: «Авраам».

Вспомнил про Вавилонскую башню — и поправился: «Ибрагим».

Старик смотрел на меня, будто меня не видя, будто перед ним ничего и не было. Крушение башни разобщило не только языки. Стоя рядом со мной, старик как бы обитал в ином пространстве. Я был ему неинтересен.

Он отмахнулся от меня скучным движением, каким отгоняют дым.

Мне было всё равно, куда идти. Я направился в ту сторону, куда, отгоняя меня, как бы указал старик.

4

Я свернул на какую-то улицу.

В отдалении темнела и шевелилась толпа.

Стояли автобусы.

Я предположил неведомый мне местный обычай устраивать рано утром свадьбу. Или — назначать похороны.

Я приблизился.

Это был Колодец Авраама.

5

Колодец был отгорожен от улицы железной оградой.

Он, как выяснилось, находился во дворе какого-то ресторана. Ворота во двор по случаю раннего часа (тем более — суббота) были заперты.

Национально-историческое чувство во мне возмутилось смешением библейского, высокого и будничного, низкого. Хотя самого Авраама такое соседство, скорей всего, вполне бы устроило: Бог, как известно, «расплодил» Авраама, сделал отцом «множества народов», и всех надо было кормить.

Помню, у меня даже явилась мысль написать протест (тогдашнему) премьер-министру Израиля Шамиру; но у него и без того были какие-то сложности, я решил не донимать его лишними проблемами.

6

Люди — человек около ста, — густой толпой прижимавшиеся к ограде ресторана, все были японцы, вооруженные фотоаппаратами. Уступая один другому место, они просовывали объективы камер между прутьями решетки. Многие для удобства съемки взобрались на бетонированное ее основание. Некоторые, казалось, карабкаются, цепляясь за прутья, еще выше и, того гляди, вот-вот вообще перемахнут через ограду.

Всё это напоминало лихо выдуманную Эйзенштейном сцену, которую со временем стали считать документальной: ночью 25 октября 1917-го революционные матросы и красногвардейцы, штурмуя Зимний, взлетают на решетчатые ворота арки Генерального штаба.

Вдруг, в мановение ока, всё вокруг опустело. По какому-то сигналу, мною незамеченному, японцы бросились к автобусам, зашумели моторы, — только бензиновый дымок остался на память от недавних гостей.

Так стая перелетных птиц, прерывая путь, опускается в неведомо кем предназначенном для них месте: птицы тотчас плотно облепляют деревья и кровли, шумят, галдят, возятся, занятые своими неотложными заботами, — и вдруг, по неуловимому нами сигналу, разом взмывают в небо, и вот уже черная тучка, быстро уменьшаясь в размерах, устремляется к горизонту.

7

Передо мной лежал пустой прямоугольник двора; низенькое заграждение помечало яму колодца, над ней, на опорах, висилось полуразрушенное колесо ворота, контуром напоминавшее подъемник на старинной шахте.

8

Говорят, японцы фотографируют больше всех остальных обитающих на нашей планете народов.

9

В Гейдельберге я, наверно, битый час не мог пристроиться, чтобы схватить в объектив старый замок, «самые знаменитые руины Германии», как его именуют.

Не помню, удалось ли в конце концов схватить, как хотелось.

Замок стоит на горе над городом.

В некотором отдалении от него природа даровала фотолюбителям весь-ма обширную площадку, откуда знаменитые руины можно запечатлеть во всем их могуществе.

Площадку плотно заполняли японцы.

Они накатывали волнами. Одна волна отступала, и на ее место тотчас устремлялась другая.

Японцы снимали замок, друг друга в разных сочетаниях на фоне замка, наконец, сменяясь, всю группу, опять же, конечно, на его фоне.

То и дело появлялись многолюдные свадебные группы с женихом в черном фраке и невестой в белом платье... В Москве молодожены отправляются к могиле Неизвестного солдата, в Киеве — к памятнику Богдана, а тут, надо же, мальчик из Киото и девочка из Осака вместе с родными и близкими одолевают в паломничестве полсвета, чтобы удостоверить брачный союз фотографией перед гейдельбергскими руинами.

Повсюду на площадке звучала японская речь с ее странной певучестью и кажущейся непривычному уху неоконченностью фраз.

В волнообразном движении групп, повторяющемся ритуале фотографирования было что-то конвейероподобное, индустриальное.

Я не знал тогда, что это своего рода «хадж». Что гейдельбергский замок — едва ли не самая почитаемая японцами, едва ли не самая привлекательная для них европейская достопримечательность, обязательную встречу с которой необходимо увековечить с помощью фотообъектива.

10

Моя добрая приятельница, японка, тоже часто присылает мне в письмах фотографии.

Портреты. Виды. Интерьеры. Исторические достопримечательности, Фотографии в ее письмах часто не сами по себе и не иллюстрация к тексту, а часть текста, продолжение его.

(В литературе схожую роль фотография играет у В.Г.Зебальда.)

Иногда текст письма японки так же естественно перемежается стихами.

Такими, например:

Я на небо взглянула:

Ведь дождик уже перестал,

Отчего эти звуки?

Всё просто: сквозь тучи сочась,

Лунный свет обращается в капли.

Это: Идзуми-Сикибу, жившая в конце десятого — начале одиннадцатого столетий. (Перевод Виктора Сановича.)

11

«Вы спрашиваете, зачем люди фотографируют и фотографируются, — пишет моя японская приятельница. — Ну, для того, наверно, чтобы поделиться впечатлениями с родными и знакомыми. Чтобы надолго сохранить

свежими собственными воспоминаниями. Чтобы согреть душу в старости, пересматривая давние фотографии. Чтобы оставить для потомков своего рода историю семьи».

Цель, к которой стремишься (осознанно или неосознанно), когда всего-то нажимаешь на спусковую кнопку аппарата, набирает масштаб и, наконец, сопрягается с историей.

С — Историей.

12

Такая цель непременно предполагает культуру рассматривания.

По крайней мере — привычку к нему.

Альбомы.

Время, которое не жалко потратить на рассматривание.

Интерес.

История фотоальбомов — тоже история.

Тоже — История.

13

Семейные альбомы прошлого столетия (понемногу привыкаю называть мое столетие — прошлым) можно купить в Берлине (и не только) на блошином рынке, Flohmarkt'е.

Истории семьи (фрагменты Истории) продаются здесь вместе с другими ненужными владельцу, старыми и вышедшими из употребления вещами.

Просят недорого.

Побольше, конечно, чем за поношенные джинсы, но несопоставимо меньше, чем за старинную пивную кружку или барометр в медном футляре.

Мой друг, художник Вадим Захаров собирает такие альбомы.

Если рассматривать их внимательно и любовно и дать при этом простор воображению, поневоле становишься автором своего рода саги.

Иногда надписи на обороте фотографий подсказывают имена героев.

14

Людей моего поколения в гостях еще развлекали, часами показывая семейные альбомы и вспоминая при этом разного рода события, связанные с возникновением того или иного снимка.

А в давнее время, которое еще в полной мере застали мои родители, тяжелые альбомы в бархатных переплетах лежали на столике в приемной зубного врача.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Интерес к альбомам у нас, россиян, обострился, когда гражданам стали разрешать туристские поездки за границу. Мы жадно рассматривали фотографии, привезенные знакомыми откуда-нибудь из Болгарии или ГДР. Чело-

век, пересекший границу отечества, был для нас, тогдашних россиян, казался, отмечен знаком какого-то достоинства. Так оно и есть. Пересечение границы неизбежно отзывается вызревaniem чувства внутренней освободенности.

2

Пушкин — в «Путешествии в Арзрум»:

« ... "Вот и Арапчай", — сказал мне казак. Арапчай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня нечто таинственное; с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России».

3

Пушкин был совсем невыездной.

Даже на поездку из Петербурга в Москву ему требовалось разрешение.

Просился у царя в Италию, во Францию, даже в Китай, — не пустили.

В Полтаву попросился, повидаться с Николаем Раевским, — и в Полтаву не пустили.

Известный пушкинист М.А.Цявловский писал о тоске Пушкина по чужбине.

На Кавказский театр войны, в Арзрум, он уехал, не спросясь.

4

Когда я был в Израиле, меня нашел там Натан: «Я звоню тебе из Милана».

(Перед моим отъездом — «Расстаемся надолго. Всякое бывает» — взял у меня телефон израильских хозяев.)

Нежданно услышав в трубке его голос, я испугался: «Случилось что-нибудь?»

«Конечно, случилось. Еще как — случилось! Я звоню тебе из Милана!».

«Что случилось?»

«Как — что? В самом деле — не понимаешь? Я — звоню — тебе — в Иерусалим — из Милана!»

5

До последних советских лет Натан Эйдельман был невыездной.

Совсем невыездной.

Как глубоко и преданно любимый им Пушкин.

Огромный ум Натана, пронизательное понимание происходящего, трудный опыт советской жизни не мешали ему, по-своему, оставаться наивным.

Наивность совместна с высокой и чистой душой.

Он писал прошения руководителям Союза писателей — подробно перечислял, какие счастливые находки возможны в том или ином европейском и американском архиве. Он был искренно убежден, что сокровища, которые он предполагал добыть и привезти в отечество, однажды окажутся для писательского начальства дороже мнения спецслужб и «первого отдела». Ему отвечали отказом или не отвечали вовсе.

На другой берег (он любил эту формулу — с другого берега) Натана вынесла не милость властей.

Свободу даровала ему опять же — сила вещей.

Определение, сродное Пушкину и любимое Натаном.

«И скоро силою вещей // Мы очутились в Париже...»

В Париже Натан, кажется, не очутился. Не помню уже. Кажется — не успел.

Он вырвался впервые из пределов необъятной России едва ли не в те самые весенние дни 1989 года, о которых я рассказываю.

Может быть, я слегка ошибаюсь в датах. Время у Натана было настолько творчески заполнено, что трудно укладывается в привычное летосчисление.

Но что точно — времени у него оставалось мало.

В последние дни осени того же года Натан отправился в свое последнее путешествие.

Он лежал на больничной койке; в его руке был том Пушкина, открытый на стихотворении «Андрей Шенье»...

6

Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь.....

7

Натан говорил друзьям, что умрет пятидесяти девяти лет.
В датах он никогда не ошибался.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Апрель, а холодно.

Улыбчивые прогнозисты на телеэкране называют зиму бесконечной и тепла не обещают.

Поднимаю взгляд от компьютера, смотрю в окно, чтобы сверить то, что там происходит, с тем, что пишу,

За оконным стеклом лениво летают белые мухи.

Я пишу медленно (о чем сожалею), — может быть, к тому времени, когда я буду заканчивать эту главу, на дворе возьмется уже хозяйничать весна, береза под окном оденется зеленью.

«Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы...» (Тютчев).

Но — пока не обвеяны.

Ветки по-зимнему черные, жесткие; цвет воздуха не густеет в ветвях предвестием весны.

2

Японская приятельница, желая скрасить мое ожидание, прислала мне танку:

Там, где фиалки цветут, —
У жаворонка в опочивальне
Попросила ночлег,
И так ей в полях полюбилось,
Что весна там все дни проводит.

Фудзивара-но Тэйка, автор стихотворения, окончил свои земные дни за пятьсот шестьдесят два года до рождения Тютчева.

3

Наша переписка началась семь лет назад.

Вначале, довольно долго, мы пользовались услугами обычной почты.

Я доставал из почтового ящика непохожие на остальные конверты с красивыми марками.

На марках чаще всего были изображены цветы, для европейского глаза несколько необычные.

(Я тоже выбирал покрасивее.)

Иногда письма были даже написаны — от руки.

Как юные влюбленные поначалу убеждают друг друга в необходимости хранить невинность, так и мы старательно находили доводы в пользу обычной почтовой переписки: личность пишущего, стиль передаются и раскрываются в ней несопоставимо полнее, нежели в виртуальных каблограммах.

И, как у юных возлюбленных, достаточно было только один раз — преступить.

4

Что-то вдруг срочно понадобилось — спросить, сообщить.

Спешно.

По делу.

И снова — по делу. Спешно...

Еще какое-то время уговаривали каждый сами себя и друг друга, что компьютер для нас лишь приложение, деловая необходимость, что главное по-прежнему эти исписанные листы, эти конверты, марки, но соблазн века уже властвовал в нашем составе.

5

Я уже умею обходиться без конверта и марок, по которым, признаюсь, всё же ещё скучаю, как скучаю по сложенному вчетверо листу бумаги, который извлекаю из конверта и, волнуясь, разворачиваю. Который не отделен от меня стеклом экрана. Который держу в руках и оттого он становится продолжением меня самого, как говорил Шкловский о своих ботинках.

Я уже привык к тому, что фотографии (вокруг меня, по крайней мере) почти перестали хранить в альбомах, что они обитают в каком-то непонятном мне, реально как бы отсутствующем пространстве, откуда нажатием клавиши их можно вызвать на экран любого компьютера, даже если компьютер находится в другом полушарии.

6

Я не ворчу и не жалуясь.

Наверно, я немного печалюсь о Времени, которое стремительно от меня убегает (или: я из него убегаю).

О мире, который становится для меня всё более незнакомым, для которого я становлюсь всё более чужим.

О словах, которые не успею сказать, а, если скажу, которые мало кто услышит.

7

Я не жалуясь.

Я радуюсь.

Радуюсь, что сейчас, среди ночи, переключу программу и увижу плетения иероглифов, обозначающих имя и адрес отправителя: это моя японка в круговращении уже подступающего у них к середине нового дня приветливо стучится в мой компьютер.

Она обладает прекрасной способностью как-то явить себя, не утерять и в нескольких строках электронной записки.

Выбор слов.

Душевная наполненность.

И по-прежнему — стихи.

8

Ему бы смотреть

Зорко за полем созревшим,

Жильцу шалаша...

Он же всматривается: о, как близко

Гуси над ним кричат...

9

Фотография.

Белосое небо и темное облако сквозь переплетение ветвей. Бурый, кристаллически огранный камень. Высокая желтая трава. Странные белые и бледно-лиловые цветы.

То ли выхваченный из необозримого пространства фрагмент необыкновенной, неведомой моему глазу природы. То ли внимательно запечатленный уголок сельского двора.

Может быть, и то, и другое.

10

К изображению должна быть приложена японская культура рассматривания (о которой я упоминал).

Не знаю, как нынче, но еще недавно (помню, где-то это вычитал) японцы умели часами сосредоточенно сидеть перед одной-единственной фотографией, картиной, картинкой, пронизательно постигая подробности и осмысляя целое, до малой частицы вбирая ее в себя и одновременно в нее погружаясь.

При таком рассматривании уголок двора открывается необозримым пространством природы, а природа воплощает себя в укромном уголке двора.

11

Не исключено, что такая способность рассматривания ныне утрачивается.

Картинка в компьютере не то что картинка сама по себе: компьютер во многом берет на себя ведущую роль в процессе рассматривания. Мысль о тысячах самых разных изображений, которыми набит плоский ящик ноутбука или ноутбука, отнимает у каждой данной картинке уникальность единичности. Возможность корректировать изображение мешает беспредельно уверовать в его законченность. Да и поверхность экрана совсем не то, что поверхность холста или бумаги (даже фотобумаги). В ней нет тепла. Тепла материала. И тепла прикосновения человеческих рук. И тепла, обретенного хождением среди людей, общением с ними.

12

Я не посылаю моей японке ответных картинок.

Я давно не фотографирую, а внуки не слишком щедро запускают меня в кладовые своих ноутбуков.

Добавлю также, что, к стыду своему, я всё никак не научусь переправлять фотографии по компьютеру.

13

В ответ на ее письмо я только что набрал несколько строк тоже старинных — наших, российских — виршей, которые, того не замечая, часто бормочу сам себе. Вирши эти и смешат меня, и вместе неизменно меня трогают.

14

Худо тому жити,
Кто хулит любовь.
Век ему тужити,
Утирая бровь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

В своих воспоминаниях Софья Андреевна Толстая под 1860 годом записала:

«Когда мне было лет 16-17, привез нам какой-то студент-грек Кукули фотографический аппарат. Тогда фотография была очень сложная. Надо было стекло обливать коллодиумом, потом класть в серебряную ванну, укреплять сулемой, сушить; и то же надо было проделывать с альбуминной бумагой. Этот Кукули, который не играл никакой роли в нашей жизни, был скучен и молчалив, научил меня фотографировать, оставил мне свой аппарат и уехал. Я всё лето страстно увлекалась фотографией... и бросила это занятие, потому что начала писать свою первую повесть».

(Сообщаю об этом потому, что Софья Андреевна таким образом оказалась среди первых, или, скажем, ранних отечественных фотолюбителей.)

Скучный, молчаливый Кукули (даже имени не сохранилось) свою роль в жизни Толстых сыграл.

Имеется хорошая по переданному выражению фотография Льва Николаевича 1862 года, на которой рукой Софьи Андреевны помечено: «Сам себя сняль». Автофотопортрет, опять же согласно помете на бланке, сделан в Ясной Поляне. Таким образом, отправляясь тотчас после свадьбы на постоянное жительство в деревню, среди самых необходимых вещей захватили и «фотографию».

Помощь Льву Николаевичу в его трудах, семейные, материнские, домашние заботы, самые разные, которые смело возложила на себя Софья Андреевна, надолго отвлекли ее от трудного и увлекательного занятия. Она вернулась к нему четверть века спустя и, начиная с 1890-х, систематически и настойчиво (как ей было свойственно) фотографировала Толстого.

Конечно, и аппаратура, и технология обработки снимков были уже другие.

Все новшества и тонкости дела Софья Андреевна постигала сама. Природа наделила ее способностью (обозначая формулой В.И.Даля: он так о себе говорил), «зацеплять всякое знание, какое встретиться на пути».

2

В начале девятисотых постоянно фотографировать Толстого начал и Владимир Григорьевич Чертков.

Он взял себе в помощники профессионального фотографа, англичанина Томаса Тапселя.

Чертков работал с новейшими тогдашними аппаратами.

Они позволяли делать быстрые — моментальные — снимки.

Чертков придумал: делать скрытой камерой несколько портретных снимков подряд.

Получалась своего рода «лента»: видишь, как непрерывно меняется замечательно выразительное лицо Толстого.

«Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет больше места никаким низменным житейским интересам», — это у Репина об особенной «обуревающей» толстовской атмосфере.

И у Вас.Вас.Розанова — о встрече с Толстым: «Я видел перед собою горящего человека с внутренним шумом, бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думающего».

Это передалось в чертковских «лентах».

3

Последний прижизненный снимок Толстого сделан Софьей Андреевной 23 сентября 1910 года.

Сорок восьмая годовщина их совместной жизни.

Софья Андреевна завела правило в этот день фотографироваться вдвоем с Львом Николаевичем.

Выбирала место, наводила аппарат, назначала экспозицию и — становилась рядом.

Кто-нибудь из присутствующих по ее счету закрывал объектив.

Она будто хотела удержать на фотографии то, что жизнь уже развела и разводила всё дальше.

Для фотографирования Софья Андреевна надевала белое платье.

Лев Николаевич на снимках мрачен, отчужден.

В 1910 году фотография, сделанная день в день, вообще не получилась.

Два дня спустя Софья Андреевна захотела повторить.

В «Дневнике для одного себя» Толстой пометил: «Опять просьба стоять для фотографии в позе любящих супругов. Я согласился, и всё время стыдно».

Софья Андреевна на снимке стоит, прижавшись к Льву Николаевичу плечом, держит в руке его большую руку, хорошо улыбается.

Но на обороте снимка написала коротко и страшно: «Не удержишь».

О чем она думала? Что предчувствовала?

А жить Льву Толстому оставалось сорок два дня.

Не удержишь...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Сижу с правнучкой.

Все поразбежались, кто куда, — оставили нас вдвоем.

Правнучке пятый год.

Смышленная.

Со мной ей скучно

Я не умею занять ее.

С внуками (у меня их пять) я всегда находил, о чем поговорить, чем заняться.

Я находил в них пространство и время для продолжения себя.

Я отдавал им то, чего не додал их родителям, то, чем сам не успел овладеть.

Внуки ощущались как мое продвижение в будущее.

Правнучка — это явление будущего ко мне.

Века, в котором меня не будет. Уже нет.

Внуки — наследники.

Правнучка — вестник.

2

От нечего делать правнучка без конца фотографирует меня, держа в руке мобильный телефон.

Я погружен в свои мысли, или вовсе ни о чем не думаю. Она застаёт меня врасплох: наверно, я получаюсь смешным, нелепым, девочка смотрит на экран аппарата — и заливается смехом; мне она изображений не показывает.

А для меня смешна и нелепа — и вместе полнится какой-то тайной грустью — сама ситуация: фотографирование телефонной трубкой.

3

Я еще помню время, когда телефон был не расхожим, самоценным предметом. Не говорю о провинции, и в Москве-то у большинства горожан его еще не было. Домашний телефон был признаком социальной значимости или просто везения. Наш дом, например, был построен в конце двадцатых и сразу телефонизирован. (Приятель отца, старый хирург, обитавший в доме по соседству, с извинениями заходил к нам, когда случалась острая необходимость позвонить; иногда нам звонили из его клиники с просьбой срочно передать что-то.) Чтобы позвонить к нам, надо было снять трубку с рычага, дожидаться отзыва телефонистки и назвать номер: (24-21): «Девушка, дайте 24-21» (а еще раньше было принято — «барышня»: «телефонные барышни»). Потом построили автоматическую телефонную станцию (АТС), к номеру добавили букву: К-24-21. Следом еще и цифру, обозначающую район: К-7-24-21. Такой номер продержался у нас до самой войны.

4

Столетие, даже больше, изобретателем телефона считался Александр Белл. Десять лет назад изобретение передали другому автору (Антонио Мечуччи), при этом телефону прибавили возраста: датой его рождения вместо 1876 года стал — 1860-й.

Споры между сторонниками Белла и Меуччи не утихают, но ни тот, ни другой, изобретая способ передачи звука на расстояние, конечно же, представить себе не могли, какие возможности обнаружит моя правнучка в карманном аппарате, сохранившем старинное имя «телефон».

5

Девочка наводит на меня (в самый неподходящий момент) телефонную трубку, нажимает что-то и хохочет, разглядывая изображение.

Совсем недавно с ее отцом, моим внуком, мы, волнуясь (получилось? не получилось? — что получилось?), распечатывали конверт со снимками, полученный в мастерской Кодака.

Девочке неведома тайна отснятой, но непроявленной фотографии.

Неведомо огорчение из-за навсегда пропавшего сюжета (передержка, недодержка, вовсе засвечено), который так хотелось сохранить не только в памяти, но и перед глазами. Неведома радость, когда обнаруживается, как бы даже вдруг, что глаз, рука, камера, пленка не подвели, когда из кодаковского конверта извлекаешь пойманное и остановленное тобой заветное нечто, о котором моя японка написала с надеждой, что согреет душу в старости.

Девочка никогда не была в фотографическом ателье, где кумиром высятся поставленный на могучий штатив ящик из полированного красного дерева со сверкающими медью подробностями, не видела старого мастера, забирающегося под таинственное черное покрывало и обещающего, что из объектива сейчас вылетит птичка: чтобы изготовить снимок на медицинскую страховку, ее просто посадили на табурет в тесной кабинке против сверкающего стеклышком отверстия в серой скучной стене.

Ей неведомо, что при бессчетности кадров, набираемых в телефонную трубку, по-иному дорожишь ценой единственного.

6

Эпоха Дагера, ее начало, бурный и, казалось, надолго замахнувшийся расцвет и неожиданно быстрый закат, уложились в недолгие для Истории годы, равные двум срокам прожитой мною донныне жизни.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

Я был убежден, что уложусь со своей хронологией жизни в век пишущей машинки.

Но теперь читаю о ней в справочных изданиях, что это печатное и многительное устройство широко использовалось в конце 19-го и 20-м веке.

В прошедшем времени.

Сами машинки, даже недавно до зависти модные, красящая лента (черная, лиловая, двухцветная), копирка, разные приспособления для ухода за машинкой и машинописной работы обретают статус музейных экспонатов.

Профессия машинистки, без которой еще недавно было не в силах обойтись ни одно учреждение, ныне, похоже, сделалась такой же редкой, как машинист паровоза.

2

Верный мой друг, еще с пятидесятых, ГДР-овская «Эрика» в желтом кожаном («под кожу») прочном чехле с позолоченным замочком, захваченная с собой при отъезде из отечества как нечто для жизни самое необходимое, уже годы пылится, бездействуя, под диваном.

Недавно художник Юра Альберт одалживал ее у меня, когда ему было необходимо явить в работе нечто анахроническое.

3

А ведь я еще полной мерой застал армейских писарей.

Помню их почерк, крупный, ясный, но притом, подчас в меру, а подчас и не в меру, приукрашенный кудрявыми, «парикмахерскими», завитками.

Десятилетиями я получал в домоуправлениях, бухгалтериях и разных иных конторах (старательно или как придется) написанные от руки справки.

Когда я был студентом, у меня, помнится, единственного на факультете, была дома собственная машинка — старый, тяжелый, крепко справленный из металла трофейный «Ideal» с замененным на русский шрифтом.

4

(Сноска. Один из моих друзей рассказывал: когда ему дали возможность ознакомиться с делом арестованного и расстрелянного в 1937-м отца, он увидел справку о приведении смертного приговора в исполнение, наспех написанную чернильным карандашом.)

5

(Еще сноска. Недавно в Германию приезжал журналист-африканец из республики Чад. Он сотрудничает в небольшой газете какой-то христианской миссии. Работает на пишущей машинке, при керосиновой лампе.)

6

Первые русские стихи о пишущей машинке написал Всеволод Гаршин.

Однажды он зашел к Черткову, когда того не оказалось дома, впервые в жизни увидел пишущую машинку, и отметил это событие оставленным на листке бумаги четверостишием:

О ты, явивший мне писательну машину,
Поведай мне, как ею управлять,
Дабы я мог чувствительну стишину
Тебе на той машине написать.

7

СТИШОК НАПИСАН В 1886-М ИЛИ 1887 ГОДУ.

Пишущая машинка только начала привлекать к себе внимание.

Долгое время считалось, со слов самого Марка Твена, что первое литературное произведение, напечатанное на машинке, — «Том Сойер». Ныне ученые сдвинули дату на семь лет позже: отдали первенство книге того же Марка Твена «Жизнь на Миссисипи». Это — год 1883-й.

Так что стихи Гаршина вполне злободневны.

8

Возможно, Чертков и завел машинопись в отечественной литературе.

Во всяком случае в Ясную Поляну привез машинку именно он.

Это сильно поспособствовало сохранению и приумножению толстовского архива.

Машинка была типа «Ремингтон».

«Секретарская» комната, где находилась машинка и перепечатывались рукописи, стала называться так же и «ремингтонной».

9

Иосиф Бродский даже в девяностые годы не работал на компьютере — в поездки брал с собой две машинки: с русским и латинским шрифтом.

Друг Бродского, Бенгт Янгфельд, шведский писатель и переводчик, комментирует: «Для Иосифа стук машинки и печатание черных букв на белой бумаге было чуть ли не священным ритуалом».

(«С годами, — рассказывает Янгфельд, — некоторые буквы стали грязными и настолько трудночитаемыми, что московский друг Андрей Сергеев пенял ему на это по телефону, Когда Бродский промямлил что-то в свою защиту, тот ответил вопросом, сильно рассмешившим Иосифа: А зубы вы чистите?»)

10

У того же Янгфельда находим.

Отношение Бродского к прошлому отличается ностальгичностью. Если будущее вообще что-то значит, говорил Бродский, то это «в первую очередь наше в нем отсутствие. Первое, что мы обнаруживаем, в него заглядывая, это наше в нем небытие».

11

Последний в мире завод, производивший пишущие машинки, закрылся два года назад, в 2011-м.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Здесь я, пожалуй, поставлю точку.

Хотя предыдущая фраза нашептывает самые разные продолжения, каждое из которых по-своему заманчиво.

Но какое-то сокровенное чувство всё настойчивее удерживает меня.

Чувство, что выходишь за пределы соразмерности и сообразности.

Пределы, именно тебе и только тебе кем-то заданные.

Начинаешь чувствовать тяжесть атмосферы.

Вместо того, чтобы слышать голос и записывать за ним, затеваешь с ним диалоги.

2

Хотелось бы закончить этот текст — ничем.

Окончить тем, что — не окончить.

Как у Пушкина (о, Господи! — опять Пушкин!) — вдруг расстаться: «И здесь героя моего... // Читатель, мы теперь оставим // Надолго... Навсегда...»

Вдруг умел расстался с ним — и предложил нам вечно догадываться, додумывать, спорить: что стало, что станет, что могло бы стать...

(Еще цепляюсь за надежду, которой обернулась недавняя ясная вера, что Пушкина будут читать — вечно.)

3

Подобно тому, как момент пробуждения обратным движением времени организует сюжет сновидения, окончание текста (финал) как бы заново создает его.

Конечно, финал произведения (если имеем дело с подлинным творчеством) непременно органичен, но, может быть, не так жестко безусловен, как может показаться.

4

Работая над «Воскресением», Толстой однажды разложил пасьянс. «Если получится, Нехлюдов женится на Катюше». Потом, на вопрос дочери, Татьяны Львовны, ответил: «Пасьянс получился, но Нехлюдов на Катюше не женится».

Это шутка и — не шутка. Игра и — не игра.

Вариант с женитьбой Нехлюдова обдумывался и пробовался всерьез.

Как обдумывалось и соблазняло продолжение романа. «2-я часть Нехлюдова», где герой оказался бы в крестьянской общине, переселившейся на необитаемые прежде сибирские земли.

Но роман был закончен так, как он закончен. И продолжения не было.

5

После того, как прожито всё то, что составило содержание романа, Нехлюдов, оставшись один, читает Евангелие.

И — впервые понимает «во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные».

«Да неужели только это?» — вскрикивает он, пораженный простотой того, что открывается ему.

И сам себе отвечает: «Да, только это».

6

Финал романа тотчас вызвал и до сих пор продолжает вызывать многочисленные возражения.

О «марксистско-ленинском» литературо(толсто)ведении не говорю.

Критикуя финал, принято (оно и прилично) ссылаться на Чехова.

Чехов роман хвалил, некоторые страницы «читал с замиранием духа — так хорошо!», — но: «конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом». И следом: «Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из Евангелия, — это уж очень по-богословски».

У Чехова конец повествования был бы, конечно, совсем иной.

7

Можно было и вовсе не писать последнюю главу (номер XXVIII), в которой «ничего» не происходит, кроме того, что Нехлюдов читает Евангелие («Да неужели только это?» — «Да, только это»). Текст к тому же обильно приправлен цитатами.

Можно было остановиться на предпоследней главе: Нехлюдов, закончив «дела», расставшись со всем, что на протяжении последних месяцев составляло содержание его жизни (и, соответственно, составило содержание романа), и не представляя себе еще, как сложится его жизнь дальше, садится в свой экипаж...

«И здесь героя моего, // В минуту, злую для него, // Читатель, мы теперь оставим...»

Хороший, открытый финал.

Но, при том, что всё в книге осталось бы нетронутым, это был бы другой роман.

8

Вопреки всем суждениям, Толстой говорил задорно: «Я весь роман “Воскресение” только для того писал, чтобы прочли его последнюю главу».

9

Он рассказывал — о себе:

«...Я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать всё то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия. Работа эта продолжается уже шестой год... Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу. Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелием. Но внутренняя работа моя была не такая... Это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения и мгновенное озарение светом истины».

В последней главе романа вырвалось на свет это однажды пережитое и после постоянно переживаемое чувство, с которым Толстой писал «Воскресение».

10

В «Воскресении» Толстой вспоминает слова физика и астронома Лапласа (он, по забывчивости приписал их другому ученому, Араго), который на вопрос Наполеона, почему в его теории происхождения солнечной системы не упомянут Бог, отвечал, что не нуждался в этой гипотезе.

Через несколько лет после окончания романа Лев Николаевич, наедине с собой обдумывая свою жизнь, вновь вспомнит остроумный ответ — и прибавит: «А я бы сказал: Я не мог никогда делать ничего хорошего без этой гипотезы».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

Сижу, перебираю старые фотографии.

Прощаюсь с Луи Дагером.

Новых снимков почти не имеется.

Новые упрятаны в компьютерах и аппаратах внуков, друзей, знакомых.

Сам я давно перестал снимать.

Мой фотовек закончился с веком Луи Дагера.

Наверно, я мог бы помаленьку освоить новую технику.

Но мне не хочется.

А вылезать нынче с моей «мыльницей» — всё равно, что ползти в потоке сегодняшнего уличного движения на трехколесном велосипеде с деревянными колесами.

2

Нет, я не стесняюсь славно мне послужившей «мыльницы».

Просто мы с ней уже отжили свое.

Сторонимся на обочине, пропуская уличный поток.

Обочинность, которая в молодые и зрелые годы может быть чем угодно, от застенчивости до оригинальничания, ныне неизбежная принадлежность моей старости.

Приноравливаться к новому уже нет охоты.

Особенно, когда чувствуешь, что это новое — не твое.
Что, обретая его, ты некоторым образом уже — не ты.
Сам не свой.
Вышел из себя.

(В позапрошлом веке говорили: вне себя пришел.)

3

« ...Иду по городу, который обречен быть моим настоящим и никогда — прошлым, и картины иных, давних времен, будто неожиданно, без всякой связи с тем, что вижу вокруг и о чем только что думал, с поразительно точными, тревожащими до боли подробностями, “околичностями”, как говаривали старые русские живописцы, встают передо мною...»

Так я писал, уже — когда-то.

4

Уезжая, ты захватила два пластиковых мешка, до отказа набитых старыми фотографиями. Тебе чудилось, что в мешках мы берем с собой наше прошлое, картины которого сможем потом складывать, как пазл, из этих прямоугольных кусочков бумаги.

Но оказалось, что прошлым до отказа набиты наша память и воображение.

Впрочем, наверно, даже наоборот: что мы памятью и воображением большую часть еще отпущенного нам времени проводим в пространстве прошлого.

Что память и воображение — лучшая фотоаппаратура, не сравнимая ни с какими ФЭД’ами и «Сапоп’ами».

Что, выудив из кучи снимков любой наугад, мы, взглянув на него, всеми шестью чувствами воссоздаем образ мира, незапечатляемый самой совершенной аппаратурой.

5

Размышляя об обратном движении времени в сновидении, о.Павел Флоренский приводит пример, ставший классическим.

Человек видит себя во сне участником великой французской революции. С ним происходят разнообразные происшествия. Его долго преследуют, наконец — схватывают, приговаривают к казни, тащат на гильотину. Страшный стальной нож падает, касается его шеи, — человек в ужасе пробуждается. Оказывается, у него голова сползла с подушки и он коснулся шейей металлического края кровати.

6

Случайная старая фотография — как это стальное лезвие гильотины.

С его прикосновением события, предшествующие запечатленному и — в отличие от сновидения — последующие, выстраиваются, перестраиваются, сцепляются в сюжеты.

7

Предполагая в сновидении своего рода творческий акт, Лев Толстой с его страстным мышлением заговорил вообще об условности пространства и времени:

«Понятия пространство и время суть бессмыслицы и противны требованиям разума. Время должно указывать пределы последовательности, а пространство пределы расположения вещей, а между тем ни то, ни другое не имеет пределов. Я не знаю более точного определения времени и пространства, как то, которое я мальчиком еще 15-ти лет сделал себе, а именно: время есть способность человека представлять себе много предметов в одном пространстве, что возможно только через последовательность, пространство же есть способность человека представлять себе много предметов в одно и то же время, что возможно только при рядом стоянии вещей».

8

Ты даже намеревалась засесть однажды и разложить фотографии по хронологии и по темам.

Внести историзм в эти пластиковые мешки, набитые хаосом.

Упорядочить вольные и произвольные озарения памяти — историей.

Даже — Историей.

Конечно, ты так и не принялась за дело.

Пространство и время не были над тобой властны.

Всё, что даровала нам жизнь, ты, осмысляя и переживая, располагала как-то по-своему, не подчиняя ни хронологическому порядку, ни тематическому.

Ты и книги никогда не читала, двигаясь от первой страницы к последней.

Открывала, где придется, тут, там, заглядывала в конец, бралась за начало — и снова туда и сюда перекидывала страницы, отыскивая что-то, однажды уже овладевшее вниманием.

Я немного встречал людей, которые, читая, так пронизательно и точно схватывали в прочитанном самое существенное..

9

Когда мы попадали в прежде незнакомый город, ты, после недолгой прогулки (на долгую часто не хватало сил), устраивалась где-нибудь в сквере, на лавочке у входа в музей, за столиком уличного кафе, даже на вокзальной площади (помнишь, в Эдинбурге?).. Я носился со своей «мыльницей» по улицам. Ты сидела тихо, смотрела, слушала, дышала воздухом, которым был настоен этот город. Через несколько часов я возвращался, мои карманы топырились катушками отснятой пленки. Ты рассказывала мне о городе, каким почувствовала его и поняла, и в том, что ты говорила, всегда оказывалось нечто самое значимое, что тотчас оживало во мне, когда я после, уже дома, перебирал отглянцованные прямоугольники с изображениями монументов, дворцов, набережных, уличной толпы...

10

Археологический взгляд: в черепке увидеть сосуд.
Дом.
Город.
Мир.

11

В частном — целое.
И — цельное.

12

« —...Чуть узенькую пятку я заметил.
— Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное...»
Сказано по другому поводу. Но, в общем, — о том же.

13

...Лежа на своем диване, ты молча смотришь в окно на небо, на верхушки деревьев.
В руке у тебя любимый шарик из душистого сандалового дерева.

14

...Шарик еще теплый.

15

Я кладу шарик в невысокий шкаф, притулившийся возле твоего дивана. Туда же я кладу легкий шерстяной платок, в который ты куталась. Томик Пушкина, неизменно сопровождавший нас в наших перемещениях по свету. Твой молитвенник. Твою синюю кружку. Картинку, которую ты любила и держала на спинке дивана, — ежик в тумане... Я кладу в старый шкаф два пластиковых мешка, туго набитых прошлым, и «мыльницу», которая давно мне не нужна.

16

Резная дверца старинного шкафа изъедена временем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Такие шкафы назывались горками.
Верхняя часть с обтянутыми сукном полками застеклена, нижние полки (пошире) прикрыты дверцами.

В горках хранили посуду.

В.И.Даль, толкуя в Словаре горку, прибавляет: щегольскую посуду.

То есть — дорогую, напоказ.

Я помню такие горки в состоятельных домах и в домах, где старались не утратить меты семейной традиции, благополучного прошлого.

В верхней части шкафа, за стеклом, на виду, стояли чашки, вазы, статуэтки хорошего фарфора, хрустальные графины и бокалы; внизу, за дверцами, хранили дорогие сервизы, которыми пользовались редко.

Горка была не предметом столового употребления.

В зависимости от вкуса хозяев, которым принадлежала, она могла быть средством украшения, витриной благосостояния или обозначать эстетику дома.

2

Шкаф, обитающий в нынешнем нашем пристанище, сильно разрушен временем и перипетиями долгой жизни.

Верхняя — застекленная — дверца отвалилась вовсе. Сукно на полках потерялось, да и не нужно нам оно: посуды, которую держат в горках, у нас не имеется, копится на полках что придется, свидетельства не основательно устроенного житья.

Вот — кто-то подарил красивую морскую раковину. Вот — маленькая нефритовая черепашка (откуда она у нас?), игрушка правнучки. А это — какие-то старые квитанции: всё забываю разобраться или выбросить. Толстая книга — нашумевший немецкий бестселлер: года два уже, или три, время от времени, когда не занят ничем другим, я продолжаю его читать, — черепашьим шагом переползаю из главы в главу, волоча за собой радужно-пеструю полоску картона, закладку из книжного магазина Mayersche.

Немногим лучше уцелела и нижняя часть шкафа. Дверцы, хотя и держатся в петлях, как сказано, трачены прожитыми годами. Дерево, уже начавшее крошиться, похоже на пористый ржаной хлеб. Замки на дверцах вывалились, выкрошились. Резной барельеф местами осыпался. Полка внутри, взамен сукна, оклеена плотной черной бумагой...

3

«А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А?..» (А.П.Чехов. «Вишневый сад»).

4

Шкафу, вдвоем с которым, под одной кровлей, я доживаю свой век, перевалило за сто.

Кого только он не перевидал, чего не наслушался.

Хорошо бы засесть однажды и рассказать его жизнь.

Получилась бы занятная книга.

Может быть, даже бестселлер.

5

...После подписания Веймарского мира шкаф оказался в просторной квартире при райхсканцелярии. Там провел он интересные, полнящиеся событиями и встречами годы, пока квартиру не облюбывал для себя и не обставил по-своему новый жилец, назначенный германским канцлером 30 января 1933 года.

6

Но это уже — другая история.
Новая История.

7

Дорогой, многоуважаемый шкаф!..

.....

.....



Наталия МИСЮРА

/ Санкт-Петербург /

МОРОЗ

Ветвящейся свечой на льду замёрзшей лужи
Над крышами, над миром, на безлюдье
Стоят созвездия, как на огромном блюде:
Огонь внутри и черный лед снаружи.

И каждая звезда в своём отдельном нимбе
Всю ночь дрожит от бесконечной стужи:
Нет никого на небе, и, что хуже, —
Нет никого и на дороге в Лимбе.

ВЕЧЕР 2. РЕДКИЕ СЛОВА

Сквозь прозрачность сиреневых крон
В вилках веток, когтящих и гибких,
Тихо множится в львиных улыбках
Слово радостное «Маскарон».

И в рывках раздраженного улья,
Где так явны погибель и крах,
Незнакомое слово «Горгулья»
Мне внушает почтительный страх.

Невский, солнце, весна... И киоски —
В золотом окруженье голов...
Тлеют вывесок медные доски,
Выжигая значения слов, —

Солнце съело мансарды, квадриги,
Обесцветило смыслов улов...
Робко прячутся призраки слов
Под лотками у Дома Книги.

* * *

Равнины простота ужасней воровства
И частностями вновь пренебрегает.
Вдаль серебристой мышью убегает
Снег, тополиный пух иль палая листва,

Не признавая скрытого родства,
Любой намёк на сходство отвергает
И встречу на потом отодвигает,
Неотвратимую, как говорит молва,

Когда свернется лист, а снег растает,
Пух... А его уж дворники сметают...
Не замечая тайного родства,

Бредут прохожие. Бледна их вереница.
И пустота, что хуже воровства,
Смывает контуры и скрадывает лица.

* * *

Заворожённые тембром и метром
Тех голосов, что из тьмы окликают,
Дервиши-листья, подхвачены ветром,
Кружат и кружат, и в транс увлекают...

Двигатель вечен почти, а круженье —
Вряд ли. И все ж — неужели до срока,
Так незаметно, без тени упрека,
В штопор срываются и в постиженьё

Истины мрачной! Виток пируэта
Неумолимо нисходит к концу...
Нет никаких оснований для этой
Глупой улыбки, прилипшей к лицу!

МАРСИЙ

Что толку себя собирать, как больного Шалтая-Болтая,
Как звуки текучей воды собирает тростник, вырастая?
Все звуки впитает тростник, эту влажность и свежесть глотая —
Бери свою флейту, пусти их сгорать на лету, отлетая...

Бери свою флейту, сыграй, если сможешь, как можешь. Простая
Мелодия душу из кокона тянет, как нить золотая...
И если тебе повезёт, ты почувствуешь гул изначальный
Стозевно ревущего Хаоса в голосе нимфы печальной...

И если вдвойне повезёт, то узнаешь особую цену
Хаосу, когда Аполлон разможжит твою флейту о сцену!

СЛОВА

1

Чем заняты — бог весть, словно жуки в коробке
В их жизни потайной — грозны, нелепы, робки,
Стесненные в немислимом пространстве,
То враз притихнут, то бормочут в трансе...

Вернуться к тишине — словно пружину сжать.
И скоро дверь рванут, как толовою шашкой —
И — вылетают вдруг, и их — не удержать
И не смирить смирительной рубашкой!

2

Дванадцать болтливых языков
Желают высказаться, а порой — заплакать:
Змей, рыба, дерево и хлеб (кора и мякоть),
Блик на воде (сверкнет — и — был таков!)...

Дванадцать дрожащих язычков
Свечей, уставших ярим воском капать,
Мерцают сквозь слои, туман и слякоть,
Как взгляд, что вдруг блеснет поверх очков.

Дванадцать забытых языков
Готовы высказать всю правду о Вселенной,
О жизни сей, таинственной и тленной,
Да только слушать — нету дураков!

Да только речь их — не о нас и ни о ком:
Не выразить вещам тоски своей всегдашней —
Не совладать с забытым языком... —
И мы удивлены сквозящим холодком
И тишиной на Вавилонской башне.

НОВЫЙ ГОД

Облака проплывают: пора, пора...
Нужно ночью, что тянется, словно нить,
В перемирье с миром, успеть до утра
Иллюзий трупики похоронить,

Потому что иначе — пропаду навек... —
Как прицел — этот крест — переплет окна,
За которым истошно воеет луна
На вчерашний — уже прошлогодний — снег.

* * *

Не знаю, кто я — зверь ли? человек
В обличиях то матери, то дочки? —
Абсурдная орбита, краткий век
Все перепутавшей материальной точки...

Петлист, как змей, он склонен ускользать
И говорить на языке возмездья:
Все перепуталось, и некому сказать,
Как называются созвездья,

Как, удивленная их свойствами, душа
Забыла растревлять свои обиды...
Летят, горят и сыплются, шурша,
В траву метеориты Леониды.

* * *

Как церберы у мрачных врат Аида,
Где лестница уводит под уклон,
Являют стойкости лежащий эталон;
И что — метро без их таинственного вида!

В волнах толпы сквозя, как рыжий риф,
Мечтают и не ведают заботы,
На обстоятельства, их сапоги и боты,
Шесть золотистых глаз полузакрыв...

Подземное тепло слюится в полумраке.
Не выбирают век и время года.
Переселюсь легко. И сладок сон собаки,
Калачиком свернувшейся у входа.

ТЕАТР

Здесь, в бутафорской тьме, придуманный король,
Живой настолько, что взаправду умирает,
То с жиру бесится, то страждет и играет
Великого себя, играющего роль

Великого себя, бредущего на ощупь
К великому себе, свечу над головой,
Солдат и злых сестер, и нищих, и конвой
Чтоб оглушить, как гром — испуганную рошу.

Век не железен, но свинцов и оловянен.
Палач иллюзий. Кланов разоритель.
За горстью горсть песок швыряет в котлован
Уставший шут — высоких зрелищ зритель.

* * *

«...Друг другу чужды и любезны...»
Д. Мережковский

Луна такая, что — не спится.
Друг другу чужды и любезны.
Воспоминанья бесполезны:
Шесть степеней свободы птицы.

Гусей бессонных вереницы,
Как нити, стягивают бездны,
И упраздняются границы...
Мы ж — больше чужды, чем любезны,

А обод, ступица и спицы
В руках Фортуны так железны,
Что остается лишь напиться
(Пускай мы чужды, но — любезны!)

Как параллельные потоки,
Впадаем в сумрачные бездны.
Неразделимы. Одиноки.
Друг другу чужды и любезны.

КРЫШИ

1

«...У кастрюль съезжают крыши...»
Марина Клеймиц

Блестят в вечернем свете крыши
Домов, безликих, как коробки,
Где электрические вспышки
Щелчками выбивают пробки,

Где перегруженные сети
Несут безумные посланья,
И в них теряются, как дети,
Сны, имена, воспоминанья...

Порой сатиры или козы
Пронесятся толпой копытных...
На кухне Хаос и угрозы
Творят чудовищ первобытных...

Смущает сказанное выше
Наш дух — прямой и опрощенный.
Вскипает разум возмущенный,
И у кастрюль съезжают крыши...

2

Пугает это «Жили-были...»
Прошедшим временем. И в целом.
Не волком ль выли — мы ли, вы ли —
В пространстве злом и пустотелом,

Пропаив под куполом высоким,
То ледяным, то раскаленным...
Нелепо быть не одиноким
В пространстве этом искривленном...

Но часто — вровень с облаками,
А чаще — ниже или выше, —
Двускатно складывались крыши,
Как книги кверху корешками.

На их полях и между строчек
Все то же: снег да тощий клен.
Но странен, кто не удивлен
Свеченьем стольких ярких точек.

* * *

Волнами и всклянь наливаются в комнату мгла.
Углы, погружаясь, пугают дурной глубиной.
Но лампа на миг зажжена, и поверхность стола
Всплыла, как Ковчег, вызволяя пространство большое...

Из Хаоса ночи луна выплывает — жива!
А серые сумерки тихо растут, как кустарник.
Там серая бабочка бьется, шурша, как трава
Шуршит, на ветру подсыхая, — как сныть, незабудка, татарник,

На свет бороздой выбираясь сквозь листьев флажки и фестоны,
Из куколки выбросив ручки и прахом посыпав главу...
А пугало в белой рубашке (иль кто там еще на плаву?)
Отмашку дает, темноте открывая кингстоны.

Ломиться в слепое окно (не лететь же к Луне!)
Уж поздно. Чем дальше, тем позже. И можно ручаться,
Что тьма наконец-то сровнялась и в доме, и вне,
Что бабочка больше не знает, куда ей стучаться.

ПЯРНУ

Безлюдный пляж из сна, белесого, как море:
Метут метелки трав, поют песчинки в хоре,
Вздыхает дюна и колеблются стропила.
Как зерна мака, тля все стебли облепила,

Все стебли — связку флейт, что над душою ноет...
Однажды — жизнь назад — длинна, как гуманоид,
Бежала тень моя и на меня косилась...

Как конница, волна, нахлынув, откатилась,
Стащила солнце, прибрала остатки света...
Где все? И почему уже не жду ответа?

* * *

в зеркальном кубе манекен
глядит словно не прочь помочь
выть волком мунком или кем
другим в рождественскую ночь

под елкой Пух и с ним другие
для них горит светодиод
в прозренья горьком ностальгии
застыл и всхлипнул идиот

и в поле зренья где ни зги и
к домам уродливым земли
снежинки новые другие
как микроангелы сошли

Владимир БЕСПАЛЬКО

/ Санкт-Петербург /



* * *

Я жил как жил: то жестко, то наивно.
Я видел смерть и долгий взгляд небес,
Я в омуте тонул, осенний лес
Мне протянул ладонь упругой ивы.
А в синеве, за дальней кромкой леса,
Где звездный механизм мира вращает,
Два ангела, похожие на чаек,
Зажгли почти погасшую звезду.

* * *

Пронзительная свежесть снегопада.
Деревья стынут по краям озер,
Серебряной звезды далекая лампада
Роняет луч на темный косогор.
И в тишине под зыбкой далью звездной
Пред желтизной, оправленную в снег,
Стою, решив, что никогда не поздно
Замедлить дней быстротекущий бег.
От суеты избавить чудо жизни,
Любить, любви не требуя в ответ,
И дом Земной трагической отчизны,
И Мирозданья первозданный свет.

* * *

Музыка трав и деревьев, и ветра
В век электронный ветхое ретро.
Язык беспредельно звучащей природы
Впитал и взрастил сокровенные ноты.
Озвучил их ветер, деревья и травы
И рок музыкантов стальные оравы,
Орущих что правы — и впредь будут правы
И звезды и ветер, моря и дубравы.

* * *

Вся одежда у яблонь из прозрачных и белых цветов,
Под ногами у них одуванчики медленно тают —
В них грунтовые воды, поднимаясь из темных пластов,
Перелившись в ростки, над землей, шелестя проплывают.
Прогибая соцветья, в лепестках исчезает пчела —
Вся покрылась пыльцой, в синем воздухе чуть золотится,
И другая пчела за цветок ее желтый сочла,
И решила сама в легкокрылый цветок обратиться.
А вблизи от пруда загорает девчонка одна.
Пригляжусь не одна — мотылек над плечом ее вьется
Расцветает в ней жизнь. Только жизнь ей своя не видна
Словно деревце спит погруженное в небо и солнце.

* * *

Над черною речкой холм белоствольный
Сияет лучами, особенно в полдень,
Как если б в земле на заводе стекольном
Стволы выдували свеченьем наполнив.
Холм белоствольный все тянется к небу,
Напоминая свеченье собора...
Так и живет красоте на потребу —
На фоне небес — беспредельных для взора.

* * *

Скользит воздушная река,
Волнообразны облака.
А на земле у светлой речки,
Подставив солнцу грудь и плечи,
Лежит беспечная жена,
Ликует, что обнажена.
Она явилась из ребра.
В ребро её вернуть пора,
А если это не получится —
Придётся с нею дальше мучиться.
Умней себя моя попутчица —
Из рая в электронный мир...
Бесплатный в мышеловке сыр.

* * *

Эту бледность лишённую света
Примеряют каналы, мосты...
Влажный дух водянистого лета
Жизнь восала в проем пустоты —
Меж мирами. И что же в итоге:
В декорациях касты людей
Пьют, едят, вспоминают о Боге,
О себе и виденьях детей.

Изначально бесцветные ночи
На соборы набросили плед.
Нет подсветки, но где же источник
Излучающий призрачный свет.

* * *

Может кофе? Можно кофе.
Снег струится за окном
Твой летящий легкий профиль
Мне знаком и не знаком.
Может, вспомнишь? Вспомнить можно
Чувств — стремительный разбег.
За окном невольно ожил
Прошлогодний, крупный снег.
Чашка кофе и печенье
И улыбка в пол лица,
И высокое прощенье.
Кто простит нас до конца?
Может это все некстати?
Может кстати, как узнать?
И халатик вместо платья,
И прощенья благодать.

* * *

Идут дожди с утра и до утра...
Магнитную основой град Петра
Магически притягивает тучи —
Дождями горожан злорадно мучит.
Я так скажу — болотному народу
И впредь даруй подобную погоду.
Дожди для населения благодать:
Цветут зонты, а над коляской мать
Подобно Богородице склонилась —
Улыбкой жизнь младенца озарилась.
Но лишь на миг. Дождинка ли слеза
Слились в одну — их разделить нельзя.
Притягивает дождь людских обид —
Правитель Медный, шпиль и гранит.

* * *

Пятна света в мрачной мгле канала,
Гул машин, случайный пешеход...
Для меня и этого не мало
Даже много. Вот и поворот.
Прохожу дворами проходными.
Время вспять упрямо потекло.
Тень твоя из прошлого донныне
Смотрит сквозь оконное стекло.

Окна, стекла, стены, а за ними:
Книжный мир и красок натюрморт,
Музыка. А грусти нет в помине —
В этой неизбежной пантомиме
Обеззвучен солнечный аккорд.

* * *

Э.М. Шнейдерману

На фоне зданья силуэт
Возник и тут же растворился
И вновь внезапно проявился —
Передо мной стоял поэт.
К нему прилип фонарный блик
И лик, и облик обозначил.
Он произнес: «Деревья плачут,
Мне дождь за шиворот проник.
Зайдем, согреемся вином,
А по душе так можно водкой».
С улыбкой сдержанной и кроткой
Он ввел меня в старинный дом.
Обетованная квартира
Вбирала часть палитры мира:
Скульптуры, облака картин,
Звучанье пишмашинки-лиры
И не залатанные дыры
Родных семейных палестин.
Мелькали внучки, а жена —
Легко вместив в себя семейство
На кухне совершала действие
Не отказавшись от вина.
Она и впредь во всем права.
В ней мысль задорная созрела
Легко покачивая тело
Запела дерзкие слова:
«Эх любо, братцы, любо
Любо братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить».
И кто из них был атаман
Не разобрать стакан, туман.
Поэт был рядом и извне.
Но говорил о самом главном...
И растворялся нежно, плавно
Во внучках, дочке и жене.
Душа в стихах и стихоопытах
Сквозь боль к читателям дотопала.
И в ноосфере пребывая
Напоминает что живая.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

/ Санкт-Петербург /



ТРИ РАССКАЗА О ЛЮБВИ

1. СЁСТРЫ

Таня и Аня — вот как их звали. Смешно, одно имя как будто входило в другое, словно две картинки наплывали одна на другую и становились одной. При том, что были они не похожи друг на друга, как бывают непохожи только родственницы, а были они двоюродными сестрами.

Собственно, сначала я знал только Аню. И знал ее с того младенческого возраста, когда ее и мои родители приводили нас на пляж, доставали наши лопатки и ведерки, и принимались болтать друг с другом — они были когда-то сослуживцами, из-за этого и наши дачи оказались рядом на побережье, землю раздавали по предприятиям. Садины на влажном песке, смываемые длинной пузырящейся волной, сосредоточенное ковыряние лопаткой, сидя на корточках, лоб ко лбу... У нее был крутой, всегда чуть вспотевший лоб, за ним начиналось нежное волнение каштановых волос, стянутых сзади резинкой. Никакой влюбленности я не чувствовал, тем более, что ненавидел эти походы на пляж, в основном, из-за неизбежного кормления помидорами и крутыми яйцами; этот белок с синюшным отливом, скрип песчинок на зубах, красный плевок помидорного сока на животе... «Аккуратней не можешь, опять тебя мыть надо». «Я хочу домой». «Здрасьте, мы только пришли. Иди, поиграй с Аней». Я шел, мы копались в песке, но горечь несвободы отравляла мне всё — мне противны были поджаренные тела, растянувшиеся на подстилках, застывшее в зените солнце, никак не желавшее доползти до ближайшей скалы, после чего, я знал, начнутся сборы домой. Дома ждала прохлада беседки, укрывавшей от беспощадного солнца панцирем виноградных листьев, игрушки, застывшие в момент моего ухода и жадно ждущие оживления, бесконечность будущего, частично отравленная необходимостями, вроде походов на пляж, но в целом манящая и счастливая.

После этого мы не виделись много лет. То они не приезжали на дачу (смерти, свадьбы, болезни — великие разрушители дачной жизни), то мы не выезжали из города (а я, когда стал старше, по своей воле не казал носа на дачу, наслаждаясь опустевшей городской квартирой, где в самые

жаркие дни, если не открывать окна и ставни, как в погребе, сохранялась прохлада). Так что, когда уже девятнадцатилетним я увидел приземистую полноватую девушку, я не сразу узнал в ней пляжного малыша моего детства. Только каштановые волосы так же нежно вились над выпуклым лбом и так же были стянуты сзади резинкой. Мы говорили ни о чем, я — со свободой, появившейся после весьма приблизительного (и тут же оборвавшегося) опыта близости с женщиной, она — с натугой и стеснением девушки, считающей себя дурнушкой. «А ко мне сестра приехала из Москвы, Таня». «Двоюродная», — зачем-то добавила она. «Мы вечером ходим на пляж, придешь?»

Я пришел. Таня оказалась высокой, очень стройной девушкой, с короткими черными волосами, с продолговатым бледным лицом, на котором естественно, как на яичной скорлупе, смотрелись многочисленные веснушки. Когда она сбросила платье и осталась в купальнике, она напомнила те древнегреческие скульптурки, где формы едва намечены, но общая пластика безупречна. А когда вошла в воду и поплыла, не осталось сомнений, что море для неё родная стихия — так легко и точно взрезала плоть воды тонкая рука, ритмично взлетающая над головой, а отсутствие брызг и пены заставляли вообразить хвост русалки вместо ног. Я плавал неплохо, но она без всяких усилий оставила меня далеко позади. «У нее первый разряд», — с явной гордостью за сестру сказала Аня. Маленькая черная точка ее головы была еле различима в светлой зыби залива. Она плавала долго, стало прохладно, а когда вернулась, капельки воды на теле казались выпавшими мурашками озноба, они вспыхивали красными блёстками заката. Она достала полотенце, завернулась в него и села на подстилку, глядя в открытое пространство залива. Так она еще больше напоминала греческую скульптурку. Стало быстро смеркаться, мы собрали подстилку с мокрым треугольным оттиском ее плавок и стали подниматься по длинной с изгибами лестнице, выдолбленной в откосе обрыва. Сверху еще можно было различить резко посиневшее море с белыми надрезами сновавших катеров. «Тань, пошли...», — это Аня обращалась к фигурке, застывшей на краю обрыва, не в силах оторваться от медленного угасания света, от огромного листика сумерек, стиравшего последние контуры. Оборки ее платья под степным ветром подражали волнообразному дыханию моря.

С того дня я стал ревностным дачником. Трудно было угадать время их появления на пляже, молочная кожа северянки мгновенно розовела и шелушилась в беспощадной жаровне юга, да и когда они все-таки выбирались днем, Таня почти всегда заплывала невесть куда, и мне оставалось только подолгу болтать на берегу с Аней, вглядываясь в дымку на горизонте, выискивая в ее зыбких контурах намек на знакомую булавочную головку пловчихи. «Наверное, на сейнер подалась», — догадывалась Аня. Сейнер, ржавая посуда, севшая на мель в полутора километрах от берега, доплыть до него считалось одним из величайших мальчишеских подвигов, о котором приятелям сообщалось заведомо будничным тоном: «я сегодня сплавал на сейнер». На самом деле это значило, что герой, совершенно обессиленный, вскарабкался на палубу посудины, отсиживался там час-другой, восстанавливая дыхание; об обратном пути не стоило и вспоминать — это был кошмар молотьбы руками и ногами по воде из последних сил, не раз всплывало перед глазами самое любимое и ценное, с чем ты

сейчас должен навеки проститься, пока измученное тело не утыкалось в прибрежный песок. Но Таня, проплывшая такое же расстояние и не подумавшая лезть на какой-то сейнер, спокойно появлялась из воды, стаскивала резиновую шапочку и садилась в своей любимой позе, завернувшись в полотенце. Заговорить с ней почему-то было трудно, она словно отделена была от всех толщей воды, в которой только что так ловко чувствовало себя ее тело.

Зато вечером я мог зайти за ними, и мы отправлялись гулять. Конечно, не по скучным улицам дачного посёлка, где косые фонари выхватывали из тьмы щербатую дорогу, кривые заборы да кучи травы и сучьев, пригготовленные к воскресному сожжению. Нет, мы шли по узким тропинкам над морем, лунный свет, как вампир, высасывал дневные цвета, оставляя однообразную лунную бледность, густую черноту теней да длинную, чуть золотистую дорожку, уходящую по воде к горизонту. Внизу ритмично шлепала волна прибоя. Тропинка была так узка, что нам приходилось идти друг за другом, я шел в середине, и передо мной мелькала гибкая спина Тани. Эта спина явно чувствовала близость идущего позади, в ней была чуткая настороженность. Сзади плелась Аня. Однажды решившись, я подошел вплотную и положил ладонь на тонкую шею, ощутив покалывание подстриженных волос. Она застыла, словно я мог начать душить ее. «А я завтра уезжаю», — сказала она, и я почувствовал всю невозможность того, что моя рука останется без этого тепла, без этого покалывания. И, словно почувствовав то же самое, она остановилась и спиной прижалась ко мне. «Да, — подтвердила Аня, запыхавшись и догоняя нас, — она завтра уезжает в институтский лагерь. В Анапу».

Несколько дней я провалялся на диване в городской квартире. Шум улицы еле проникал в аквариум комнаты, мое желание еще хоть раз увидеть Таню вспухало облаком несбыточных фантазий и оседало испариной тупой усталости и безысходности. «А почему, черт подери! Что меня держит на этом диване?» и, еще не осознавая до конца, что и зачем делаю, я побрел к полукруглому зданию, стоявшему на бульваре над морем и передразнивавшему кривизной линию залива, в нем продавались билеты на суда и судёнышки, бороздившие море по так называемой крымско-кавказской линии. Самый дешевый билет в четырехместной каюте был мне вполне по силам. Родителям я заявил, что заслужил небольшое путешествие за то, что благополучно отмучился на первом курсе института, который — они это прекрасно знали — мне совершенно безразличен.

В брюхе огромного корабля, где помещалась моя каюта, стояла невыносимая духота. Иллюминаторы были задраены намертво, очевидно, чтобы не черпнуть воды при волнении. Волосатое существо в белой майке дрыхло на нижней полке, на столе стояла пустая бутылка дешевого коньяка. В другом состоянии я это существо не заставал, поскольку весь день проводил на палубе и только к ночи, когда накаленное плавучее железо слегка остывало, спускался в каюту, где заставал очередную пустую бутылку и храпящего соседа. Две другие койки были свободны. Я ложился на свою и, вслушиваясь в мелкое натужное дрожание теплохода, старался не думать о нелюбимости своей затеи.

К Анапе теплоход причалил очень рано, около пяти, и в густом тумане. Гудок перед отходом прозвучал особенно надрывно и прощально в этом

ватном облаке, мгновенно поглотившем контуры корабля. Незнакомый маленький городок в такую рань совершенно ошарашивает посетителя — неизвестно что делать с этими пустыми улицами, да еще из-за тумана проявленными всего на десяток метров, не больше, со своим бестелесным телом, таким легким и чужеродным этим спящим улицам. Я подошел к витрине, в ней отрешенно сидели два манекена, разглядывая друг друга расписными глазами мумий. По стеклу витрины сползала слеза осевшего тумана. Над магазином плыл ровный ряд неосвещенных окон — вот где должен быть человек в это время, он должен спать за такими окнами, если смерть или болезнь не вмешиваются в ровное течение жизни. Или любовь.

Я сел на мокрую скамью бульвара и провалился в дремоту. Когда очнулся, туман исчез, солнце справлялось с последними следами влаги на асфальте. Пустой причал крикливо атаковали чайки, ушедший теплоход оставил им неплохую поживу. Появились первые прохожие с остатками сна на лицах, от которого им не хотелось избавляться. После нескольких неудачных попыток мне удалось узнать, как добраться до лагеря, благо, название института я запомнил.

Маленькая привокзальная площадь, откуда отправлялся автобус, была похожа на все подобные площади в южных городках: кучка дремлющего народа с чемоданами и узлами на остановке, в стороне — застывший в неподвижности автобус, рядом шофер, у которого никакими пытками нельзя добиться, какой это автобус и есть ли надежда на его отправление. Тут же стояли три прилавка, обозначающие местный рынок, за одним сидел хмурый мужик в кепке с иссушенным запавшим лицом и черной черепащей шейей, перед ним лежали четыре головки чеснока. От него я и узнал, что мои ожидания не бессмысленны, и действительно, шофер завел мотор, покурив немного в кабине, равнодушно глядя в сторону, чтобы вполне дать понять встрепенувшейся толпе кто они и кто он, и подъехал к остановке.

Зато дорога была великолепна. С одной стороны небольшой склон, засаженный виноградниками, или переливчатые поля с неожиданным выкриком тополя или кипариса, с другой — за каждым поворотом открывалась все та же и каждый раз новая гладь моря, с медленно ползущим танкером на горизонте или пятнышком рыбацкого баркаса. Но там, где мне пришлось выйти, не было видно ни моря, ни полей, — это был заброшенный пустырь, вдоль которого тянулся сплошной забор, выкрашенный кондовой зеленой краской. Я пошел вдоль забора, пока не наткнулся на маленькую проходную, рядом с тяжелыми осевшими воротами, за годы процарапавшими на асфальте два идеальных полукруглых сектора. Охранник, колченогий старик, с вопросительным видом уставился на меня. Я назвал Танину фамилию, о терроризме в те годы еще не было слышно, а вид моего паспорта совсем его успокоил. «Сейчас они все обедают вон в той столовой», — он махнул рукой в сторону длинного одноэтажного барака. Я сел на скамью напротив выхода, дверь на пружине время от времени толчком открывалась, выпускала какую-нибудь оживленную компанию или дожевывающих одиночек, и с долгим скрипом захлопывалась. Таня вышла с двумя юношами, один был маленький, чернявый, в очках, явный затейник и остроумец, второй — спортивного вида красавец с замедленными, полными вкрадчивой силы, повадками гимнаста. Сама Таня была одета в спортивный костюм и в

руке держала рапиру. Она увидела меня, и сине-зеленые глаза ее чуть прищурились. «Ты-то как тут очутился? Подожди, я тебя познакомлю: Витя, Рома...» — она переждала наше вялое рукопожатие, сдобренное шуткой чернявого, что-то насчет непредвиденного десанта и подкрепления. Великолепный Рома молча, с каким-то ласковым состраданием разглядывал меня. «У меня тренировка», — она помахала рапирой, — «это недолго, всего на час, а потом я тебе все здесь покажу...». «Знаешь, я ведь просто по пути заехал», — неожиданно соврал я, — «у меня билет по крымско-кавказской и теплоход отходит сегодня вечером». «Ну, тогда тренировка отпадает. Айда на море!», — и она легкой походкой, впереди, словно мы вновь шли по узкой тропинке, повела пустырем к берегу. Чернявый куда-то пропал, а Рома плавной тигриной походкой шел чуть позади. На совершенно безлюдном берегу валялись ветки кустарника и диких олив — следы последнего шторма. Мы выкупались, я подобрал сломанную ветку. «Знаешь, я ведь тоже фехтованием занимался», — сказал я и стал в стойку. Она подобрала рапиру, и мы начали фехтовать, увязая в песке и делая невозможные выпады. Рома сидел в отдалении, бесстрастно глядя на нас. «Слушай, а может останешься, я все устрою, у нас много пустых коек...». На миг мне показалось, что это возможно. Но только на миг.

Обратно я плыл на маленьком теплоходе в жестокий шторм. Каюта была двухместная, и моя соседка, толстая пожилая баба не отрывала лица от пакета. Я временами выползал на палубу, которая мягко, но глубоко уходила из-под ног, и стрелел, как работает громадная швейная машина грозы вдали, шивая блестящей иззубренной иглой небо с морем. Ближе к дому шторм утих, и в гавань мы заходили по блеклой виноватой воде залива, совершенно обессиленные и опустошенные.

Через много лет на пляже я увидел маленькую девочку, сидящую на короточках и копающую песок. Кого-то она мне напомнила — тот же выпуклый лоб, те же выющиеся каштановые волосы, стянутые резинкой. Ее я узнал, а вот маму, стоящую рядом, полную женщину с оплывшими ногами, узнал не сразу. И, тем не менее, это была она, Аня. Мы начали осторожный разговор двух людей, долго не встречавшихся и опасавшихся попасть впросак неловким вопросом или воспоминанием, залетевшим из другой жизни. Разговоры эти напоминают изысканный танец, где пары, сблизившись на опасное расстояние, тут же расходятся. Она сказала, что замужем, и вот оно, ее счастье — она кивнула на девочку. «А что Таня?» — спросил я. «Ничего, живет в Москве, успела побывать замужем за знаменитым спортсменом, сейчас одна, у нее тоже девочка, но гораздо старше... А помнишь наши ночные прогулки? Я еле попевала за вами, всегда-то была неуклюжая. А как ты мне нравился тогда, я все ночи ревела в подушку, завидуя Тане!». «Ты?», — изумился я, — «мне и в голову не могло придти...». «Где были наши головы, и чем они были забыты в то время, это одному Богу известно. Да и неважно теперь», — сказала она, нежно глядя на дочь.

Я тоже внимательно посмотрел на вспотевший выпуклый лобик маленького существа, усердно копавшего ямку. Рядом пристроился малыш, сдвинув лбы, они старательно нагружали общее ведерко. Впрочем, мальчик был совершенно не похож на меня в детстве.

2. ВЫБОР

Чего добиваются от него эти две женщины? Сегодня, когда он говорил с одной, стоя во дворе — семь этажей окон нависали над ними, и за каждым текла своя жизнь и свое время — он вдруг увидел, как вторая заходит в подъезд. Лицо её, полное радости и ожидания, мгновенно стало суровым и нелюдимым, как покинутый город. Она отпрянула и неуклюже спряталась за стеной, хотя понимала, что её заметили. Когда он, скомкав разговор, выскочил из подъезда, она уже уходила какой-то хрупкой походкой. Он мог бы её догнать, но что можно сказать этим опущенным плечам, этой застывшей неподвижной спине? Что она ему необходима, что он не может вынести её горя, но... Слова будут отлетать от замороженной спины, как камешки от бетонной стены.

Они хотят, чтобы он выбрал, наконец. Понимают ли они, чего хотят? Особенно эта — та, что сейчас, не видя куда, идет по улице. С ней прожита жизнь, считай, уже прожита. Детей нет, это она решила, что их не будет, что их любовь не нуждается в ребенке, этом мягком растворе, застывающем со временем, но без швов и трещин, но намертво. Она не хотела пользоваться этим средством всех женщин, так она говорила. Такова ее кроткая гордость. Она всегда была робкой и стеснительной, кроме той, почти декамероновской истории, когда еще в институте она с подружкой засиделась у него после очередной пьянки, и он, постелив две постели, думая, что ложится с симпатичной подружкой, проснулся ночью с ней, с Катей. С тех пор они и жили вместе, и он не понимал, почему она молча убежала с дружеского застолья, едва речь касалась опасной темы возраста, он догонял ее на улице, где она тихо глотала слезы. В отличие от подружек, он ничего не ведал о тех пяти-шести годах, которые их разделяли, да и знай о них, не придал бы этому никакого значения. Что значат какие-то цифры рядом с убедительностью родного лица, светящегося в полутьме ночи на соседней подушке. Они ничего не значат, когда ладонь вслепую узнает родное тело. Да, они ничего не значат, пока их следы не проступят вдруг в минуты отчуждения и замкнутости. А такие минуты все чаще превращались в часы и дни, особенно после того, как та, вторая, появилась в его жизни. Ему и не вспомнить, как это произошло, кажется, он всегда знал эту высокую веселую девушку с круглым лицом и коротко стриженной, почти голой головой — эта ее голова и сблизила их, когда однажды ему просто ужасно захотелось погладить ее, а она взяла руку и прижала к губам.

Она живёт с отцом. Старик умирает. Она и позвала его помочь двигать это высохшее, но еще тяжелое костистое тело, измученное бесполезными операциями. Он историк, вернее, был им, пока болезнь не превратила его просто в существо, которое хочет отдыха от боли. Они растирали сухую кожу на спине, с ужасом замечая начатки пролежней, словно смерти мало работы изнутри и она, как бодрый метростроец, роет еще и снаружи, к долгожданной стыковке. Когда оставили его в покое и перестелили постель, он взглянул на них запавшими, глядящими куда-то туда глазами, и сказал: «Спасибо, ребята, я вас совсем замучил. Не умеем мы умирать по-человечески. Вот у греков, когда человек хотел умереть, он просто накрывал голову плащом, и никто его не беспокоил. Просто его час пришел. Вот

достойный жест окончательного поражения, а? на такое ведь каждый имеет право...» Маша отвела глаза, а что на это скажешь, отделаться пошлой бодростью или ещё более пошлой ложью?

Старик заснул или впал в забытье, а они расположились в соседней комнате, ведь ночью они не могли быть вместе. Смерть, словно оборотень, вспыхивает жадной жизни в тех, кем она сейчас не занята, — Маша вжималась в него, как в нору, дающую укрытие от опасности. Хотя какое там укрытие, ему самому впору найти укрытие, и ни одна из этих женщин, так желающих быть единственной, дать его не может. Чувство вины, разъедающее его, обстоятельств, силы вещей, так сотворивших этих женщин, что для них невыносима сама мысль о существовании друг друга, так же, как для него невыносимо представить, что одной из них нет; это чувство вины безосновательно, ведь он не господь и не может пересоздавать людей и, тем не менее, оно не дает покоя, не отступает ни на шаг, пока он с одной из них. Вот и сейчас, когда Машу сморил сон, и она спит с полуоткрытым ртом, с доверчивым выражением любопытного ребёнка, которому подарят много игрушек, он смотрит на неё и виновато думает, что ни одной стоящей игрушки у него для неё нет, а тот образ, который она навоображала и полюбила, никакого отношения к нему не имеет. А что имеет? Где она, тот, что смотрит сейчас на беспомощное спящее лицо, освещенное синеватым светом фонарей, снега, зимних сумерек, всего, живущего за окном своей холодной отдельной жизнью? Этот «он» возникает назойливо и бесцеремонно, когда нужно что-то делать, куда-то бежать, с кем-то разговаривать или выбирать, невыносимо выбирать из одинаково нужного, а сейчас его можно счастливо потерять, слившись с мамелеоном рекламы на соседней крыше, меняющего цвет одеяла поминутно с желтого на синий.

Маша вздрогнула и проснулась от долгого, хозяйского звонка в дверь. Пришла медсестра с долгожданным ежевечерним уколом. Ее быстрые ловкие движения, белизна халата под шубкой, запах чистоты и мороза, внешние с улицы, профессиональной плёнкой отделяли её от больного. «Ему умирать, а мне жить», — вот что говорила она всей собой. Протирая спиртом бедро старика и заметив, что он привычно сморщился в ожидании иглы, она засмеялась: «Боли боитесь? Я делаю не больно. Все вы, мужики, боли боитесь, вы и не знаете, что такое настоящая боль, вас бы хоть раз рожать заставить...» Старик медленно улынулся: «То же самое мне жена говорила, это у вас, женщин, вечная тема... А все-таки, что-то похожее на роды всем нам разок достается, и мужикам тоже, только роды эти не в жизнь, а туда...».

Пора было уходить, Катя, пожалуй, уже вернулась, он вдруг отчётливо увидел понурюю фигуру, медленно взбирающуюся по лестнице с двумя сумками в руках. Смотреть на детски обиженное лицо Маши в прихожей, на её молчаливое и заранее безнадежное «может, останешься?» было невмочь, и он поскорее выбежал на улицу. Вот он, краткий промежуток свободы между двумя домами, двумя обидами, двумя женщинами. Смотри, наслаждайся, запоминай, как ничего не происходит, просто идешь и глотаешь сырой воздух, ватные воротники снега на карнизах набухли и покрылись ноздреватой корочкой от ворованного тепла окон, фонари зажигаются вдоль улицы заговорщицкой цепочкой. Впереди блаженные полчаса в мет-

ро, когда можно читать или смотреть на лица, просто на лица. Да что там лица, если отпустили заботы, если простодушное доверие на миг овладевает тобой, каким божественным местом окажется этот вагон с полуспящими людьми, согласно кивающими в такт движению. Или эскалатор — это зубчатое чудовище, на спине которого медленно выползаешь из подземного царства вслед за старухой с кособокой тележкой. А навстречу так же медленно ползет вереница новых подземных обитателей, не ведающая, что спускается в Аид, в царство Плутона, уткнувшись в газеты или подрагивающая в такт своему плейеру.

Но лёгкие шампанские иглы беззаботности испаряются, когда он подходит к своим семи этажам. Свет горит, она дома. Он долго открывает две двери с запасом слежавшейся темноты между ними, добавляет искрящееся капельками пальто к пузырю одежды, захламинвшей вешалку, и проходит в кухню. Та же замороженная спина встречает его, Катя режет салат слишком уж тщательно и медленно. Он обнимает её сзади, но спина не оттаивает.

В тягостном молчании длится ужин. «Послушай, ты не понимаешь...», — начинает он. «Понимаю», — обрывает она. Уходит в другую комнату и ложится лицом к стене. Стеной лица к лицу стены. Он идет за ней, садится рядом и тупо разглядывает пляшущие завитки обоев. «Ну, что ты, в самом деле, я ведь люблю тебя», — говорит он, чтобы хоть какой-то звук прорезал сгущенную тишину. Ему всё невыносимо: обои, она, лежащая лицом к стене, он, несущий привычную чепуху. И книга, которую он берет со стола, чтобы сделать вид, что читает.

Потом был разговор, была лихорадочная любовь, были слёзы.

Но ничего не изменилось.

3. БОЛЕЗНЬ

Инна недоуменно посмотрела на свою руку, которая только что ловко резала лук на дощечке. Сейчас рука неподвижно лежала на столе, по-прежнему сжимая нож, но не в силах сдвинуть его с места. Потом она потеряла сознание.

Инсульт был тяжелый, правосторонний. Речь возвращалась постепенно, рождаясь из невнятного, глухого мычания. Дочь взяла отгулы и сидела с матерью, стараясь не думать о будущем, которое громоздилось тучами недовольства начальства и растущим раздражением мужа. Паша, отец семейства, вкалывал на своей каторжной трехсменке, оправдывая старую семейную поговорку «Паша — пашет», — нужны были деньги на врачей, массажистов, да и просто на жизнь. Короче, нужно было что-то придумывать, а ничего не придумывалось, кроме как вызвать Иру, двоюродную сестру больной.

Ира жила в поселке, в трех часах езды. Лет пять тому она продала свою квартиру в городе, купила домик с огородом и занялась хозяйством. Хозяйство состояло из кур и огорода, непростых отношений с соседями, раннего вставания и еще более раннего засыпания. И одиночества.

Паша взял отгул и поехал. Тряский автобус, унылый пейзаж вдоль дороги — степь, поникшие кусты с пыльной листвой — все было под стать не-

веселым думам. Он не привык доводить свои ощущения до слов, ему это было ни к чему в его токарной работе, но если бы необходимо было перевести чувства в слова, этими словами оказались бы, наверное, самые простые: «жизнь кончилась!». Он попытался вспомнить, как она начиналась, не своё детство, а их знакомство с Инной, свои ежедневные вечерние походы с букетом цветов к нелепому круглому дому, как будто нарочно торчавшему посреди площади, чтобы его медленно и торжественно объезжали троллейбусы, скрюченную, как от боли, акацию во дворе, у которой он ждал, пока Инна выйдет к нему «на свидание», как тогда говорили. Их долгие прогулки по бульвару над морем в поисках пустой скамейки, на которой в плотном телесном ночном воздухе можно было вдоволь нацеловаться «взасос» под одобрительное моргание крупных звёзд. И вдруг он вспомнил то, о чём совершенно забыл — ведь он сначала познакомился с Иррой, с хотушкой Иррой, это её он «заклеил» у автомата с газированной водой и долго потом называл «моя шипучая». Но лёгкая и «шипучая» Ирка зачем-то таскала с собой двоюродную сестру Инну, молчаливую и серьёзную, никак не отзывавшуюся на их подначивания. И постепенно у Паши стало возникать ощущение, что они с Иркой, словно два щенка, носятся по берегу спокойного глубокого озера неизведанной женской сущности, и его стало тянуть в глубины этого омута. Так же невозмутимо, как раньше сопровождала их взбалмошные прогулки, стала она приходить на свидания к Паше, где уже не было никакой Ирки, а было долгое хождение вдвоём по аллеям бульвара, чаще всего в молчании. Искоса поглядывая на спокойную, лёгкую походку Инны на высоких каблуках, которые тогда называли «гвоздиками» (кажется, так же легко и отстраненно она прошла бы по настоящим гвоздям), Паша пытался разгадать суть этой силы тяготения, засасывающей его всё глубже и глубже в воды её походки, движений, молчания и вдруг понимал, что для самой себя она такая же тайна, как для него, и в этом секрет её абсолютной естественности и обаяния. И потом, когда она «отдалась» Паше, выяснилось, что ей нечего отдать сверх того, что она уже отдала ему щедро и полностью во время их долгих прогулок.

Но сначала была свадьба, тихая и скромная, с необходимым набором ближайших родственников, «чтобы не обидеть». В единственной большой комнате буквой Т были составлены разномастные столы, собранные отовсюду, перепады высот смягчались лыжным склоном белоснежной скатерти. Оглушенный долгой и бессмысленной церемонией в Загсе, Паша отрешенно смотрел в большие окна, за которыми торжественно проплывали троллейбусные поводы, пока краем глаза не заметил фигуру, метнувшуюся к двери. Это была Ирка, простоявшая всю церемонию со смазанной улыбкой и букетом ирисов, но теперь убежавшая рыдать в свою комнату. Инна сидела, не шелохнувшись, в своем свадебном маскараде, ее царственная неподвижность была сродни египетской скульптуре и, как и этой скульптуре, нагота ей подошла бы гораздо больше, чем голый блеск белого шелкового платья. Мать Инны засемила в «рыдальную» комнату и через полчаса, когда накал шушуканья, подогретый вином и водкой, готов был разразиться громогласным скандалом, привела отретушированную Ирку. Остаток вечера Паша помнил плохо, запомнился почему-то лысоватый новоиспеченный шурин, который провозглашал мучительно длинные бессмысленные

тосты, а прощаясь, притянул его к своей влажной от пота рубашке и жарко шепнул: «Ну, ты и ловкач!». Интонация была то ли восхищенная, то ли осуждающая.

Ирка была сирота, и сколько себя помнила жила в семье тети, считая ее мамой, а Инну родной сестрой. После свадьбы новобрачные перебрались в Пашину коммунальную каморку на краю города, но зато близко к заводу, а Ирка осталась с родителями и осталась надолго, так что на ее долю выпала и тяжелая болезнь матери, и угасание тоскующего отца после смерти жены. Был в ее жизни и мутный эпизод с появлением некоего Эдика, было это на исходе последних возможностей «устроить жизнь», как говорят в таких случаях, но плешивый Эдик так сразу по-хозяйски расположился в квартире, несколько раз нагрубив сжавшимся родителям, что Ирка не без труда, но решительно вытурила эту последнюю возможность. Он не мог поверить такому легкомыслию, однажды явился с двумя арбузами в натянутых сетках, но Ирка без слов захлопнула перед ним дверь и запомнила удаляющуюся фигуру с тремя шарами — третьим был блестящий шар лысой головы. Так она и осталась одна, а после смерти родителей поменялась с Пашей и Инной, у которых к тому времени уже подрастала дочка, правда, Паше с доплатой удалось выменять для нее однокомнатную квартиру. Теперь квартира была продана, а Паша подходил к домику, обитому вагонкой и наскоро покрашенному в жидкий желтый цвет. На крыльце сидел кот и вылизывал лапу, он внимательно посмотрел на человека и на всякий случай сиганул в щель подполья.

Разговор долго полз по окраинам, не занимавшим ни Пашу, ни Ирину. «Да, здесь лучше, чем в городе, да и что мне там одной делать? Здесь я по хозяйству копошусь — глядишь, дня как не бывало». В конце концов, прикончив второй стакан чая, Паша тихо сказал: «Слушай, Ира, я все понимаю, но без тебя нам никак не справиться. Можно, конечно, поискать сиделку, но чужой человек — это чужой человек... С тобой ей будет лучше. И мне спокойней». «Ты что, рехнулся, на кого я все это оставляю? И потом... как ты себе это представляешь? Как мы будем жить?» «Так и будем. Пойми, мне надо работать, а вечерами я готов и посуду мыть, и готовить. А, Ира?» «Нет, ты окончательно рехнулся. Готов готовить... — скривилась она, что означало усмешку. — А я вот не готова сидеть с инвалидом». Паша безнадежно смотрел в мутное окно, за которым торчал столб с вислыми проводами и лихо заломленным абажуром разбитого фонаря. Появился кот, всё так же с опаской державшийся подалше от чужого мужчины, но считавший необходимым потереться о ноги хозяйки и тем самым заявить, что как хотите, но это его комната. Паша пошел на последний автобус и на пустой остановке, у бетонной стены с надписью «Вова — придурок» вдруг ощутил такой наплыв чуждости чужого и беспомощности своего, что захотелось, чтобы всё побыстрее кончилось.

А через два дня Ира позвонила в дверь, держа в руке плетеную корзинку с котом. И пошла жизнь. Конечно, Паше не пришлось ни готовить, ни мыть посуду. Очень быстро Ира разобралась с мычанием сестры, а главное с тем, когда на это мычание не стоит обращать внимание. Она впихивала еду в слабый перекошенный рот Инны, таскала на себе её обмякшее тело, заставляя хоть чуть-чуть перебирать ногами, не обращая внимания на сле-

зу, катившуюся из неподвижного глаза. Несколько дней спустя она ночью вошла в Пашину комнатку в длинной до пят белой ночной сорочке, похожей на саван, и легла к нему в кровать. Паша лежал, не двигаясь. «Привыкнешь», — подумала Ира. Паша привык, он был еще не старый.

Больная знать ничего не могла, но что-то чувствовала. Кормя ее, глядя в ее широко раскрытые, всегда увлажненные глаза с неизбывным вопросом в них, Ира не выдержала и почти торжествующе сказала: «Да, да! И перестань лить слёзы...». Она отбросила кастрюльку с кашей и подошла к окну. Осень сумела устроить из своего умирания, в отличие от человеческого, щемящую и надёжную красоту. Троллейбусы медленно огибали дом, сминая скрюченные листья, оставляя за собой широкую коричневую просеку октября. Негреющее солнце с усердием реставратора восполняло урон, нанесенный природе. За спиной раздалось мычание, из которого Ира сумела выловить только звуки «чу... жи...». «Чужие? — подхватила она, — это мы-то с тобой чужие? Да роднее нас с тобой теперь нет на свете». Она обернулась, Инна смотрела в сторону, из глаз привычно текли слезы. Она всего лишь хотела сказать: «не хочу жить».

Так оно и было. Все труднее Ире стало пробиваться ложкой в стиснутые губы сестры. Ни уговоры, ни ругань не помогали, Инна хирела на глазах. Паша, приходя с работы, заставлял почти осатаневшую вымотанную Иру и принимался за свою долю уговоров и кормлений. Инна смотрела в сторону и молчала, а когда все же взглядывала в упор, приходил черёд Паше отводить глаза. Внезапно вспыхнула высокая температура, которую сбить никак не удавалось, и в несколько дней всё было кончено. Простыня, покрывавшая высохшее тело, выпирала остротой углов, в провалах глазниц скопилась особенно густая тьма. В этой простыне ее и вынесли из дома, гроб было не развернуть на узкой лестнице.

После похорон, после нелепой суеты поминок, Паша и Ира долго сидели в разоренной опустевшей комнате. Кровать, на которой полгода лежала Инна, поражала бесстыдной голизной. Они старались не смотреть в ту сторону.

Через несколько дней, когда Паша ушел на работу, Ира прибрала в квартире, собрала вещи и засунула возмущённого кота в корзинку. Когда Паша пришёл с работы, он нашел на столе записку: «Я уехала к себе». «К себе» было подчёркнуто.



Евгений МЯКИШЕВ

/ Санкт-Петербург /

* * *

В Петербурге сникает жара,
Сокращается солнечный свет:
30 градусов было вчера,
а сегодня семнадцать — привет.
Вот пройдёт месячишко-другой
И развернутся хляби небес,
А ещё через пару — пургой
Станет весь этот летний шартрез.
Так и нам — было жарко вчера,
А сегодня — тепло, но не жжёт.
Не в облом завершилась жара —
Бабье — нежное — лето грядёт.

.....

Пусть по первому льду сложен путь,
Но до стужи и полной пурги
Мы с тобой добредём как-нибудь,
Нарезая по жизни круги.

НАСТОЙКА ЛЮБВИ

Е. В.

Настал сегодня день шестой — я не отправился в загул,
Любви целительный настой помог свернуть мне в переул,
В котором — в домике, одна — сидела женщина в ночи,
Зияла полная луна, стояли две, нет, три свечи
На склизкой плоскости стола. И в той волшебной полутьме
Сидела женщина. Скала доступнее казалась мне,
Чем плеч, желанных мной, изгиб, овал бедра, излом руки.
И я сказал: «Сидишь, как гриб, средь паутины и трухи,
Грибница бледных квёлых чувств едва пульсирует, струясь!
Я в суть твою проникнуть тщушь!» Она ответила мне: «Князь

Сырого Вяжущего Сна — заколдовал меня навек,
И потому я холодна, но ты — свободный человек!
Ступай за тридевять земель — там, меж еланей, есть утёс;
Под елью лаз... вокруг щавель, кислица, горечь тубероз,
Попона мха... проникни в лаз и Князя Вяжущего Сна
Поганкой бледной тукни в глаз, но берегись — его слюна,
Коснувшись брызгами телес — тебя в гнилуху обратит!
Он защекочет, сглазит, съест... и лишь того не победит,
Кто беден златом, но богат Сознанием Длинного Меча,
Кто ветру — свет и Солнцу — сват...» Тут я подумал, что врача
Смешного нужно пригласить, а вслух промолвил: «Встань, сестра,
Я смог поганца загасить поганкой бледною вчера!
Исчезни, плесень, сгинь, труха, развейся, смрад-дурман травы,
Очистись, комната, от мха и станьте прямы, кто кривы!»
Привстала женщина, в мои объятья пала, словно сноп,
К моим губам прильнула, и... по телу побежал озноб!

* * *

Мы знакомы с тобой много дней, но немного часов —
Ты похожа на сон — сон, в котором пылает пожар;
Ты похожа на дом — дом, который закрыт на засов,
И на суку, чей вид, несмотря на всю прелесть, поджар.
Осторожной рукой я беру тебя нежно за грудь,
Я пытаюсь познать твою суть, твою сущность — тебя.
И я вижу, что ты тяжела и опасна, как ртуть,
Что ты катишься вниз, свою жизнь безвозвратно губя.
Нам осталось всего — ничего в петербургской зиме,
В темном мареве, где гололедица цепко царит —
Я пока ещё жив и ещё пока в здравом уме,
Только мордой лица — словно хрен волосатый — небрит.
Посмотри же внимательно вглубь занесённых дворов,
Чтоб увидеть следы на снегу, уводящие нас,
Шаг за шагом в пространство иных занесённых миров,
Где мираж нашей жизни погаснет... точнее — погас.

КОЛДУН

Пастухи и пастушки на фоне тяжёлого стада
Занимаются тем, что играют по кругу в крокет.
Мимо мельник идет не спеша, вопрошая: «До ста, да,
Счёт ведёте в игре?.. Бог вам в помощь, хотя его нет!»

Молодая пастушка с лицом удивительно длинным —
И созвучным природе, поскольку природа длинна,
Отвечает ему: «Нас застал за занятием невинным —
Сам же ересь несешь, знать, попутал тебя сатана!»

Ухмыляется мельник, скрываясь за ельником ближним,
Бьёт по кочкам клюкой и бормочет проклятья под нос:
«Эх, живу я, как пёс, и не верю во встречу с Всевышним —
Всё мне мерзко вокруг... лучше б в землю по пояс я врос;

Стал бы деревом хвойным, а лучше уж камнем замшелым,
Не губил бы пшеницу, её превращая в муку!
Вот, к примеру, сии пастухи занимаются делом
Безобидным и глупым...» — тут мельник ломает клюку

О неясную кочку — случайно и, тотчас замолкнув,
Погружается в землю — точнее, в болото — по грудь,
А поскольку он порист, как губка, мгновенно намокнув,
Исчезает в трясине. Так в чем же тут, собственно, суть?

Не ищи её здесь, многомудрый пытливый читатель,
Эта сказка — лишь бред воспалённого мозга — ужель
Интересна она? — Нет, конечно, и видит Создатель,
Я лишь время терял, заполняя во времени щель.

* * *

Ты часом там не утонула
В морской пучине с бодуна?
Ну, там — бухнула, подмахнула,
Нырнула и — привет — хана!
И вот теперь, едома рыбкой,
Лежишь себе одна на дне
С невинной фирменной улыбкой
И не торопишься ко мне!

Михаил ОКУНЬ

/ Санкт-Петербург /



ЗОЛОТАЯ ПОЛОСКА

...Из-за дальних холмов по всему горизонту, от края до края, наплывала лиловая тьма. Она упаковала во мрак октябрьские красно-желтые деревья на противоположном берегу пруда, кустарник, белые коттеджи.

Наконец, гигантская туча закрыла солнце. Небо теперь являло собой странную двойственную картину: сжимающаяся, подобно шагреновой коже, прозрачная голубизна и агрессивная, прущая, всеохватная тьма. А разделяла их яркая золотая полоска, результат последних усилий солнца.

И тут я понял, что не нужны мне ни безмятежная голубизна, ни фиолетовый мрак. А нужна лишь эта недолговечная полоска, уже бледная, исчезающая. Я увидел то, что хотел, — этого достаточно. И пусть земля вновь станет безвидна и пуста...

* * *

Частью поэзии русской,
ее парадигмой, так сказать, себя не ощущаю.
Диапазон у меня слишком узкий,
не ту нефть не оттуда качаю.

Однажды сказал мне издатель Комаров:
играете, Миша, как на балалайке —
три струны всего и освоили...
А издатель этот не наломает дров,
не ляпнет лишнего ради литературной байки.

Нечего делать. Надо дальше жить как-то.
Подрастает сынок Лёша.
Черт с ней, с парадигмой! —
ощетиниться, как последний кактус,
печататься только там, где гонорар хороший.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Тень слепая мается
в уголке.
Висельник болтается
на шнурке

час...
Шустрить поэтому
смысла нет.
Он дружил с поэтами,
сам поэт.

Эта планиметрия
испугает нас ли? —
ведь уже заветрена
сайра в масле...

* * *

Горизонтально снег идет
И чайки бреющий полет...
Но лишь глаза прикрою —
Роятся — рой за роем —
Воспоминания... Тогда
Текла хрустальная вода
И солнце, вперив желтый взгляд,
Всё длило свой гипноз — подряд
Один, другой и третий час.
И вижу я в который раз
Ту загорелую фигурку
На сером камне у реки —
Судьбе и снегу вопреки...

* * *

Светофор. Мигание желтого. Черный лёд.
Ни к чему не приводит жизни ход.

Ничего не будет. Не может быть.
Вот она, суть: жуть — жить.

Не жди. Не надейся. В окно не смотри.
В анабиоз! Не дыши. Замри.

* * *

Брожу декабрьским парком,
Пар изо рта пускаю,
Сам себе удивляюсь:
«Всё еще дышишь?..»

* * *

«...Помните, в шестидесятом, Ботвинник — Таль?»

«...А вы совсем не меняетесь!..»

«...Внук подался на какой-то литературный фестиваль,
я посмеиваюсь: графоманы всех стран, соединяйтесь!»

Доматывают век в чужой стране.

Подолгу не встречаются (чего ради?).

Впрочем, изредка, — о своей и чужой родне,
о том, о сём... О Киеве, Ленинграде...

ЛЕНИН В РАЗЛИВЕ

Туманом озеро укрыто...

Надвинув на уши картуз,
Он плоскодонному корыту
Вверяет драгоценный груз.

Туман слоится, но не тает.

Уключин скрип... А между тем

Лодчонка мерно исчезает.
Но, мать ети, не насовсем!

* * *

Будущее прихотливо,
Но в него я не пойду —
Все глумливы и потливы,
И едят одну еду.

ИЗ «ШВАБСКИХ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ»

*

Проснёшься — снег, и ель как на параде,
И, преодолевая сонный бред,
Осмыслишь: ты давно не в Ленинграде,
И возвращения в тот город нет.

*

В тумане озеро из золингенской стали,
Кривые улочки, сплетённые в канву...
Хотя своими те красоты и не стали,
Но и чужими их не назову.

*

В окрестностях дорожек столько,
Что хватит на остаток дней.
И небо с яблочную дольку,
А цветом — зеленой.

ГРАНИЛЬЩИК

Чтоб не пошла судьба на слом,
я занимаюсь ремеслом.

Беру зелёный жадеит
и придаю товарный вид.

И синий лазурит беру,
чтоб засветился поутру.

И только алый родонит
свой мрак таинственный хранит.

ГОРНЫЙ ЛЕС

Спящие стоя стволы —
лица в потёках смолы.

В трещинах скальных пород
цвергов таится народ.

Старой поэзии мёд
позолотил небосвод.

Здесь и должна отгореть
жизни последняя треть.

* * *

Расстояния, конечно, разделяют...
И страна совсем другая, ну да бог с ней.
А жизнь мельчает, мельчает, дно выявляя, —
отсюда, со швабской горы, видней.

Злобствуем, себя калечим...
Но не так уж мы друг от друга далеки,
хоть и перекликнуться нам больше нечем,
кроме «Бриллиантовой руки».

Алла ДУБРОВСКАЯ

/ Нью-Йорк — Санкт-Петербург /



ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА¹

Наконец, директриса решилась позвонить в офис сенатора и договориться о встрече.

— Так приезжайте, — ответил ей Роберт, — он сейчас очень занят, но для вас у него найдется минутка. Кстати, Лиза Эванс заинтересовалась вашим заведением. Она тоже хочет как-нибудь заскочить вас проведать.

«Это еще зачем?» — подумала директриса.

День оказался занятым и для нее. Вновь прибывшая старушка Вивьен Найгель никак не могла прижиться в заведении. Она в беспокойстве металась по коридору, приговаривая: «Господи, как я одинока, Господи, как я одинока». Никакие уговоры и попытки отвлечь Вивьен от горьких мыслей не увенчались успехом, а только привели к осложнению. Старушка вырвалась во двор и завопила: «Помогите, люди! Я так одинока!» Пришлось звонить в скорую помощь и отправлять ее в госпиталь. Директриса опасалась, что крики Вивьен вызовут чувство беспокойства у других обитателей. Не понравилось ей и то, что некоторые из старичков отнеслись к Вивьен с враждебным раздражением. Они совсем не сочувствовали этой несчастной, а обзывали ее и передразнивали. Не успела уехать скорая, как директрису подозвала одна из уборщиц. Кажется, в заведении завелись клопы вдобавок к полчищам тараканов.

«Только этого мне не хватало», — подумала директриса, — с отвращением рассматривая мертвое насекомое на ладони уборщицы. Не обрадовался этой новости и Аззи. Было решено делать срочную дезинфекцию.

— Теперь-то мы точно тут все передохнем, — обреченно заметила повариха Пэт.

Посматривая на часы, директриса пошла в сторону своего кабинета, все еще надеясь успеть повидать сенатора. В дверях ее кабинета стоял абсолютно голый девяностолетний Джим Бретт.

— Тебе, наверное, очень жарко, да? Кто же помог тебе раздеться? — только и смогла печально осведомиться она. Джим попробовал что-то ответить, глаза его закатились и он повалился на пол. Приехавшая второй раз за день скорая помощь увезла Джима в тот же госпиталь что и Вивьен. Визит к сенатору пришлось отложить.

¹ Продолжение. Начало «Крещатик» №61.

Мрачные предсказания Пэт не сбылись. Борьба с клопами и всякими прочими насекомыми не привела к человеческим жертвам, а лишь добавила хлопот персоналу заведения. Не оправдались и дурные предчувствия директрисы. Лиза Эванс оказалась женщиной очень приятной, совершенно не похожей на жен политиков, стоящих рядом, и в тоже время как бы немного позади своих мужей. Они все казались директрисе на одно лицо, с одинаковыми улыбками, прическами и маникюром.

Лиза обошла барак и перезнакомилась со всеми его обитателями, кошка Маффин снова оказалась в центре внимания. Роуз вышла на этот раз из своего укрытия и повела Лизу Эванс к клумбе, возле которой в последний раз задумалась Пенни Рив. Клумба не особенно понравилась Лизе. Она обещала развести настоящий цветник вокруг мрачного заведения. А вот к никогда не унывающей Пэт сенаторша сразу почувствовала симпатию. Они довольно странно смотрелись рядом: полненькая Пэт, готовая, как резиновый мячик, подскочить от легкого шлепка и кинуться в любую сторону, перебирая коротковатыми ножками, обутыми в неизменные белые кроссовки, и ухоженная сужающаяся Лиза на шпильках и с безупречной укладкой коротких с проседью волос. Такой же безукоризненной была и её улыбка, в то время как у Пэт отчетливо виднелся пробел сбоку в неровном заборчике её зубов. Поговорив об особенностях скудного рациона и незатейливости диеты большинства обитателей заведения, они перешли к невыносимым условиям, в которых работала Пэт и две ее помощницы. Обычно девушки сбегали после двух-трех недель, не выдержав дикой жары на кухне. Их работу можно было сравнить с усилиями сталеваров возле раскаленных доменных печей. Пэт продержалась на этой кухне двенадцать лет. Лиза искренне удивилась такой стойкости.

— А и сама не знаю — как, — сказала Пэт, стянув мокрое полотенце с головы и тряхнув прилипшими ко лбу золотистыми кудряшками. — Привыкла.

— Пошли-ка отсюда, — она решительно подхватила Лизу под руку, — а то еще упадете, чего доброго, в обморок. Сенаторша и вправду испытывала легкую дурноту и непреодолимое желание как можно скорее выбраться не только из кухни, но и из барака. Пэт провела ее в медицинский кабинет, один из немногих в бараке, где работал кондиционер.

— Знаете, а ведь я еще подрабатываю здесь ночами. Два раза в неделю. Так, немного. Убираю кабинеты директрисы и вот этот. Здесь у нас принимает доктор.

И вдруг хихикнула, заметив сострадание в глазах Лизы.

— Ой, что скажу. Видите это кресло? — она указала на стоящее в кабинете гинекологическое кресло. — Вот когда у меня ночью выдаются свободные два часа, я забираюсь в это кресло немного вздремнуть. Нет, вы представляете себе эту картину? — и Пэт заразительно расхохоталась. — Взбираюсь, а сама молюсь: «Господи, не дай мне ебн*ться отсюда, а то самой мне уже будет не подняться и все узнают, что я сплю в гинекологическом кресле», — и, похоже, Господь пока слышит мои молитвы.

— Это потому, что ты такая славная, — сказала сенаторша и обняла Пэт.

Было решено, что Лиза Эванс приедет в заведение 4 июля и устроит всем обитателям настоящий праздник.

Наконец, в бараке выдался более или менее спокойный день, и после ужина директриса отправилась к сенатору в офис. Хотя ее «форд» весь день простоял в тени, в машине было ужасающе душно. Привычным движением

заведя мотор и включив кондиционер, Джуди вдруг заволновалась. Чего же ей хочется больше, повидать сенатора или узнать подробности истории Ромео? «Ладно, раздумывать некогда», — она решительно выехала за ворота богадельни.

В офисе сенатора было шумно и многолюдно. Здесь была в основном молодежь, хотя за компьютерами сидели и довольно пожилые люди. Интересно, о чем они говорят? Она придвинулась к двум оживленно беседующим дамам, делая вид, что рассматривает какие-то подвернувшиеся под руку журналы. Речь шла о диете, снижающей уровень холестерина в крови.

— Господи, везде одно и то же, — подумала Джуди. — Настоящая война идет здесь, а не в Ираке, и у этой войны все больше и больше солдат, желающих биться до последней капли крови за продление своей жизни. Сколько же врагов у этой армии: холестерин, сахар, соль, лишний вес...

Джуди почувствовала себя толстой и несчастной. Она отвернулась от дам и увидела сенатора, стоящего среди молодых людей, с каким-то почти-тельным восхищением ловящих каждое его слово.

«Наверное, я выгляжу со стороны, как эти дети. И чем же он меня так очаровал?» — думала она, разглядывая невысокую, но довольно хорошо сложенную фигуру сенатора, выдающую в нем спортсмена. Он был одет в джинсы и простую рубашку синего цвета, так шедшую к его голубым глазам, и совсем не походил на фотографию Джона Эванса с официального сайта Сената США, которую Джуди иногда рассматривала на компьютере.

Ей вдруг захотелось стать невидимой и поскорее сбегать с этого места. Но отступить было поздно. Обернувшись на чей-то голос, сенатор её увидел и улыбнувшись той самой улыбкой, которую она уже так любила, крикнул:

— Джуди, здравствуйте! Ну что же вы там стоите, идите сюда. Познакомьтесь с моими друзьями и будущими коллегами. Большинство ребят учится на адвокатов.

Увидев дружелюбные лица и улыбки, Джуди забыла свои горести и с удовольствием поддалась обаянию этого человека.

— Как вы там выживаете, в своём бараке? — продолжал расспрашивать Эванс, — что-нибудь изменилось к лучшему или Аззи тянет время?

— Нет, у нас таки начался ремонт, но кондиционеров, похоже, нам ждать еще долго. Знаете, сенатор, мне всё не даёт покоя ваша встреча с Алексом Флинтом. Я и приехала разузнать некоторые подробности этого дела, если у вас, конечно, есть на это время, — сказала Джуди.

И пока она говорила эту заготовленную заранее фразу, успела подумывать, что вот сейчас он извинится и сошлётся на то, что времени-то у него как раз и нет. И после этого ей ничего не останется, как откланяться и уехать, и уж больше она никогда не решится сюда вернуться.

Но все её страхи пропали, когда она услышала:

— Конечно. Знаете, Джуди, за двадцать лет адвокатской практики через мои руки прошли сотни дел, но дело Флинта я помню отлично, а после встречи с ним у вас в заведении припомнил даже множество деталей. — Пойдите-ка, — он вдруг обернулся к своему окружению. — А не устроить ли мне для вас мастер-класс? Вы давно меня просили об этом, да всё как-то удобный момент не подворачивался.

— Хотим мастер-класс! — крикнуло несколько голосов. Кто-то захлопал в ладоши. Молодой человек, стоящий возле Джуди, пронзительно свистнул. Сенатор жестом попросил всех желающих рассаживаться вокруг него. Те, кому не хватило стульев, уселись прямо на пол.

— Поднимите руку, кто ни разу в своей жизни не пересекся каким-то образом с госпиталем Святого Иосифа? — начал он. — Так я и знал — таких нет. И это неудивительно.

Не удивило это и Джуди. Огромное здание, построенное из красного кирпича ещё в шестидесятые годы, обросло многочисленными корпусами, и напоминало средневековый замок, виднеющийся с хайвэя задог до въезда в город. Госпиталь давал работу двум тысячам человек, и она сама сразу после окончания колледжа начинала здесь медсестрой в психиатрическом отделении, пока её ни заметил Аззи и не переманил в барак, учуяв её готовность беззаветно служить бедным и больным людям.

— «Святой Иосиф» так или иначе связан со всеми жителями нашего округа, — продолжал Эванс, рассказывая перед аудиторией и уже входя в роль адвоката. Кто-то из вас там родился и получил свои первые прививки от кори, кто-то лечился или лечится до сих пор, жизни чьих-то родственников или знакомых пытались там спасти и спасали, или проигрывали эту битву в обреченных случаях. Словом, у госпиталя прекрасная репутация, а хорошая репутация — вещь чрезвычайно важная. Поэтому-то Александру Флинту, о котором мы будем много и подробно говорить сегодня по просьбе мисс Маккин, три года не могли найти адвоката, чтобы начать судебное дело против госпиталя Святого Иосифа. Но в один прекрасный день сенатор штата Скотт Саймон набрал номер молодого и только начинающего свою практику адвоката Джона Эванса, вашего покорного слуги, и попросил его познакомиться с этим делом в надежде, что тот за него возьмется. И вот, друзья мои, вам первый вопрос: «Почему сенатор Скотт Саймон выбирает молодого и, судя по всему, неопытного адвоката для, скорее всего, проигрышного дела?»

— Потому, что молодой адвокат не рискнет отказать сенатору, — быстро предположил кто-то.

— Хорошего же вы обо мне мнения, — парировал Эванс. — Если бы я понял, что дело безнадежное, я бы никогда за него не взялся и отказал бы самому президенту. Скорее всего, тут было что-то другое.

Эванс всё больше входил в роль — эта игра ему явно доставляла удовольствие.

— А может быть, из-за гонорара? — продолжил гадать кто-то. — Молодому адвокату не столько важны деньги, сколько известность, чтобы раскрутить свою практику. Солидные фирмы бьются за большие гонорары.

— Вполне может быть, что сенатор на это тоже рассчитывал, — кивнул Эванс. — Хотя, как вы потом узнаете, дело обернулось совсем по-другому. Выиграв этот процесс, я получил свой первый большой гонорар. — Эванс наконец увидел девушку, тянущую руку для ответа. — Да, мисс. Вы что-то хотели сказать по этому поводу?

Мисс зарделась и сказала:

— Скорее всего, молодой адвокат был еще и новичком в нашем округе. Иначе он никогда бы не рискнул связаться со «Святым Иосифом». Вы сами говорили о высокой репутации госпиталя. И правда, мы все здесь так или иначе с ним связаны. Его врачи пользуются у нас беспрекословным авторитетом.

— Точно! — Я, как и вы, мисс... Простите, как ваше имя?

— Эмми, — скромно сказала та.

— Я, как и Эмми, думаю, что сенатор просто прикинул, что ему нужен молодой начинающий олух, плохо знающий и местных людей, и могущество цитадели под названием «Госпиталь Святого Иосифа». Только такой адвокат мог рискнуть схлестнуться с командой его защитников, не думая о последствиях для своей карьеры.

— Ну, а что же потерпевший? — не удержалась Джуди. — Расскажите же, наконец, об Алексе Флинте. Каким он был в то время?

— В то время, двадцать лет назад, мисс Маккин, состояние Алекса Флинта вызывало сострадание. А теперь, следующий вопрос для участников моего класса. У вас на столе дело неизвестного вам человека. Допустим, имя потерпевшего Александр Флинт. Вы никогда не встречались с ним. С чего вы начнете такое дело?

Ответ был получен сразу же. Все согласились, что начинать надо с истории жизни мистера Флинта еще до того, как он превратился в субъекта права, и, чем разительней будет контраст, тем убедительней будет трагедия потерпевшего.

— Именно этим я и занялся, — продолжил Эванс. — И потрудиться мне пришлось изрядно. Чтобы узнать человека, недостаточно переговорить, скажем, с его женой, даже, если она и бывшая, а у Алекса было две бывших жены. Правда, я нашел всего одну. Но вот друзей у него оказалось много, а это значило, что он человек общительный, правда, мисс Маккин?

Джуди кивнула, и, вспомнив своеобразный метод Ромео обращать на себя внимание, улыбнулась.

— Он еще и большой поклонник прекрасного пола, — сказала она.

— Точно, об этом говорили все. И неудивительно. Он был настоящим красавцем — высокий, широкоплечий, с белозубой улыбкой. Зеленые глаза — и копна непокорных черных волос. Таким, во всяком случае, я видел его на фотографии.

— Ну, и как этот наш красавец зарабатывал себе на жизнь? — спросил кто-то из молодых людей, сидящих на полу.

— Наш красавец был продавцом. Я уже сейчас не помню, что он продавал, всё-таки прошло двадцать лет, но я помню прекрасно, что он не стоял за прилавком, а колесил по штату на своем фургоне, и его торговля шла очень успешно. Настолько успешно, что он с боссом, а вот это уже важная подробность, ездил во Флориду на выходные дни поиграть в гольф.

Итак, мы уже знаем о нашем клиенте, что он был прекрасным гольфистом, был в очень дружественных отношениях с семьей своего босса и, пользовался большой популярностью у дам. Возможно, это обстоятельство и послужило причиной первого развода. Его первая жена не фигурировала в деле, зато вторую я нашел. Она-то мне и рассказала, что у нашего клиента начались проблемы с алкоголем. Ему удавалось скрывать это от босса, но второй брак распался именно из-за его пьянства. И уже после второго развода Александр Флинт безудержно скатился в серьезную стадию алкоголизма. Интересная подробность, никто из друзей никогда не видел его пьющим, но квартира Алекса была забита пустыми бутылками из-под водки и дешевого виски, да и сам вид нашего бывшего красавца стал выдавать в нем алкогольика со стажем.

Так прошло несколько лет. И вот однажды, обеспокоенный исчезновением Алекса, босс заехал его проведать и узнать, в чем дело. Он застал своего подчиненного, друга и партнера по гольфу в ужасающем состоянии, называемом в народе «запоём». Надо сказать, Алекс осознавал, что он алкоголик, и хотел-таки избавиться от своей пагубной зависимости. Вот почему двадцать лет назад он вошел в двери госпиталя Святого Иосифа в сопровождении своего босса.

Когда я увидел Алекса в первый раз, он сидел в инвалидном кресле в своей однокомнатной, почти пустой квартире, пропахшей мочой и грязным человеческим телом, заваленной окурками, клочками каких-то бумаг, грязной посудой, намотанным на шею, он пытался подтирать слюни, беспрерывно текущие из его полуоткрытого рта, но не успевал, и его и без того грязная футболка была мокрой на груди. Слава Богу, в комнате не было ни одного зеркала.

И дело было не в том, что в пятьдесят один год его еще недавно черные волосы поредели и поседели, а когда-то широкие плечи ссутулились. Он не мог ходить. Пока мы говорили, я рассматривал его заросшее седой щетиной лицо, желтые длинные ногти на руках, опухшие ноги. Загаженная комната — всё, что осталось ему в этой жизни, и здесь он был оставлен гнить до смерти. Полотенцем, намотанным на шею, он пытался подтирать слюни, беспрерывно текущие из его полуоткрытого рта, но не успевал, и его и без того грязная футболка была мокрой на груди. Слава Богу, в комнате не было ни одного зеркала.

Несколько преданных друзей навещали его, оплачивали счета, приносили еду, а главное — мороженое, которое он мог поедать килограммами, бросая пустые обёртки прямо на пол. Раз в неделю приезжала медсестра. Она мыла мистера Флинта и подбирала мусор в комнате.

Наша первая встреча была короткой, честно скажу, я не мог долго оставаться в этой ужасающей комнате, но я хорошо помню, как выйдя за порог и закрыв за собой дверь, подумал: «Господи, дай мне силы вытащить его из этой ямы».

На следующий день я перезвонил сенатору Саймону и сказал, что беру за «Дело Александра Флинта против госпиталя Святого Иосифа».

Эванс замолчал, обвёл глазами всех присутствующих и, выдержав эффектную паузу, продолжил:

— Сказать-то я сказал, но ни малейшего опыта в таких делах у меня не было. Итак, друзья мои, как бы вы приступили к этому делу?

Ему ответил хор голосов.

— Подождите, подождите. Давайте по одному, — восстановил порядок Эванс. — Начните вы, — он ткнул пальцем в сторону молодого человека, сидящего ближе всего к нему. Молодой человек, одетый в линялую футболку и клетчатые шорты, подскочил со своего стула:

— Так это же элементарно, — довольно самоуверенно заявил он. — В деле должны быть убедительные доказательства того, что медицинская ошибка работника или работников госпиталя Святого Иосифа послужила причиной ухудшения здоровья пациента.

— Согласен, — кивнул Эванс, — но одного этого условия будет недостаточно для того, чтобы судья начал процесс. Нам нужны еще, по крайней мере, два. Кто знает? Смелее... Это же основополагающие положения Медицинского права.

Молодой человек в линялой футболке, назвавшийся Кристофером Броном, сел на свой стул и повернулся к Джуди.

— Вот мисс Маккин наверняка знает Медицинское право.

И странное дело, эта фраза совсем не смутила Джуди. Ей даже очень захотелось, чтобы на неё обратили внимание, потому что она и в самом деле знала ответ.

— Ну же, Джуди, что еще должно присутствовать в нашем деле? Подскажите нам, а то мы так никогда и не узнаем, что сделали в госпитале с нашим потерпевшим. У меня совсем немного времени осталось на этот класс. А впереди еще весь процесс. — Сенатор в нетерпении посмотрел на часы.

— Всё совсем несложно, — начала Джуди со своего места. — В деле должно быть подтверждение того, что госпиталь принял мистера Флинта на лечение, и тем самым обязался его лечить.

— Точно, — подхватил Эванс. — Обратите внимание на это слово: «о б я з а л с я». Оно для нас ключевое. — Эванс сделал решительный жест рукой, подчеркивая значительность того, что говорил. — Адвокату истца нужно, прежде всего, доказать невыполнение госпиталем своих обязательств. Но есть и второе условие: больной, согласившийся на лечение, в свою очередь, должен выполнять предписания врача. Это договор, понимаете меня? Так что адвокатам ответчика в суде придется доказывать, что договор был нарушен больным.

— Ну, а как быть, если в ходе лечения выяснится, что больной, скажем, неизлечимо болен и госпиталь не может выполнить свои обязательства? — поинтересовался кто-то.

— В этом случае госпиталю достаточно доказать факт неизлечимости болезни, и дело против него не будет возбуждено. Но это, слава Богу, не наш случай.

Незаметно в офисе воцарилась тишина, умолкли даже звонившие без конца до этого телефоны. К молодёжи присоединились дамы, покинувшие свои места возле компьютеров.

— Итак, Александр Флинт принят в госпиталь Святого Иосифа для лечения от алкоголизма. Через несколько дней после его поступления, доктор Радли предлагает ему довольно распространённое и эффективное лечение антабусом, препаратом, вызывающим у пациентов рефлекс отвращения к алкоголю.

Алекс соглашается на такое лечение, и доктор прописывает ему максимально допустимую дозу антабуса. Но доктор Радли оказался врачом продвинутым. Он посещает всевозможные семинары, где обсуждаются результаты агрессивной методики лечения антабусом и решает применить эту новую методику на нашем Алексее Флинте. Сначала ему дают двойную максимальную дозу, а через день — тройную. Тревожные симптомы появляются через две недели: головная боль, слабость, высокое кровяное давление. Но лекарство отменяется только тогда, когда дежурная медсестра находит больного лежащим в постели без сознания. Александр Флинт впадает в кому. Очнется он через два месяца уже инвалидом с неизлечимой травмой головного мозга. Итак, мы приближаемся к процессу, — Эванс внимательно оглядел собравшихся вокруг него людей. — Кто согласен представлять интересы ответчика?

В комнате стало шумно. Игра предстояла быть интересной, и участвовать в ней захотели многие.

Эванс отобрал несколько человек в «группу ответчика», среди которых лидировал Кристофер Брон. Затем нашлись и желающие представлять интересы «истца».

— Ну что ж, пока наши господа адвокаты продумывают стратегии защиты и обвинения, я продолжу. Поговорим теперь о роли судьи на процессе. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу? — Заметив какое-то движение в стороне, где стояли пожилые дамы, он повернулся к ним. — Вы что-то хотели сказать, миссис Паркер?

— Иногда мне кажется, что судебный процесс напоминает оперу, роли в которой строго распределены, и где судья — главный дирижер, — внесла свои два цента миссис Паркер, польщённая вниманием сенатора.

— А адвокат в этой опере лирический тенор, — подхватил кто-то под сдвинувшийся смех молодёжи.

— А, что, мне нравится ваше сравнение, миссис Паркер, — улыбнулся сенатор, — но здесь кое-что нуждается в уточнении. Дирижер, насколько я знаю, свободен в интерпретации партитуры, написанной композитором, основная же обязанность судьи — следить за точным соблюдением закона на его процессе, и здесь уже никакие интерпретации не допустимы. У закона нет вариантов и не может быть разночтений. Зато личность самого судьи чрезвычайно важна. На наше дело был назначен судья Дюпри, довольно замечательный господин, скажу я вам. Высокий, сухощавый с седой шевелюрой. Настоящий южный аристократ. Мне довелось повстречаться с судьёй Дюпри еще в свою бытность студентом, когда я обратился в его офис в надежде найти работу на лето. Меня по телефону позвали к нему на собеседование и попросили захватить с собой теннисную ракетку. Для начала судья задал мне какие-то довольно незначительные вопросы, а потом мы сыграли в теннис. Убейте меня, не помню, кто из нас выиграл, но на работу в свой офис судья Дюпри меня не взял. Когда мы встретились в зале заседаний, он и виду не подал, что знаком со мной, а может, и вправду забыл, как однажды сыграл со мной партию в теннис. Стиль судьи Дюпри отличался вежливостью и сухостью. Конечно же, он прекрасно понимал всю сложность процесса против известного госпиталя. И знаете, друзья мои, я благодарен ему, прежде всего, за беспристрастность и умение работать не только с присяжными, но и с начинающими адвокатами.

Эванс явно наслаждался вниманием аудитории, живо реагирующей на каждое его слово. Здесь не обращали внимания на некоторый пафос его фраз, довольно известные демагогические приёмы в рассуждениях, многозначительные паузы. Он был среди своих и чувствовал себя раскованно и уверенно. Но странное дело, он почему-то ни словом не обмолвился о Лизе, которая помогала ему в этом процессе больше, чем кто-либо. И кто знает, может быть, именно благодаря ей он и выиграл.

— А не выбрать ли судью для нашего процесса, — предложила одна из слушательниц.

Сразу несколько желающих объявилось и на эту роль. Победу одержал молодой человек невысокого роста и довольно плотного телосложения, назвавшийся Роберто Гонзалесом.

— Судья должен быть респектабельным, да? — спокойно спросил Роберто — Посмотрите, я здесь один одет в белую рубашку с галстуком.

Этот довод показался самым убедительным. Судье Гонзалесу подали стул и придвинули письменный стол.

— А где же судейский молоточек? — важно осведомился судья.

— Ой, — вскрикнула одна из немолодых дам, — мы тут недавно прибили портрет сенатора при входе. А настоящий молоток вам не подойдет?

— Давайте, — согласился судья Гонзалес. — А мантии у вас не найдется?

— Не будем увлекаться внешними эффектами, судья. Мы сюда пришли не гвозди забивать, — остановил его Эванс. — Лучше скажите нам, какова ваша роль на процессе?

— О'кей, я обойдусь без внешних эффектов, — ответил слегка разочарованный Роберто. Было видно, что ему уж очень хотелось выглядеть повнушительней. — Я думаю, мне надо переговорить с обеими сторонами еще до начала судебного процесса.

— Приступайте, — кивнул сенатор.

И тот, совершенно не смутившись, начал:

— Я ознакомился с материалами дела «Александр Флинт против госпиталя Святого Иосифа» и считаю, что его можно решить до начала процесса, если истец и ответчик придут к обоюдному согласию. Что нам скажет представитель госпиталя? — Судья Гонзалес повернулся в сторону Кристофера Брона и решительным жестом подозвал его к столу, за которым сидел.

— Ваша честь, мы готовы пойти на компромисс и предлагаем пострадавшему возмещение убытков в размере ста тысяч долларов, — сказал Брон и вопросительно посмотрел на Эванса.

— Неплохо, — отозвался тот, — а почему вы решили идти на досудебную сделку? У вас нет уверенности в том, что вы выиграете дело?

— Ну, как сказать, сенатор, Флинт всё-таки стал инвалидом, правда, мы не можем согласиться с тем, что по вине госпиталя. Зачем нам начинать тяжбу, если мы можем решить дело полюбовно и закрыть его до начала процесса. — Кристофер важно раскланялся и плюхнулся на подставленный ему стул.

— А я представляю интересы потерпевшего Александра Флинта, — направила к столу судьи девушка, запомнившаяся сенатору.

— Меня зовут Эмми Лоуренс. И сумма сто тысяч нас совершенно не устраивает, ваша честь.

— А сколько же вы хотите? — важно осведомился судья. Эмми протянула ему листок бумаги, взглянув на который, судья присвистнул. — Вы что, хотите выбить из госпиталя компенсацию в пять миллионов долларов, защищая алкоголика? Да где вы найдете в нашем штате присяжных, которые вам такое присудят?

— Я попрошу вас остановиться на этом чрезвычайно важном моменте, — резко прервал его сенатор. Он снова выдвинулся вперед. Эмми незаметно отступила в сторону. — Судья Гонзалес подвёл нас, пожалуй, к самой главной части нашего мастер-класса. Настало время поговорить о коллегии присяжных. Так вот, дорогие мои друзья, начинающему адвокату очень важно помнить простую, казалось бы, истину: присяжные — это обыкновенные люди. Это мы с вами. Это служащие в компаниях и банках, фабричные рабочие, учителя, продавцы, наши соседи. Это люди, с которыми мы выросли, ходили в одну школу. У нас много общего, но в то же время, каждый из коллегии

присяжных приходит в зал суда со своим собственным жизненным опытом и со своими собственными проблемами и взглядами. Как правило, в коллегии выбираются люди, не знающие юриспруденцию, и тут, конечно, задача судьи объяснить им суть закона, под который попадает обвиняемый. И каждый судья, обращаясь к присяжным, говорит о том, что в своем вердикте они должны опираться, прежде всего, на здравый смысл. И перед вынесением вердикта каждый из них должен спросить себя, остались ли у него сомнения в доказательности предъявленных обвинений. Потому что вина не считается доказанной до тех пор, пока у кого-то из них существует такое сомнение. Я уверен, что тот из вас, кому довелось быть присяжным, знаком с этими основополагающими принципами нашего судопроизводства. Но вернемся к мистеру Флинту.

Конечно же, я понимал, что в нашем округе практически невозможно найти таких присяжных, которые решат дело в пользу алкоголика против уважаемого всеми доктора. Поэтому мне было важно отобрать людей, готовых внимательно и непредвзято выслушать историю жизни мистера Флинта, узнать подробности и последствия его лечения, и уже потом принять решение. Выиграть такой процесс можно было, только завоевав их доверие. И работа как защиты, так и обвинения на процессе — это борьба за доверие присяжных, — Эванс замолчал и обвёл взглядом своих слушателей, пытаясь понять, какое впечатление произвела на них его последняя фраза. Выдержав паузу, он продолжил.

— И наглядный пример тому — суд над О’Джеем Симпсоном. Кто из вас слышал об этом очень громком деле, буквально расколовшем страну десять лет назад? — В комнате оказалось совсем не так много людей, знавших дело Симпсона.

— Это был известный процесс, полностью показанный по телевидению и приковавший внимание всей страны. Настоящая мыльная опера, длиною почти в год. Большинство из вас, друзья мои, были тогда в нежном возрасте и не следили за этим увлекательным зрелищем. Так вот, в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса произошло зверское убийство. Николь Браун и Рон Голдман были зарезаны почти на пороге дома Николь, где спали ее ни о чем не подозревающие дети. Место происшествия было буквально залито кровью. Убийца оставил множество следов своего преступления, которые привели лос-анджелесскую полицию, в конечном счёте, к бывшему мужу Николь — О’Джею Симпсону, в прошлом известному футболисту, спортивному комментатору и актёру, делающему довольно успешную карьеру в Голливуде.

Прокуроры представили суду тонны вещественных доказательств, обливающих Симпсона, начиная с ревности как мотива преступления, анализов ДНК, подтверждающих идентичность крови жертв и крови, найденной на носках Симпсона, и кончая его суицидной запиской и попыткой побега, которую показывали по всей Америке в прямом эфире. Белый «бронко», в котором в панике мчался по хайвэй Симпсон, стал тогда самой продаваемой машиной в Америке. Но я говорю сейчас не о влиянии телевидения на умы и воображение наших соотечественников. Мистер Симпсон был чернокожим, а зверски зарезанная Николь Браун и её друг Рон Голдман были белыми. Незадолго до этого преступления Лос-Анджелес перенес настоящий расовый бунт, после того, как белые присяжные оправдали полицейских, избивших черного води-

теля. Было очевидно, что присяжные, выбранные для суда над Симпсоном из жителей округа Санта Моника, где произошло убийство, будут белыми, а это могло вызвать новые беспорядки. Поэтому решили набирать присяжных в Лос-Анджелесе. Два месяца защита и обвинение буквально сражались за каждого члена коллегии. В результате, в числе избранных оказался всего один белый. Интересно и то, что в коллегию присяжных попали только двое мужчин. Прошло время «Двенадцати разгневанных мужчин»¹. Прокурор Марша Кларк думала, что ей будет проще найти понимание у женщин и... ошиблась в своём расчёте. Вид преуспевающей энергичной белой женщины вызывал скорее неприязнь у черных женщин-присяжных. Досталось и второму прокурору, чернокожему Кристоферу Дардену. На него посыпались обвинения в предательстве и угрозы расправы. И вот, после изнурительнейшего процесса, длившегося восемь месяцев, и показаний более ста свидетелей, у присяжных ушло всего три часа на вынесение вердикта — «невиновен». Я до сих пор помню крик сестры Рона, ужас в ее глазах: невиновным, вопреки всякому здравому смыслу, признан убийца двоих людей. Голдман вообще погиб только потому, что стал невольным свидетелем расправы над Николь. В шоке были все, кому доказательства вины Симпсона казались неоспоримыми. Другая половина страны ликовала. По мнению этих людей, справедливость восторжествовала — была доказана невиновность их кумира. А как же тонны вещественных доказательств, обличающих Симпсона? — спросите вы. — Так вот, присяжные сочли все представленные улики неубедительными, проще говоря — сфабрикованными полицейскими-расистами, а это означает, друзья мои, что обвинение, в отличие от защиты, не смогло завоевать доверие присяжных и поэтому проиграло процесс. Несмотря на все представленные ими доказательства, у присяжных остались сомнения в том, что Симпсон убийца, а вердикт «виновен» должен быть принят только тогда, когда таких сомнений нет.

Легкий шумок прокатился среди слушателей Эванса.

— А не кажется ли вам, сенатор, что оправдание убийцы свидетельствует, скорее, о кризисе нашей судебной системы? — возмущенно спросил кто-то.

— А чтобы вы предпочли — оправдать убийцу или осудить невиновного? — парировал сенатор. По-моему, оправдание Симпсона — как раз свидетельство того, что судебная система работает. Поймите, вердикт «невиновен» не означает «невинен». Прокуроры не смогли убедить коллегию присяжных в виновности Симпсона. Несмотря на все представленные ими доказательства, у присяжных остались сомнения в том, что Симпсон убийца, а вердикт «виновен» должен быть принят только тогда, когда таких сомнений нет.

— Есть в этом какая-то несправедливость, — продолжал настаивать тот же голос. — Выходит, убийце может сойти с рук его преступление.

— Вы затронули самый сложный аспект судопроизводства, молодой человек. Я буду краток в своей попытке ответить вам. Поймите, в зале суда мы не можем опираться на наши чувства и жажду справедливости. Правосудие и справедливость — не одно и то же. Правосудие — это следование закону, а справедливость — представление каждого из нас о том, как закон должен работать. И поверьте, друзья мои, наше представление о справедливости очень

¹ Известный американский фильм, судебная драма.

и очень субъективно. Вердикт, казавшийся несправедливым сестре Рона Голдмана, казался справедливым тысяче поклонников Симпсона. Поэтому в зале суда мы должны опираться на закон и только на закон и не допустить... осуждения невиновного. Много лет назад я был потрясен словами Джона Адамса: «Гораздо важнее защитить невинного, чем наказать виновного». И дальше великий отец-основатель развивает свою мысль: «Нашей целью не может быть наказание за преступление, ибо в этом мире слишком много творится зла и преступлений, но если невиновный осужден и, может быть, даже приговорен к смерти, то каждый гражданин вправе задать вопрос: а в чем разница, творю я зло или добро, если невиновность не защищена».

Сенатор замолчал, давая слушателям время обдумать сказанные им слова.

Посыпались вопросы, которые Джуди почти не слышала. Она-то прекрасно помнила этот процесс и жаркие дебаты между Пэт и ее помощницами на и без того раскалённой кухне. Никакие доводы не могли убедить чернокожих девушек в виновности Симпсона. Джуди старалась не вмешиваться в перебранки, но когда одна из них крикнула в запале, что все белые женщины, выходящие замуж за черных мужчин, просто сучки... да-да — сучки обыкновенные, которым надо сами знаете что, она не выдержала.

— Вот что, милая моя, — начала она в раздражении, появившись в дверях кухни, но осеклась, встретив предостерегающий взгляд Пэт. — Поди-ка лучше, убери со столов, — закончила она свою фразу совсем не так, как собиралась.

Но не это воспоминание мучило Джуди. Она уволила девушку при первой же возможности, что оказалось совсем не сложным. Рассылая громкие ругательства, та покинула её кабинет, громко хлопнув дверью на прощанье. Она была не лучше и не хуже всех других девушек, перебивавших на кухне. Кажется, у неё был маленький ребёнок. Джуди приходилось и до этого увольнять людей, но на этот раз причиной была боль, спрятанная в глубоком тайнике её души и затронутая ничего не подозревающей девушкой.

— Господи, как я могла её выгнать, — мучилась угрызениями совести Джуди каждый раз, вспоминая эту историю.

— А не вернуться ли нам к Алексу Флинту, — чей-то знакомый голос прервал ход её грустных мыслей. — У сенатора через час назначена встреча на военной базе.

В проходе между стульев стояла Лиза Эванс, нагруженная коробками с пиццей. — Помогите-ка мне принести кока-колу из машины.

Сразу несколько человек кинулось ей на помощь. Джуди показалось, что лицо сенатора выразило скорее недовольство, чем радость при виде жены.

Суэта вокруг коробок с пиццей отвлекла ее внимание от супругов Эвансов.

— Вот так всегда, — подумала она, глядя на пожилых дам, оживленно расхватывающих довольно-таки большие куски, — и про холестерин забыли.

— Мисс Маккин, — окликнула ее Лиза, — угощайтесь. Вы хотите пеперони или овощную? Джуди покачала головой и скорбно отхлебнула глоток воды из пластмассовой бутылочки. — Я на диете, — ответила она Лизе, с завистью оглядывая ее худенькую фигурку. Как это некоторым удается не набирать вес. Кажется, Лиза еще больше похудела и вообще выглядела усталой.

— Внимание, судья Гонзалес, продолжайте процесс, — голос сенатора перекрыл шум в комнате и восстановил порядок. Роберто Гонзалес торопливо вернулся к своему месту, дожевывая пиццу.

— Так, — сказал он, — ввиду того, что стороны не пришли к соглашению до суда, я начинаю процесс. Первыми будут заслушаны представители госпиталя Святого Иосифа.

Всем уже известный Кристофер Брон снова поднялся со своего стула и развернулся к слушателям.

— В стратегии защиты мы будем исходить из того, что Александр Флинт дал согласие на лечение антабусом, понимая серьёзность побочных явлений и последствий в случаях нарушения режима приёма препарата. Лечащий врач Алекса — доктор Радли, один из самых уважаемых и заслуженных врачей госпиталя, у него прекрасная репутация, он посещает всевозможные научные семинары, повышает свою квалификацию и заботится о больных как отец родной... У нас будут доказательства его безупречной лечебной практики. Короче, мы покажем наглядно выполнение госпиталем своих обязательств по лечению больного Флинта, а вот больной Флинт нарушил свои обязательства, принимая алкоголь во время лечения, что и послужило причиной осложнения и, в конечном счете — инвалидности. — Кристофер раскланялся и повернулся к судье.

— Мистер Брон, кто ваши свидетели? — важно осведомился судья.

— Мы пригласили доктора Радли, пару его коллег из госпиталя, участников семинара, где обсуждалась эффективность лечения антабусом ударными дозами, ну и нянечку, нашедшую пустые бутылки в тумбочке Алекса. Да, еще — его вторую жену, натерпевшуюся от его пьянок. Её рассказ должен произвести неприятное впечатление на присяжных.

— Протестую! — вскочила со своего места Эмми Лоурэнс. — Всем известно, что Александр Флинт страдал алкоголизмом и, между прочим, он сам хотел избавиться от этой зависимости.

— Протест принят, суд готов заслушать представителя истца, — судья жестом пригласил Эмми к своему столу.

«Ну что она так волнуется, — подумала Джуди, глядя на покрасневшую Эмми, вертящую в руках карандаш, — сейчас она его ломает...»

Карандаш хрустнул в руках защитницы несчастного Алекса Флинта.

— Смелее, Эмми, — подбодрил ее сенатор, — помните, вы выиграли это дело.

— Защита Александра Флинта исходила из того, что доктор Радли игнорировал тревожные симптомы в состоянии его пациента после приема ударной дозы антабуса, — начала Эмми. — Второй пункт в нашей стратегии — доказательство халатности фармацевтов госпиталя, готовящих превышенные дозы медикамента. Они должны были запросить у доктора Радли основания для такого лечения.

— Отлично, — а я ведь даже не упомянул этого факта в своём рассказе, — вставил свою реплику Эванс.

— Ну, и наконец, никто не видел Алекса пьющим в госпитале, а анализ крови на содержание алкоголя, насколько я понимаю, сделан не был, — перевела дух Эмми.

Тут уже подскокил Кристофер Брон, словно бы ожидающий этого момента:

— Совершенно верно! Даже близкие друзья не видели Алекса Флинта пьющим. Это как раз и подтверждает нашу гипотезу о том, что он умел скрывать приём спиртного и прятать улики. А анализ крови потерян!

— Ха, — злорадно крикнула защитница мистера Флинта. — Могу себе представить, что делается в госпитале, если там теряются анализы крови больных.

— Порядок в зале суда! Я не давал тебе слова, Кристофер, — прервал начавшуюся было перебранку судья Гонзалес. — Мисс Лоурэнс, кого вы представите в качестве свидетелей?

— Мы заслушаем мнение эксперта о возможных побочных действиях антабуса, а так же медсестер, подтверждающих изменение в состоянии больного после начала лечения. Потом пригласим босса Алекса дать показания о состоянии подзащитного до того, как тот привёз его в госпиталь. Тут можно показать фотографию Алекса, где он красавец с копной черных волос, а после этого вкатить его в инвалидном кресле в зал суда, — перевела дух Эмми.

— Протестую! — опять завопил Кристофер Брон со своего места. — Флинт уже был не красавцем, а алкоголиком со стажем, когда лёг в госпиталь!

— Протест принят, — поддержал его на этот раз судья.

— Стоп-стоп, — вмешался сенатор. — К сожалению, друзья мои, я должен прервать наш урок на этом месте. Меня ждут ребята на военной базе. Им через месяц отправляться в Ирак, хотелось бы поговорить с ними, узнать их настроение. Мы не успели обсудить множество аспектов судопроизводства, да это и невозможно успеть за два часа. Так какой счет вы выставили госпиталю? — он обернулся к Эмми.

— Пять миллионов, — скромно сказала она.

— Вот это я понимаю, — присвистнул кто-то.

— Интересно, откуда появилась эта цифра? — не удержался от вопроса судья.

— Очень просто, Роберто, — Эмми развернула тетрадку, — сначала мы подсчитали стоимость жизни и лечения мистера Флинта за один год, а потом умножили эту сумму на двадцать.

— И вы сможете убедить присяжных в том, что сто тысяч недостаточное возмещение убытков для потерпевшего? — улыбаясь, спросил сенатор.

— Вы же сами говорили, мистер Эванс, что присяжные — такие же люди, как все мы. Значит, главная задача адвоката спокойно и вразумительно показать этим людям последствия непреднамеренной ошибки персонала госпиталя. Мой клиент стал инвалидом, не способным прокормить себя, иметь свою семью и вообще вести нормальную человеческую жизнь. Алекс нуждается в круглосуточном уходе, и сто тысяч долларов хватило бы... ну-у, — она задумалась на секунду — на год, от силы два года.

«А ведь эта девочка совершенно права» — успела подумать Джуди.

— Ну что ж, двадцать лет назад коллегия присяжных присудила Алексу Флинту три с половиной миллиона. С учетом инфляции и роста стоимости жизни, ваша сумма вполне резонна, Эмми. Всё, на этом закончим. — Ну, что скажете, мисс Маккин? — обратился сенатор к Джуди. Шум отодвигаемых стульев и хлопки заглушили его слова. Когда она пробралась к сенатору, возле него уже стояла Лиза с ключами от машины наготове.

— А я тоже прекрасно помню это дело, — сказала миссис Эванс. — Тогда Джон еще не отказывался от моей помощи. А знаете, ведь это я нашла в Бостоне того самого эксперта, доктора Ричардса, показания которого решили дело в пользу Флинта. Я сама ездила за ним в Бостон и уговорила его выступить в суде. Семь часов езды по хайвэю в одну сторону под проливным дождём...

Было видно, ей и дальше хотелось рассказать о своей самоотверженности, благодаря которой тогда еще никому не известный адвокат выиграл миллионное дело.

— Лиза, мы торопимся, ты что, забыла? — перебил её Эванс. — И когда это я отказывался от твоей помощи? Ты мой первый помощник всегда и во всём. — Он приобнял Лизу за плечи, этим жестом как бы смягчая свою невежливость. — Извините нас, Джуди. Кстати, обратите внимание на Эмми Лоурэнс, очень многообещающая девушка, со временем станет хорошим адвокатом.

Распроставшись со всеми, Эвансы удалились.

«Ничего не понимаю. Где же эти деньги?» — только и успела подумать Джуди.

Уже в машине, которую вела Лиза, Джон вспомнил, почему не разрешал ей присутствовать на своих процессах, хотя она и могла зачастую дать ему хороший совет. На этих подмостках вдвоём им не было места. Ему хватило Флинта. Она приходила на каждое заседание, следя за каждым его словом и подробно разбирая дома каждую его ошибку. В конце концов, ее присутствие стало раздражать его. Он с трудом дотянул до заключительной речи. Стараясь не смотреть в зал, чтобы не видеть ее внимательного и строгого лица, он приготовился к выступлению, когда кто-то тронул его за рукав: «Кажется, миссис Эванс хочет вам что-то сказать».

— Ну, в чем дело — недовольно осведомился он, подойдя к ней.

— Дорогой, — зашептала она, — у тебя расстегнута ширинка.

Её сконфуженное, как показалось ему, виноватое лицо, вызвало у него ярость.

Он поспешно отошел от нее и, вернувшись на свое место, попытался собраться с мыслями. И странное дело, ему показалось, что именно ярость, вызванная Лизой, придала его заключительной речи особенную убедительность, позволившую ему выиграть этот процесс. И привезённый из Бостона эксперт тут был не столь важен. Позднее он понял, что для любой победы ему нужна была эта энергия ярости, но не хотел, чтобы Лиза была её источником. Она была верным и надёжным другом, с которым он разделял свою жизнь последние двадцать пять лет, но другом требовательным и строгим. Ему же всё больше хотелось нежности и восхищения, на которые Лиза, как казалось Эвансу, была не способна.

— Ничего не понимаю, — Джуди еще раз перечитала историю болезни Александра Флинта. Там не было ни слова о том, как он получил свой страшный диагноз и никаких данных о родственниках или друзьях. Никто не навещал его, что, впрочем, не было редкостью в этом заведении, и никто так бы и не знал про его три миллиона, не попадись он сенатору в коридоре барака.

«Куда подевались твои деньги, бедный Ромео, — подумала Джуди. — Когда и как ты их истратил? То, что ты живёшь у нас в заведении, означает

только одно — за тебя платит государство, а государство платит за тех, у кого ни гроша. Ноль. Зеро. Пусто. — Она в задумчивости уставилась на телефон. — Кто бы тут мог помочь разузнать хоть что-нибудь? Может, Фрэнк?»

Фрэнк Салливан много лет работал главным бухгалтером у Аззи и был её хорошим другом. Ему, конечно, всего не расскажешь, но попробовать можно.

— Привет, дорогая, — забулькало в трубке. — Ты что, решила разорить Аззи? Мне ужасно любопытно, кто это натравил на него сенатора Эванса, — Фрэнк хохотнул в трубку и закашлялся, поперхнувшись.

— А ты всё куришь как сумасшедший, — рассмеялась Джуди, стараясь держать трубку подальше от уха. — У нас тут жуткая жара и никакие вентиляторы не спасают. Старички страдают, сам понимаешь. Пока мы дождёмся кондиционеров от Аззи... Правда, он начал ремонт в столовой. Есть надежда, что закончит к празднику. А вот, кто надоумил сенатора навеститься к нам в гости, и сама не знаю. Загадка.

— Он тут разнюхивал, может, я знаю, что и как, только от меня толку мало. Лучше скажи, когда ты меня пригласишь на ланч.

Так они поболтали еще немного. Погода. Артрит. Пачка сигарет в день. Внуки. Наконец, Джуди перешла к делу:

— Слушай, Фрэнк, у нас тут есть некий Алекс Флинт, вообще-то он у нас давний постоялец, но вот давление у него подскочило недавно. Я бы хотела поставить ему в комнату кондиционер, но не уверена, что ему это будет по карману. Взгляни, пожалуйста, что у него там со средствами.

Джуди чувствовала, как кровь приливает к её лицу. Она совершенно не умела лгать и боялась, что Фрэнк может заподозрить её в чём-то. Но Фрэнк, как ни в чём не бывало, полез в компьютер и после чертыханий и жалоб на медлительность загрузки, изрёк:

— Можешь забыть про кондиционер для мистера Флинта, если, конечно, не будешь платить за него сама.

— Ты хочешь сказать, что у него ничего нет за душой.

— Именно это я и хочу сказать. Медикэйд плюс Медикейр¹ и больше ничего. А на фиг тебе сдался этот старикан?

— Мне просто жалко его, вот и всё. Не подумай чего... — продолжила Джуди. — Откуда он вообще взялся? Родственники... Дети...

— Вот ведь надоеда какая, — заворчал Фрэнк. — Ладно, я посмотрю в архиве.

Часа через два он перезвонил Джуди:

— Аззи где-то подобрал твоего старикашку голого и босого двенадцать лет назад. Тут стоит пометка «Одинокая звезда». Может, это название заведения? Не могу сказать. Накормил он его и одел в пижаму полностью за государственный счёт. И не спрашивай меня больше ни о чём, потому что это всё, что я смог раскопать.

Поисковик выдал более сотни «одиноких звезд», но ни одного дома для престарелых с таким названием.

— Ладно, — вздохнула Джуди, — может, старик сам что-нибудь припомнит, но на это надежды мало.

¹ Государственные программы обеспечения медицинским обслуживанием престарелых и малоимущих.

Она прошла по коридору барака, постояла в пустой комнате Ромео. А чем, собственно, эта комната лучше той, в которой сенатор увидел его в первый раз? Голые стены, смятое покрывало на кровати, тумбочка с картинкой Иисуса Христа в дешёвенькой рамке. Полотенце валяется на полу.

«Будет здесь когда-нибудь порядок?» — мрачно подумала Джуди, с трупом наклоняясь за полотенцем.

Ромео нашёлся во дворе в тени все той же чахлой акации. Возле него на скамейке курил Рэй, жестом пригласивший Джуди присесть рядом с ним.

— Мистер Флинт, — начала Джуди, — я случайно узнала, что вы отлично играли в гольф. У нас тут недалеко есть замечательные поля для гольфа. Зеленая травка, желтый песочек. Хотите, я вас покатаю, покажу наши замечательные окрестности?

Мельком взглянув на директрису, Ромео потерял к ней всякий интерес. Свесив голову, и тяжело отдуваясь, он сидел в своем инвалидном кресле, скрепя узловатые старческие руки на животе.

«Всё-таки рот он может сейчас держать закрытым, и слюней у него поменьше», — подумала, разглядывая старика, Джуди. — А какое мороженое вы любите больше — шоколадное или сливочное?

— А у вас какое? — вдруг совершенно осмысленно осведомился Ромео, поднимая голову. — Вообще-то я люблю клубничное, но шоколадное тоже пойдет. Вот он любит сливочное, — корявым пальцем с желтым ногтем старик указал на Кэвина, спокойно шагающего из одного угла двора в другой.

— Да Кэвин ест всё, что ни попадя, — вдруг рассмеялся Рэй, — а сам худой как черт.

— Это потому, что у него повышенный метаболизм, — вздохнула Джуди.

— Эй, Кэвин, — вдруг крикнул Рэй, — у тебя есть булочка?

— Зачем тебе? — живо откликнулся Кэвин.

— Хочу поджарить тостик.

— Как это? — удивился Кэвин, останавливаясь на секунду.

— А так, положим твою булочку на крышу и — порядок. Через пять минут тостик готов. Тут главное не передержать, а то подгорит.

Кэвин задумался на мгновение. По его сухонькому личику, изборожденному морщинами, пробежало какое-то сомнение.

— Не-е-е, нету у меня булочки. Тебе бы всё смеяться надо мной. — Он возобновил перемещение из угла в угол, которое уже начало слегка раздражать директрису.

«Не посадить ли его снова на успокоительные таблетки, — подумала она. — А может, самой начать их принимать?»

Во дворе было так же душно, как и в бараке. Ни одного дуновения ветерка.

«Еще немного, и я сама превращусь в "тостик"... и на крыше поджаривать не надо», — она обвела глазами двор, местами вспучившийся и потрепанный от жары асфальт, несколько старых язв, кусты акации, две клумбы с цветами. Ворота здесь не закрывали. Никто не запрещал обитателям заведения выходить в городок. Небольшой парк с открытым бассейном находился всего в нескольких минутах ходьбы. Мария Баверсток отправлялась туда каждое утро после завтрака в сопровождении своей кошки Маффин, неизменно следовавшей за своей хозяйкой. Джуди улыбнулась: эта пара стала достопримечательностью городка. Знали здесь и Кэвина. Когда у не-

го заводились несколько монеток, он бегал за сладкой булочкой в небольшой магазинчик, расположенный у ближайшего светофора. И снова улыбка тронула губы Джуди. Она вспомнила, как много лет назад, когда Кэвин только поселился у них в бараке, ей в офис позвонила, судя по голосу, пожилая негритянка и стала отчитывать ее за то, что они морят голодом несчастного старика, жадно пожирающего булочку прямо на улице.

— Я скормила ему весь свой ланч, и он заглотил его за одно мгновение чуть ли не вместе бумажным пакетом, — возмущалась она.

Пришлось ей объяснять, что прозорливость Кэвина ни что иное как часть его болезни. Он просто не знает чувства насыщения и голоден всегда. Кажется, они закончили свой разговор вполне дружелюбно.

Прогулки по городу обитателей барака не пугали Джуди. Хуже было, когда кто-нибудь из них не мог найти дорогу назад. Дело обычно кончалось приездом полицейской машины с перепуганным стариком на заднем сидении. Больше всего тревог вызывал Джулиус, норовящий выскользнуть из барака по ночам. Обычно Рэй присматривал за своим соседом, но на него нельзя было рассчитывать всё время.

«Скоро придется отправить Джулиуса в другой дом для престарелых, где двери заперты всегда», — вздохнула Джуди.

— Хей, чего это ты там расселась возле Ромео, — крикнула из окна кухни Пэт, — мы недавно сменили ему памперсы. Знаешь же, чем это всё кончается.

— Да, он на меня не реагирует, — Джуди поднялась со скамейки. — Зайди-ка ко мне в кабинет на минутку.

Стянув с головы мокрое полотенце, которым она оборачивала голову, спасаясь от жара кухни, Пэт внимательно выслушала историю Алекса Флинта. Её всегда смешливые голубые глаза помрачнели.

— Сдаётся мне, Аззи приложил к этому руку, — подытожила она. — Докazać, конечно, никто ничего не сможет.

— Но это же преступление! Воровство! Обворовать беспомощного старика-инвалида, — взорвалась вдруг директриса, покрывшись красными пятнами. — Мы и правда ничего не знаем... может, и не Аззи вовсе, а ещё кто-нибудь... вместе с ним...

— Да и ладно, — испугалась за неё Пэт. — Ну чего ты так разволновалась. Разве Ромео у нас плохо? Жарковато, конечно, ничего не скажешь.

— Я хочу докопаться до тех, кто это сделал, понимаешь? Я хочу справедливости для него, понимаешь? Я хочу справедливости для всех нас, понимаешь?

— Да я-то тебя понимаю, как никто другой, — тихо сказала Пэт, а потом добавила уже громко и решительно, тряхнув кудряшками, прилипшими ко лбу. — Некогда мне тут с тобой сидеть. Пора готовить обед старичкам. Справедливостью их не накормишь. — И ушла, плотно прикрыв дверь кабинета, в котором почему-то разрыдалась директриса.

Джуди Маккин прекрасно знала, что она не может рассчитывать на ответную любовь Джона Эванса.

Когда-то в ранней юности она посмотрела фильм «Ромео и Джульетта», вспоминая который, и сейчас могла расплакаться. И плакала она не столько из жалости к молодым влюблённым, сколько из жалости к себе.

«Разве можно меня полюбить? — Джуди с любопытством рассматривала в зеркале своё большое тело. — Господи, зачем ты создал меня такой уродливой?» — много лет спрашивала она в церкви по воскресеньям.

Скорее всего, Господь так и не дал ей ответа, потому что она встретила с недоверием того, кто полюбил её большое тело вдобавок к отзывчивой душе, а когда доверие пришло, возлюбленный вынужден был от неё отказаться.

О какой же справедливости говорила директриса, разрыдавшись в своём кабинете? Да о той, которая соединила бы её с сенатором Эвансом в вечном союзе под сладостное пение прихожан пресвитерианской церкви одним прекрасным весенним утром.

Перед самым праздником в бараке закончили ремонт столовой. Вентилятор на длинной ноге с грохотом крутил свои лопасти, раздувая новые клеёнки в цветочек, постеленные на столах, и заглушая телевизор, который теперь не велела выключать директриса.

«Ну, ничего невозможно услышать, — сокрушалась она, когда в новостях передавали что-нибудь о сенаторе. — И эту ветряную мельницу из-за дхоты не отключить ни на секунду».

Настоящим подарком для нее были коротенькие кусочки из выступлений самого Эванса.

Бросив все, она торопливо подходила к телевизору, не сводя глаз с лица сенатора. Подтянутый и обаятельный, он убедительно обещал продолжить борьбу с коррупцией в штате в случае его избрания на второй срок. Иногда его сменяла Лиза, успевающая за несколько секунд сказать о том, как она гордится своим мужем — защитником интересов простых американцев. Интервью с Макмэрфи казались Джуди неубедительными.

В бараке, кроме Роуз, никто не разделял её разгоревшегося интереса к политике. Здесь не все различали, в каком тысячелетии живут, не то что разницу между республиканцами и демократами. И только Роуз с директрисой были уверены, что Джон Эванс станет со временем президентом Америки.

— Да-да-да, — говорила себе Джуди. — Я непременно буду за него голосовать. Но до выборов было еще далеко, и ее страдающее сердце молило о встрече. Понимая, что дело Александра Флинта — единственная ниточка, связывающая её с сенатором, она решила снова отправиться в его офис.

На этот раз здесь было почти пусто. Несколько человек сидели за компьютерами.

— Хей, мисс Маккин, как поживаете? — окликнул её чей-то голос. Из-за компьютера выглянуло девичье личико, усыпанное веснушками.

— Эмми? — обрадовалась Джуди. — Вот хотела перевести немного денег на счёт кампании сенатора. — Она поспешно полезла в сумку за чековой книжкой, довольная удачным оправданием своего визита. — Всего двести долларов. Ничего, что так мало?

Пальцы Эмми проворно засновали по клавиатуре, внося в компьютер данные очередного донора кампании сенатора Эванса.

— Ну что вы, мисс Маккин. Мы благодарны всем за любые взносы, даже два доллара имеют значение, поверьте. Сенатор говорит, что простым людям он обязан больше всего. Кстати, деньги можно переводить через интернет. Нет даже необходимости приезжать сюда. Всё быстро и удобно.

Раздавшийся телефонный звонок прервал девушку на полуслове, она жестом попросила Джуди обождать.

Офис был завален всевозможными буклетами и фотографиями сенатора. Отобрав наиболее ей приглянувшиеся, Джуди помахала рукой девушке, всё еще болтающей по телефону, и медленно направилась к выходу. Больше, кажется, ей было нечего здесь делать. Надежды встретить сенатора не было никакой, но уходить из места, где все было с ним связано, ей не хотелось. У неё резко испортилось настроение.

— А как там поживает мистер Флинт? — Эмми догнала её почти в дверях. — Подождите, не уезжайте, я хотела с вами немного поболтать.

И задержавшаяся мисс Маккин поделилась с Эмми Лоуренс всеми своими сомнениями по поводу исчезнувших денег несчастного Ромео. А поскольку девушка была доброй и отзывчивой, она решила присоединиться к поискам Джуди, и только наступающие праздники помешали ей тут же приступить к осуществлению плана.

К середине лета жара достигает своего апогея в наших краях. Случайно проезжающим через измученный зноем Мейзон-сити могло показаться, что городок не подает ни малейших признаков жизни, но это обманчивое впечатление. Еще до восхода солнца команда мальчишек на велосипедах объезжала его улицы, разбрасывая утренние газеты, обтянутые пластиковыми пакетами, к дверям подписчиков. Метко запущенные сверточки летели через газон и с легким шлепком приземлялись на крыльце домиков, где их находили любители последних известий в наспех накинутых халатах, а чаще просто в трусах и футболках. Почти все дома городка украшали американские флаги, а если кое-где и виднелись красные флаги с голубым крестом¹, то это была лишь дань традиции. Патриотизм издавна присущ южанам. Они скорее отправятся в Диснейлэнд, чем в Европу, и гамбургер с кока-колой предпочтут изысканной французской кухне.

Башни, обрушившиеся в Манхеттене, взывали к возмездю и означали объявление войны. Кое-кто из жителей городка воевал еще в Кувейте. Они сохранили стойкую неприязнь к Саддаму, помня черный шлейф горящей нефти, покрывающий пустыню до горизонта. Подросшее поколение было готово закончить их дело и освободить народ далекого Ирака от злого тирана.

Желтые банты, прикрепленные к почтовым ящикам, означали, что здесь ждали писем от солдата. За тех, кто на фронте, молились в местной церкви по воскресеньям, прося Бога сохранить солдатам жизни и поскорее вернуть домой.

Возможно, из-за близости к столице штата Мейзон-сити подвергался частым набегам политиков всех сортов. По выходным дням они наезжали в автобусах, разукрашенных своими портретами и предвыборными лозунгами, оглашая улочки бравурной музыкой. Небольшая площадь перед мэрией наполнялась народом, пришедшим послушать заезжих певцов кантри, поест поджаренных хот-догов и сфотографироваться с очередным избранником. Политики произносили речи, похлопывали по плечу своих выборщиков и брали на руки орущих младенцев. Выбирать в городе приходилось постоянно: то мэра и членов муниципалитета, то шерифа и его

¹ Флаг конфедерации.

помощников, то прокурора и судью, не говоря уже о губернаторе и членах законодательного собрания, сенаторах и конгрессменах и, конечно же, самом президенте.

В Мейзон-сити любили и отмечали все праздники, начиная с Рождества и кончая Хэллоуином, но к празднованию Дня независимости здесь относились с особым трепетом. И объяснялось это не столько высоким уровнем патриотизма наших горожан, сколько их особой любовью к парадам. Только ураган или землетрясение могли отменить это мероприятие в нашем городе. К нему непрерывно готовились в течение всего года. Зимой, или тем временем года, которое у нас так называют, подготовка заметно оживлялась. Уже к наступлению весны музыканты школьного оркестра падали от усталости из-за бесконечных репетиций. В это же время заканчивался конкурс местных красавиц, и очередному почтенному отцу семейства предстояло выразить недоумение по поводу возрастания цены на наряд королевы красоты при уменьшении затраченной на него материи. Суетились и в мэрии. На праздничные мероприятия традиционно не хватало денег, и каждому вновь избранному мэру приходилось в срочном порядке собирать пожертвования, объезжая всех наших известных благодетелей.

Вот и на этот раз День независимости накатил на наш город так же неизбежно, как и все другие дни в году. Возбуждение по поводу праздника проникло даже в стены богадельни. Сразу после завтрака обитатели заведения, толкаясь, высыпали на Главную улицу со стульями, занимать первые места в партере. К ним присоединились седоки в инвалидных креслах. Постепенно улица наполнилась желающими поделиться расправшими их чувством гордости и радости принадлежности к великой нации, отмечающей сегодня свой главный праздник.

Появление мэра в машине с откидным верхом означало, что парад начался. Сразу за ним ехали пожарные машины, сверкая надраенными боками, и маршировали ветераны всех прошедших войн.

Кстати, наши ветераны никогда не устраивали тренировочных маршей в городе. В положенный день каждый из них надевал военную форму со всеми прилагаемыми значками и наградами и прибывал в назначенное время на Главную улицу. Здесь они выстраивались шеренгами и под звуки марша конфедератов «Когда Джони вернется домой» торжественно проходили положенный им участок пути. Каждый из них шел как бы сам по себе, одновременно являясь незаменимой частью чего-то общего и обязательного. Многие из переполняемого их чувства патриотизма несли американские флаги. Тех, кто был уже не в состоянии идти, везли в инвалидных креслах. Отбывших на вечный покой ветеранов Корейской и Вьетнамской войн заменяли молодые люди, воевавшие в Ираке и Афганистане.

За ветеранами шли скауты обоих полов и пара заимствованных в соседнем городке конных полицейских, преисполненных чувством собственной значимости и достоинства.

Появление королевы красоты, раздающей воздушные поцелуи во все стороны, открывало самую веселую и долгожданную часть шествия. Строгие пуританские нравы давно отступили перед жадной лицезрения прекрасного, и королевы парадов сменили пышные туалеты на откровенные бикини.

За королевой обычно шла местная футбольная команда с толпой болельщиков и группой поддержки. Все девушки в коротеньких юбочках, прикрывающих лишь трусики, и в сапожках на голую ногу. Популярность лидера такой группы поддержки в городе можно сравнить только с популярностью принцессы Дианы за стенами Букингемского дворца. На ходу девушки выстраивали из своих юных тел немыслимые пирамиды, распадающиеся на сальто и шпагаты в воздухе.

— Всем от нас большой привет, — начинала свою партию принцесса Диана местного значения.

— Лучше нас на свете нет, — подхватывал хор девушек.

— Раз, два, три. Свой носок тяни.

— Три, четыре, пять. Нельзя отставать.

Никто и не думал отставать. Шествие продолжали все виды местных артистов, акробаты на ходулях и без них, вперемешку с политиками всех сортов. Лиза Эванс проплыла на открытой платформе, украшенной американскими флагами и портретами сенатора. Заметив знакомых старичков, она прокричала, что навестит их после парада.

Наконец, блестя начищенными медными инструментами, появился марширующий оркестр, любимец и предмет гордости любого маленького городка. На всех музыкантах роскошные мундиры с золотыми аксельбантами. У тамбурмажора — раскрашенный жезл. Тон и ритм шествию задавали барабаны, без которых немыслим ни один оркестр. Сначала шли большие барабаны, за ними — барабаны поменьше, и дальше, выступая с неподражаемой грацией, поднимая стройные ножки, следовали девочки с крошечными барабанчиками наперевес. И все это двигалось и ликовало, и, переливаясь на солнце, являло абсолютное счастье и радость жизни.

Доля этого счастья досталась и обитателям заведения. Оставшаяся в бараке Роуз с волнением прислушивалась к звукам музыки, доносившимся с Главной улицы. Было видно, что в душе ее происходила какая-то мучительная работа, и в тот самый момент, когда директриса направилась к ней с предложением выпить успокоительной микстуры, она вдруг запела:

Прекрасна, в вольности небес
Неся янтарь полей,
И гордых гор пурпурный блеск
Над сочностью степей!
Америка! Америка!
Судьба к тебе щедра.
Стань океанам берегом
Из братства и добра¹

Память вернула ей только первый куплет песни, но Роуз пела его снова и снова, до тех пор, пока директриса не обняла её, а присутствующие при этой сцене старички не разразились аплодисментами.

Эту трогательную сцену застала Лиза Эванс, заехавшая в заведение после парада. На этот раз Аззи, предупрежденный, что гости могут появиться снова, решил не ударить лицом в грязь. Во дворе учреждения, прямо на газо-

¹ «Америка прекрасная» — американская патриотическая песня. Перевод Алексея Сергейчука.

не, растянули тент, куда спасаясь от палящего солнца, перебрались все желающие со своими ходунками и инвалидными креслами. Не пожалел он денег и на барбекю. Старички были в восторге от подрумяненных хот-догов и куриных крылышек, обжаренных в остром соусе. Лиза с некоторой тревогой наблюдала за исчезновением целых кусков в беззубом рту тощенького Кевина.

— А ему не будет плохо? — спросила она Джуди, указывая глазами на старикана.

— А что делать? — ответила та. — Не могу же я отнимать у него еду. Знаете, у него совершенно необыкновенная судьба. Мама родила его в концлагере. Да-да-да. Где-то перед самым освобождением, это их и спасло. Может быть, поэтому он все время голоден и ненасытен. Самое удивительное, что она жива и до сих пор звонит мне время от времени, а вот Кевин ее даже не вспоминает. Она очень старенькая, но совершенно в здравом уме, чего нельзя сказать об ее сыне.

Лиза вздохнула вслед за директрисой.

— Ну, пора переходить к сладкому, решила сменить она тему. — А на сладкое всех ждет сюрприз!

— Сюрприз! Сюрприз! — обрадовались старички.

Сюрпризом оказался громадный шоколадный торт и мороженое всех сортов, привезенные сенаторшей. Насытившиеся и отяжелевшие обитатели поползли в свои комнаты слегка перевести дух.

Но в бараке их встретила музыка. Это неугомонная Пэт решила устроить танцы. Она подскочила к Джулиусу и, обняв его за талию, потащила на середину столовой, где он, блаженно улыбаясь, тут же наступил своими босыми ногами сразу на две ее ноги.

— Джулиус, слушай музыку, — закричала она ему на ухо.

Но было очевидно, что если он и слышит музыку, то не ту, под которую хотела танцевать Пэт. Она бросила его и через несколько минут закурилась с другим старичком.

— Посидите со мной, — сказала директриса, показывая Лизе на стоящий рядом стул. — Расскажите, как идут дела.

Лиза заметно устала и обрадовалась возможности немного передохнуть.

— Все прекрасно. Дела-дела. Ужасно много дел. Вечером нас принимает президент. Джон уже в Вашингтоне, а мне еще нужно успеть переодеться и все-такое, — она указательным пальцем обвела вокруг лица. Нужно прилично выглядеть, а я что-то стала уставать в последнее время. Когда мы начинали нашу первую кампанию с Джоном, сил у меня было гораздо больше.

Лиза задумалась на какое-то мгновение. Легкое дуновение приятного воспоминания коснулось её лица.

— Видите это кольцо? — она показала директрисе свое простенькое обручальное кольцо. Джон купил его за 11 долларов. Вот уже двадцать пять лет я не снимаю его с пальца.

«Какая счастливая», — подумала Джуди с легким уколом зависти.

Через полчаса сенаторша покинула заведение, не увидев нашего фейерверка, с треском и шипением разрывавшего душный июльский воздух, и разноцветными звездочками осыпавшегося на крыши домов городка.

За Лизой заехал приодетый Роберт. Он не был в числе приглашенных президентом на праздничный концерт, но вроде бы, собирался навестить друзей в Вашингтоне. Что-то не ладилось между ним и Лизой, хотя они были

подчеркнуто внимательны и вежливы друг с другом. Она прекрасно знала, как сенатор ценит своего секретаря, и у нее не было никаких сомнений в его преданности, но ее отношение к Роберту никогда не было сердечным. Словно она боялась, что тому известны какие-то потаенные стороны ее мужа, о которых она могла только догадываться. А Роберт, в свою очередь, с трудом переносил легкий запах пота, часто доносившийся от Лизы. Она могла запросто открыть ему дверь в халате, из-под которого торчала пижама. Возможно, в этом и была какая-то доверительность с ее стороны, но вид бигуди на голове сенаторши не вызывал у него ничего, кроме отвращения. Ему не хотелось быть посвященным в интимные подробности быта супругов. Он и так знал слишком много.

Сейчас они ехали в Джорджтаун, в дом, который Роберт нашел для них после победы сенатора на первых выборах, когда стало ясно, что им придется подолгу жить в Вашингтоне. Дом был просторен, и как бы само собой разумелось, что там всегда найдется место и для него. Лизе казалось странным, что у Роберта совершенно нет личной жизни. Он был молод и обаятелен, но, кажется, у него не было даже подруги. Ей было совершенно неизвестно чем он, собственно говоря, занимается, когда не работает. Или он работает всегда?

И как бы в подтверждение этой мысли Роберт повернулся к ней и, улыбувшись, сказал:

— А у меня есть для вас с сенатором новость. Знаете Аззи Ковальски? Ну, хозяйина богадельни. Так вот. Он перевел на счет избирательной кампании сенатора 10 тысяч долларов. Старый лис. Всегда платил большие деньги республиканцам, а тут решил подстраховаться. Думаю, это только первый транш.

— А это не похоже на взятку? — засомневалась Лиза. — У него люди умирают один за другим в этом жутком бараке. Как бы не вышел скандал.

— Губернатор отправит туда комиссию, им и решать, в конечном счете, что делать с этим заведением.

— А, знаете, Роберт, там работают прекрасные люди. Мне очень симпатична директриса, а шеф-повар там просто очаровательная. Её зовут Пэт. Такая веселая и жизнерадостная девушка. Я давно хотела спросить, а у вас есть девушка?

«Не иначе, как она собралась знакомить меня с этой Пэт», — подумал Роберт и, помолчав немного дольше, чем требовалось для ответа на такой вопрос, сказал:

— У меня была подруга, но мы разошлись...

Вскоре они въехали в Джорджтаун. Лизе нравились узкие и многолюдные улочки этой части Вашингтона. Здесь не было столичной помпезности и казенного духа, которым, как ей казалось, был пропитан центр города. А вот сенатор не любил больших городов. Он был провинциалом и не скрывал этого. небоскребы и широкие проспекты его угнетали. Белые домики с зелеными лужайками навсегда остались милыми его сердцу. Он любил размеренный и спокойный быт американской провинции с обязательным стрекотанием газонокосилки по субботам, хождением в церковь по воскресеньям и барбекю по праздникам. Вид желтого автобуса, развозящего детей по школам, вызывал у него приступ умиления.

Сенатор был уже в костюме и галстукe, когда Лиза вошла в дом.

— Не целуй, не целуй, — замахала она руками. — Пойду быстренько приму душ, смою вонь этого проклятого барака.

Джону не терпелось рассказать ей главную новость дня.

— Только не долго, — крикнул он ей вслед и пошел на кухню к холодильнику. Холодильник был пуст. Они совершенно запустили этот дом, проводя все последнее время в своем штате.

«Ладно, поем у президента», — решил он.

Лиза-таки провозилась у себя наверху, и теперь они уже опаздывали. Патрик не получил допуск в Белый дом, где охрану гостей взяла на себя служба президента, поэтому сенатор сам вел машину. На повороте к Пенсильвания-авеню выстроилась длинная очередь. Шла проверка документов и приглашений. У дома номер 1600 их проверили еще раз. Пройдя через металлоискатели, они очутились, наконец, на Южной лужайке Белого дома.

Здесь уже собрался весь политический истеблишмент Вашингтона. По замыслу президента республиканцы и демократы должны были продемонстрировать американскому народу свое единение и поддержку правительства в период войны. За президентом неотступно следили внимательные глаза первой леди. Она была готова немедленно прийти ему на помощь в случае необходимости, а главное, проследить за тем, чтобы в его руке не оказалось бокала с крепким напитком. Все присутствующие знали о прошлой слабости президента и с интересом наблюдали за развитием событий. Пока что скандалил один только Барни — черный скотч-терьер первой четы.

Завидев двух громадных псов, с которыми на лужайку явился Тед Кеннеди, он зашелся в громком лае.

— Барни не выносит демократов, — пошутил президент, — и за это ему придется поплатиться. Подхватив собаку на руки, он передал ее кому-то из прислуги. После изгнания терьера мир был восстановлен.

Угощение было традиционным. Вся Америка ела в этот день хот-доги и крылышки, поджаренные на гриле. Праздничное меню дополняла пицца всех сортов. Пиво наливалось прямо из бочек. Крепкие напитки разносили официанты. Голодный Джон отхватил пережаренный хот-дог.

— Так что ты мне хотел рассказать? — вдруг вспомнила Лиза.

— У нас теперь есть самолет, — с набитым ртом ответил сенатор.

— Какой самолет, откуда? Ты бы не мог сначала прожевать свой хот-дог?

— Банни одолжила мне свой джет. Она считает, что я должен начать свою кампанию как можно раньше и посетить каждый — понимаешь? — каждый город штата.

Джон наконец справился с хот-догом и нацелился на куриные ножки.

— Ураааа! — закричала Лиза. — Я хочу выпить за нашу славную Банни!

Она ловко подхватила бокал с шампанским с подноса, подставленного ей услужливым официантом.

— За кого это вы тут пьете? — к ним подошла Типпер Гор¹, давняя приятельница Лизы еще со студенческих лет. Они не виделись после поражения Гора на президентских выборах.

— За нашу Банни, одолжившую Джону свой маленький такой джетик.

— Вау! — сказала Типпи. — Дашь полетать?

¹ Супруга Ала Гора.

— А что, у вас разве нет своего?

— Неа.. Мы тут и ездить перестали, не то что летать.

— Как он? — спросила Лиза, показывая глазами на Ала, мрачно слушавшего прилепившегося к нему сенатора из Вирджинии, — растолстел, по моему, ужасно.

— Уже лучше, — ответила Типпер, отхлебывая из банки с пивом «Хайнекен». — Стал поговаривать, что хочет уйти из политики, может быть, даже насовсем. Какие-то там у него новые идеи появились про экологию и спасение человечества.

— Как это жалко, — разочарованно протянула Лиза. — Джону очень важна поддержка Ала именно сейчас. Может, он еще передумает. А как ты?

— Ой, тоже растолстела, пока сидела с ним дома. Всё это пиво проклятое. Не могу устоять перед «Хайнекен». Помнишь, как мы напивались в колледже? — Теперь Типпер пыталась дотянуться до блюда с хот-догами.

— Пивом? Нееет. Я всегда любила шампанское. Ой, посмотри-ка на Терезу.

Джон Эванс подводил к ним чету Керри. На Терезе Хайнц-Керри¹ было надето длинное вечернее платье темно-красного цвета. Но, завидев Теда Кеннеди, она бросила приятельниц и кинулась в его сторону, утягивая за собой супруга. Виногато улыбаясь, сенатор Керри успел крикнуть: «Мне надо с вами поговорить, Джон».

— Непременно, — прокричал ему в ответ Эванс.

— Ну, быстро скажите мне, на что она похожа в этом своем темно-красном платье, — не удержалась Лиза.

— На бутылку с кетчупом, — разом ответили Типпер и Джон, и расхохотались.

Веселое настроение маленькой компании стало привлекать внимание. К ним присоединились несколько голливудских пар.

— Над кем вы это тут хихикаете? — подошел и Ал Гор, избавившись, наконец, от разговорчивого однопартийца, державшего его буквально за рукав.

— Да вот обсуждаем, стоит ли Джону Эвансу сделать укол ботокса. Помните, как это помогло сенатору Керри на прошлых выборах. Он был так хорош собой, что получил не только место в сенате, но и Терезу Хайнц с ее кетчупом. А спорим, на следующих выборах кетчуп может потянуть против нефти. Надо бы написать роман «Красное и черное». Как уже написан? Кем?

— Так это же француз. Кто же в Америке читает французов после смерти Жакки Кеннеди?

— Мария обожает французские романы, — вставил Шварценеггер.

— Ну, ясное дело, она тоже из рода Кеннеди. А ты сам, поговаривают, собрался в большую политику.

— Слава Рейгана на дает ему покоя, — рассмеялась Мария Шрайвер.

— Тогда ему надо воон туда, — Стив Спилберг указал пальцем в сторону Рамсфельда, громко рассуждающего о чем-то своим гнусавым голосом с губернатором Миннесоты. Кажется, речь шла о танках, которые Рамсфельд отказывался закупать в этом штате. Губернатор заметно нервничал, отказ мог означать только одно — сворачивание производства, потерю рабочих мест и, в конечном счете, проигрыш на следующих выборах.

¹ Супруга сенатора Керри, владелица крупной фирмы «Хайнц», производящей кетчуп.

— Посмотрите на бедняжку Конди, — не унимался Спилберг. — У нее такой вид, словно ей только что запломбировали зуб, а наркоз еще не отошел. И пиццу она ест без всякого удовольствия, как бы не подавилась.

Но Конди Райс, вопреки предсказаниям режиссера, справилась с пиццей и запила ее кока-колой.

— Говорят, — подхватил заметно повеселевший Гор, — у Конди всего лишь маленький такой танкер и там совсем нет места для морских ванн. Не может же она купаться в нефти. Стивен, подарите мисс Райс яхту.

— А зачем ей яхта? Она проводит уикэнды в Техасе на ранчо президента. Интересно, а где это Дик Чейни? Неужели до сих пор прячется в бункере?

В Голливуде продолжали злословить о том, что местонахождение вице-президента слишком долго оставалось засекреченным после атаки 11 сентября.

— Нет уж, мне тут и Рамсфельда хватит, — вставил Гор, — говорят, наши стратеги не ладят друг с другом. Как они собираются выигрывать эту войну, — добавил он с раздражением. Разговор мог принять неприятный оборот.

— Ладно, — прервала Ала уже изрядно поддтая Лиза, — если Джон сделает ботокс, я поставлю себе в грудь импланты и мы утрем нос этим Макмэрфи.

Её слова встретили дружным хохотом. Жена Макмэрфи была дамой высокой и плоской. Поблескивая бриллиантами на жилистой шее, она прислушивалась к доносившемуся смеху из кружка ее врагов.

На лужайке появилась большая группа телевизионщиков. Это означало скорое начало праздничного концерта.

— А вон и твой кумир, — Спилберг толкнул в бок Арнольда Шварценегера, расплывшегося в улыбке, навстречу подходящему к ним президенту. — Не вздумай его поправлять, если он начнет тебя расспрашивать, как там у вас в Австралии.

Хохот покрыл его последние слова. Всем было известно, что президент довольно часто путает в своих выступлениях Австралию с Австрией.

На этот раз обошлось без конфузов, и лужайка постепенно опустела. Гости отправились рассаживаться на приготовленные места. Концерт начался. Обслуживающий персонал занялся уборкой со столов. Повсюду валялись огрызки недоеденных куриных крылышек. Собаки Тедда Кеннеди загадили ухоженный газон Южной лужайки Белого дома. По этому поводу негодовали только черный терьер Барни, выпущенный, наконец, из заточения, и садовник.

Фейерверк в Вашингтоне показывали по национальному телевидению.

Усталые Эвансы возвращались домой.

— Пока ты напивалась с Типпи, я успел-таки переговорить с Керри и Тедом Кеннеди, — начал сенатор. — Керри хочет выставиться на праймериз на следующий год. Ему нужна поддержка людей с Юга. В случае победы я бы мог оказать ему такую услугу. А вот мне нужен сейчас Ал. Ты поговорила с Типпи?

— Боюсь, Ал никуда не годится. Он хочет уйти из политики, — откликнулась Лиза. — Ты обратил внимание на то, что Клинтон так и не появились?

— Черт бы его побрал вместе со всеми его бабами, — Эванс резко затормозил на красный свет. — Кто бы мог подумать, что все так кончится. Какая-то смазливая стажерка — и вся карьера коту под хвост.

— Ты находишь ее смазливой, — удивилась Лиза, — а, по-моему, эта Левински просто толстая корова. — Рассмеявшись, она дотронулась до руки Джона, лежащей на руле. — Поехали. Уже зеленый. Слушай, а не попробовать ли нам Хиллари?

— Надо подумать. Надо хорошенько подумать, — ответил Джон. — Будут ли люди доверять ей. А как ты относишься к обманутым женам?

— Не знаю, — пожал плечами Лиза. — Надеюсь, я никогда не была и не буду в их компании. Она потрогала свое дешевенькое обручальное кольцо, словно это был талисман, способный уберечь ее от всех напастей.

— Ты же знаешь, как я люблю тебя. С нами не может быть ничего подобного. — Донеслись до нее слова мужа. Или только почудились? Нет, она была решительно пьяна.

Джон въехал во двор их дома и помог Лизе выбраться из машины. В доме никого не было.

— Странно, а где же Роберт? Может, мне ему позвонить?

— Слушай, он может раз в жизни остаться ночевать у своей подружки, — зевая, сказала Лиза. И подумала: «или у своего друга».

У Роберта не было друзей в Вашингтоне и уж, во всяком случае, никто его здесь не ждал. Поэтому он решил поставить машину у первого же бара, где найдется место на стоянке.

Ему пришлось долго кружить по городу. Четвертое июля это не Рождество, и все бары были забиты, в основном такими же, как и он, приезжими. Уже где-то почти на окраине, место, наконец, нашлось, и, припарковав машину, он вошел в полутемный бар, где было прохладно и немноглюдно.

Несколько человек оживленно гоняли билиардные шары. На плоском экране телевизора без звука показывали праздничный фейерверк в Вашингтоне. Тихо наигрывала музыка.

— Соду со льдом и что-нибудь поесть, — сказал он бармену.

— Тогда пройдите за столик, — ответил тот, и подал ему меню.

«А может, стоит немного выпить? — подумал Роберт, — все-таки праздник». И уже отходя от стойки, добавил: «Сто грамм Абсолюта со льдом». Бармен молча кивнул.

За столиками сидели молодые люди. Роберт попытался прислушаться к тому, о чем они говорили. Бейсбол. Отпуск на Багамах. Серфинг на Гавайях. Пожары в Калифорнии. Никакой политики. Как приятно. Водка начала действовать. Серфинг на Багамах. Отпуск в Калифорнии.

Пожары в Пенсильвании. Пожары в Пенсильвании. Стоп. Какие пожары? В Пенсильвании его дом. Мама. О, Господи. Роберт достал мобильник, на котором дважды высветился телефон его матери. Чтобы дозвониться домой, ему пришлось выйти на улицу, куда уже спустился душный вечер.

— Бобби, — обрадовано затараторила мама, — а мы тебе звонили два раза поздравить с праздником, ты, наверное, нас не слышал. Да, все тебе передают привет. Мы смотрим концерт из Вашингтона. Видели сенатора Эванса. Такой красавчик. Лин ушла в поход со скаутами. Мэри с мужем покупают дом. А как у тебя дела, мальчик? Твоя комната всегда тебя ждет. Приедешь только на Рождество? Как еще долго ждать... я в порядке. Ну, ты знаешь...

Машины продолжали подъезжать к бару. Какой-то знакомый силуэт показался в дверях. Роберт закончил разговор и проверил все поступавшие звонки. Номера сенатора там не обозначилось.

— Ну, и то слава Богу, — подумал он и вернулся в бар.

Возле стойки, спиной к столику Роберта, стоял Патрик Джордан собственной персоной. Патрик был высок, широкоплеч и смугл. Неудивительно, что возле него уже вертелись ножки в коротенькой юбочке. Роберт решил посмотреть, чем кончится дело. Судя по всему, девушку вежливо отваживали. Когда ножки процокали мимо Роберта, он окликнул Патрика.

— Вот это да! Мистер Пэйдж, какими судьбами в моем любимом баре? — повернулся тот и направился к его столику.

— Присаживайтесь, мистер Джордан, давно мы с вами не виделись, аж со вчерашнего дня, — осклабился Роберт. — Что-то мы сегодня не у дел. Закажем что-нибудь поесть или будем мрачно напиваться?

— Напиваться не будем, зато наедемся, — Патрик подозвал официанта.

Заказали пасту с креветками, пару салатов и «Будвайзер» для Патрика. Роберт решил повторить 100 грамм.

Народу прибавилось. Становилось шумно и очень оживленно.

— Я тут недалеко живу, — продолжал Патрик. — А вот что ты здесь делаешь, дружок? Сенатор тебя бросил, и ты не можешь найти подходящую компанию?

— У меня нету компании, Патрик, и сюда я попал случайно. Крутился по городу, пока не нашлась свободная парковка. Но я так рад, что встретил тебя. — По всей видимости, водка начала действовать сильнее. Роберт почувствовал какую-то легкость в голове. Он словно увидел себя со стороны и с удивлением услышал свой вопрос, на который никогда не решился трезвым:

— Слушай, а за что ты не любишь Джона? Ты его считаешь карьеристом, ну как они все, да? Политиканом-болтуном. А вот увидишь, он станет президентом и это может произойти очень скоро, даже на предстоящих выборах, если он, конечно, соберется выставляться.

Патрик внимательно посмотрел на слегка опьяневшего Роберта.

— Знаешь, много сенаторов я перевидал за пятнадцать лет работы в Секретной службе, и никто из них не стал президентом.

— Эванс не такой. В нем колоссальная потенция. Он умеет разговаривать со всеми, начиная с простых домохозяек и кончая мультимиллионерами. Умеет слушать. Люди верят ему. Это такая особая харизма. Да что я тебе говорю, ты же слышал его сам.

— Ну, если на меня начнет действовать его харизма, я кончен как охранник. Ты что, думаешь, я слышу хоть одно его слово на выступлениях? С ним вообще тяжело работать, особенно когда он нарушает протокол и неожиданно идет на контакт с большой группой людей. Все эти рукопожатия и похлопывания проходят у меня на пределе сил.

— Ой, Патрик, мне всегда было до черта любопытно узнать, о чем это ты думаешь, стоя за спиной сенатора с таким проводочком в ухе.

— Да ни о чем. Если у сенатора встреча с толпой, мы работаем группой, делим толпу на секторы. Каждый сектор закрепляется за определенным агентом, ведущим наблюдение. Я смотрю на лица людей. Лицо человека, решившегося на покушение, напряжено. Он закрыт. Сосредоточен. Он готовит-

ся, понимаешь? Он стремительно идет на сближение с целью и делает резкое движение. — Патрик показывает, какое именно движение делает убийца, выхватывающий пистолет. Моя задача вовремя вычислить его толпе.

— А что, если ему удастся приблизиться к цели, а вы не успеваете его перехватить, — слотнув, спросил Роберт.

— На это тоже есть инструкция, дружок. — Патрик допил свое пиво. — Хуже всего иметь дело со снайпером. Надо все время держать живой щит вокруг цели. Если цель раскрывается хоть на долю секунды, снайпер может ее поразить.

И вдруг Роберт живо представил себе все, что сейчас рассказал ему Патрик. Он словно бы увидел улыбающегося сенатора в толпе кричащих и приветствующих его людей, яркое слепящее солнце, услышал какую-то музыку, кажется, что-то патриотическое, и вдруг всё остановилось и замерло, как во сне. Он увидел лица людей, обернувшихся к нему, и себя, делающего то самое «неоправданное» движение — медленное и неотвратимое...

— Эй, малыш, о чем задумался? Патрик потряс его за плечо. Соскучился по сенатору? Ничего, скоро встретитесь опять.

Роберт очнулся. Ему было приятно прикосновение Патрика.

— Какие у тебя голубые глаза, — вдруг сказал он.

— А? Моя мама ирландка. Это она назвала меня Патриком, а отец — черный, из Мемфиса. Отсюда и странное сочетание — Патрик Джордан.

— Странное? — повторил Роберт. — Мне никогда так не казалось.

Он осторожно коснулся руки Патрика. В ответ на это осторожное прикосновение тот с нежностью дотронулся до щеки Роберта.

— Обещай мне, малыш, что Джона Эванса никогда не будет между нами.

— Обещаю, — ответил Роберт и прижался щекой к руке Патрика.

Самые большие в мире арбузы растут в Арканзасе.

Нелепость этой фразы заставила ее обернуться и, близоруко сощурясь, взглянуть на говорящего.

Им оказался высокий бородатый молодой человек. «Это Билл Клинтон, — сказала подруга, — понятное дело, он из Арканзаса».

Арканзас. Это же глухомань. Захолустье. Провинция. Дыра. Оказываются, там растут не только самые большие в мире арбузы. И говорит он без отвратительного южного акцента. Бородатых студентов в Йеле было предостаточно, но этого патриота Арканзаса она запомнила сразу.

Дальше идет история, которую Клинтон обожает вспоминать. Встреча в библиотеке. Она с очередной книгой по Семейному праву, он — среди друзей. Знакомый ей голос рассуждает уже не об арбузах, а о политической карьере, и начинать свою карьеру он собирается, угадайте где? Ну да. В Арканзасе, и только там.

Вот это уже интересно. В двенадцать лет Хиллари написала, что станет адвокатом, выйдет замуж за сенатора и будет жить в Джорджтауне. Первый пункт почти выполнен.

В шестнадцать лет Билл решает стать президентом США. Сохранилась фотография Джона Кеннеди, пожимающего руку юному Биллу Клинтону, ко-

торый смотрит на президента так, как никогда в жизни не посмотрит ни на одну женщину. Он влюбился в этого человека раз и навсегда. Это его кумир. Он будет подражать ему всю жизнь.

Ну, а сейчас, в библиотеке, он замечает ее неотрывный взгляд и смотрит на нее в ответ. Тогда она подходит к нему и говорит: «Чем пялиться друг на друга, лучше давай познакомимся. Меня зовут Хиллари Родэм».

По его воспоминаниям, он забыл свое имя. В это трудно поверить. Ему всегда нравились яркие вульгарные женщины, чем-то напоминающие его мать, которая не выходила из дому без накладных ресниц и накрашенных ногтей.

Она же была отчаянно некрасива: тощенькая фигурка в брюках, залитые волосы, большие круглые очки с толстыми линзами. Нет. Дело тут было не во внешности. Конечно же, он заметил, с каким вниманием она его изучала и, конечно же, был заинтригован, но скорее всего, она покорила его своим напором, целеустремленностью, энергией и отчаянными неукротимыми амбициями. Ему нужна была такая женщина. Боевой товарищ. Соратник. Боец. К тому же, она оказалась хорошенькой, когда снимала свои очки и закидывала голову, распушив волосы и подставляя губы для поцелуя.

Они повсюду были вместе. Но вот настало время расставания. Учеба закончена. Билл сбривает бороду и отправляется в свой Арканзас. Хиллари в раздумье: не податься ли ей в столицу.

Летом 1972 года там разразился крупнейший скандал в политической жизни Америки. Грянул Уотергейт. Обнаружилась связь между молодыми людьми, пытающимися установить подслушивающие устройства в штабе Демократической партии, и президентом Никсоном. Конгресс срочно создал юридическую комиссию по изучению незаконной деятельности президента и подготовке обоснований для импичмента. Какая удача — оказаться в нужном месте в нужное время. Среди сорока трех юристов, приглашенных работать в эту комиссию, только три женщины, и среди них наша юная выпускница Йелла. Трудовая карьера Хиллари началась именно со скандала, на этот раз не имеющего к ней отношения.

В Конституции США говорится, что основаниями для импичмента могут быть обвинения в измене, коррупции или других преступлениях против государства. В чем же преступления Никсона? Он что-то скрывает. Копать, ребята, надо копать! Комиссия копает два года. Поначалу Никсон обещает Конгрессу даже поддержку и содействие в расследовании, но ситуация резко меняется, когда становится известно о существовании магнитофонных записей разговоров президента и его помощников, относящихся к Уотергейту. «Это что еще за записи такие, немедленно подать их на прослушивание комиссии Конгресса», — требует прокурор Кокс.

«Да кто ты такой, требовать от меня секретные записи моих разговоров... не пойти ли тебе, прокурор, подальше», — примерно так думает президент Никсон и отдает распоряжение генеральному прокурору Ричардсону уволить Кокса. А тот не только не увольняет этого самого Кокса, а уходит в отставку сам. Скандал нарастает. Любопытный Кокс, наконец, уволен новым генеральным прокурором, но негодование Конгресса нет предела. Конгресс голосует за начало процедуры импичмента. Снова требуют пленки, снова по-

стует отказ на основании «привилегии исполнительной власти». Дело доходит до Верховного суда. Такой «привилегии» у исполнительной власти нет. Пленки приходится отдать в распоряжение комиссии, где их сосредоточенно прослушивает Хиллари Родэм. Какая глупость, — думает она, — оставлять улики. Какая недалёковидность и непредусмотрительность. Опрометчивость. Ведь, если бы этих пленок не было, не было бы и никакого импичмента. Какой урок для молодой леди. На всю жизнь.

Никсон не стал дожидаться публичного позора и подал в отставку. На лужайку перед Белым домом за бывшим президентом приземляется вертолёт. Прощальный взмах руки. Не поминайте лихом. В одном из окон Белого дома показывается лицо Дика Чейни. Прощайте, господин Президент. Никто не видит слез молодого человека. Какой урок. На всю жизнь.

А Хиллари остается без работы. Как там дела у Билла? Она едет к нему в Арканзас.

«Я скучаю по тебе. У меня ничего без тебя не получается. Ты мне нужна», — никто и никогда больше не скажет ей таких слов. «А почему бы тебе не поискать работу у нас здесь, в Арканзасе?». В самом деле, почему бы и нет. Год назад Билл провалился на выборах в Конгресс, но теперь с ним Хиллари. Теперь он может всё. Кажется, это самое счастливое время в ее жизни.

Выбор сделан: пока Билл занимается политикой, она займется защитой детей. Да-да-да, — поддерживают ее решение друзья, — это же непаханое поле. Сама она была из благополучной буржуазной семьи. Строгий отец, заботливая мать. Церковь по воскресеньям. Совсем другое детство у Билла. Пьющий отчим, избивающий мать, сводный брат, подсевший на кокаин. За стенами опрятных белых домиков творится много зла, скрытого от глаз посторонних. Она становится адвокатом.

Вы что же, хотите, чтобы дети с двенадцати лет могли судить своих родителей? Да, Ваша честь, если отцы могут насиловать своих двенадцатилетних дочерей, то почему вы лишаете этих девочек права голоса в суде?

У нас не принято выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение, мисс Родэм.

Общество должно защищать детей от родителей, которые не выполняют свои обязанности. Закон одинаков для всех и дети имеют такие же права, как и взрослые. Это мое убеждение, господа.

Она начинает выигрывать процессы. Она разворачивает бурную деятельность по усовершенствованию системы образования в Арканзасе. Она поднимает вопрос о медицинской страховке для всех детей штата.

Нужны новые школы, новые программы обучения, новые талантливые учителя, новые денежные вложения в образование. Нужно изменить наше здравоохранение.

К ее словам начинают внимательно прислушиваться. Появляются первые друзья, с которыми Клинтон будет связан всю жизнь, но и первые враги.

Это кто же такая? Вроде, не здешняя. Говорят, она жена генерального прокурора штата Билла Клинтона. Да что вы? А фамилия у нее Родэм. Это что

же, специально, чтобы никто не знал, что она жена прокурора? Где же это наш Билл нашел такую замухрышку? И потом, муж — генеральный прокурор, а жена — защитник в суде. Нет ли здесь конфликта интересов?

Конечно, лучше заняться частной практикой в какой-нибудь представительной фирме. Не нужно, чтобы Билла, ставшего генеральным прокурором Арканзаса, обвиняли в семейственности. Помог Винс Фостер. Высокий красивый человек, чем-то напоминающий Грегори Пэка¹. Он родом, как и Билл, из городка с замечательным названием — Надежда. Тоже адвокат, прекрасный специалист и верный друг. Он работает в небольшой, но очень престижной адвокатской конторе, куда принимают и Хиллари. Теперь она сидит с Винсом в одном кабинете и ходит с ним на ланчи. Пожалуй, это смело — на юге настоящие леди ходят на ланч со своими, а не чужими мужьями.

А муж Хиллари готовится к выборам в губернаторы Арканзаса. Ему 32 года. Он обещает вывести этот захолустный штат из застоя. Здесь будут проложены новые дороги, открыты доступные всем школы и специальные больницы для неимущего населения. У Билла грандиозные планы и неизбывная энергия. Он играет на саксофоне и умеет нравиться. Его таки выбирают губернатором, правда, всего на два года. Таков закон Арканзаса.

Первый успех честолюбивой пары. Они счастливы. С усердием скаковой лошади молодой губернатор принимается за осуществление своих обещаний. Рядом с ним молодая очкастенькая губернаторша. У них много дел. У них много сил и энергии. Для начала надо переехать в губернаторский дом с охраной. Потом — реформы, реформы. Денег в казне штата нет. Ерунда — увеличим налоги. Стоп.

Так дело не пойдет. Арканзас это вам ни Иллинойс. Здесь люди считают каждый доллар.

Губернатор, вы обещали нам реформы, но ничего не говорили о налогах. Освободите, пожалуйста, особняк для нового избранника народа.

Клинтоньки не отчаиваются. Они молоды, но, между прочим, совсем не богаты. В их планы входит дальнейшее занятие политикой.

— Билл может так много сделать для людей, — говорит она Винсу. Кто бы сомневался. Винс с нежностью смотрит на нее. — Знаешь, дорогая, я давно хотел тебе сказать, только ради Бога не сердись, но мы, южане, люди особенные. Тебе придется с этим считаться, если ты хочешь, чтобы Билл снова стал губернатором. Нужно взять его фамилию, наконец, и потом... не обратиться ли тебе к стилисту. Не подумай ничего такого... ты мне ужасно нравишься в этих очках... и у тебя хорошенькие ножки... но ты не выглядишь как первая леди нашего затрапезного штата. И потом, учти, ты кажешься чересчур либеральной. Здесь таких не любят.

Она всё поняла. К фамилии Родэм добавлена фамилия Клинтон. Хиллари Родэм Клинтон становится гораздо осторожнее в своих высказываниях. Она учится говорить то, что от нее хотят услышать, а не то, что думает. Важный навык для политика. Нужно что-то делать и со своей внешностью. С этих пор никто и никогда не увидит ее в очках. Над ней работают парикмахер и

¹ Известный американский актер.

косметолог. Из нее делают, наконец, настоящую леди. Винс был прав — она хорошенькая. Она может нравиться мужчинам, она может нравиться своему мужу. Тут, правда, не всё в порядке.

Пока только первые подозрения. Может, рождение ребенка изменит ситуацию. Есть какие-то очень смутные намеки на то, что и над этим тоже пришлось «работать». Казалось бы, молодые люди, полные сил и энергии... Так или иначе, старания увенчались успехом, у Клинтонов родилась дочка. В этом же году они вернули себе губернаторский особняк в Литл Роке. На этот раз надолго. На 10 лет.

Кто только не слетается на огонь его окон. Странное дело, вокруг этой молодой либерально настроенной пары, занимающейся активной реформаторской деятельностью в одном из самых отсталых штатов, всё время крутятся какие-то проходимцы.

Дорогая, познакомься, пожалуйста, с замечательными ребятами, — Билл подводит к жене Сюзанну и Джима Макдугал, — они зовут нас прокатиться загород, отдохнуть и заодно посмотреть кое-что интересное. Конечно, поедем. Хиллари всегда рада познакомиться с новыми людьми. Она общительна и обаятельна.

Макдугалы отвозят губернатора с женой на берег горной реки. Чудное место. Лес, горы, река, воздух, дешевая земля. А что, если купить здесь участки и заняться строительством дешевых коттеджей? Сюда потянутся пенсионеры со всей Америки. Рыбалка. Туризм. Охота. Мы построим здесь настоящий райский уголок, который начнет приносить доход уже через пару лет. Какое заманчивое предложение. Через пятнадцать лет оно станет известно под названием «Уайтвотергейт».

Если верить воспоминаниям Хиллари, Билл получал 35 тысяч губернаторских долларов в год, она — и того меньше, правда, жили они на всем готовом, но всё равно — маловато. Нужно было подумать о бюджете увеличившейся семьи, да и политика — увлечение дорогостоящее.

Клинтоны вступают в долю с Макдугалами и вкладывают около 200 тысяч долларов в покупку земли. Эти деньги они занимают в банке под проценты, рассчитывая погасить долг в ближайшие годы. Сделка оформлена в юридической фирме, где продолжают работать Хиллари и друг семьи Винс Фостер.

Но всё складывается не так удачно, как обещал Джим Макдугал. Даже губернатор Арканзаса может разориться, если экономический кризис поражает всю страну. А именно это происходит в годы президентства Картера. Получить кредит в банке на строительство коттеджа можно было только при условии выплаты 20% годовых. Далеко не каждый пенсионер может себе это позволить. Земля куплена, но вот только желающих строить на ней коттеджи не нашлось. Джим Макдугал разворачивает бурную деятельность по спасению своего предприятия. Кажется, Клинтоны не принимают участия в его бесчисленных махинациях. Вот только многие из его сделок оформляются все той же фирмой, где продолжает работать Хиллари. Есть документы, где стоит и ее подпись.

В конце концов, Джим Макдугал сядет в тюрьму, откуда уже не выйдет живым. Через пятнадцать лет появится некий Давид Хайл, заявивший, что губернатор Клинтон, пользуясь своим служебным положением, пригуждал его к выдаче незаконного займа в 300 тысяч долларов для Сюзанны Макдугал. Сумей он это доказать, Билл оказался бы в тюрьме, только кто же поверит Хайлу. Этот человек уже привлекался за клевету и ни один суд не признает его показания правомочными. Он, кстати, тоже умрет в тюрьме. Пятнадцать человек, имеющих отношение к махинациям Макдугала, окажутся в тюрьме. Сядет и Сюзанна. Она откажется давать показания под присягой против Клинтонов. Это будет ей стоить 18 месяцев заключения. Завершая свое президентство, Билл дарует помилование старому верному другу.

Но нельзя же все время только терять деньги. Хиллари больше не верит никаким заманчивым предложениям. Первая леди Арканзаса решает заработать на торгах. Никогда в жизни Хиллари не предавалась азартным играм. Она с легким осуждением посматривает на свекровь, регулярно посещавшую казино. Расчет и выжидание — стратегия Хиллари. Сработает ли это сейчас? Сработало, да еще как. Вложив тысячу долларов в торговлю скотом, через десять месяцев она выходит из дела, заработав сто тысяч долларов.

Что-то мы не замечали у нашей первой леди особого увлечения животноводством, и откуда такие тонкие познания механизма биржи у новичка? Что-то тут не так.

Стали поговаривать о связях Клинтонов с мясным магнатом штата, владеющим известной во всей Америке фирме «Tyson». Скорее всего, была заключена какая-то договоренность между ним и губернатором, а выигранные сто тысяч долларов — вклад в политическую карьеру Билла.

Через пятнадцать лет Клинтонам припомнят и этот выигрыш.

Ребята, вам не нравится, когда мы теряем деньги и вам не нравится, когда мы делаем деньги. Что же нам делать, чтобы вам понравится? — скажет озадаченный Билл.

Хиллари к тому времени уже научится непринужденно общаться с прессой. Положив ногу на ногу и покачивая тufелькой, она даст пресс конференцию в Белом доме. Но я же не делала ничего противозаконного. У вас есть улики? Нет улики. Тогда считайте, что мне просто повезло.

Как мы знаем, везение в деньгах не означает везения в любви. Кажется, уже тогда она поймет, что Билл не создан для моногамной семьи. Когда он стал изменять ей? Да кто его знает. По утверждению Дженнифер Флауэрс, через полтора года после свадьбы. Она еще много чего наговорила и написала, эта Дженнифер Флауэрс. Мы что, поверим этой поблядушке из кабаре? А почему бы и нет?

Стали просачиваться приглушенные донесения охранников. Не всё ладно в губернаторском доме. За его закрытыми дверями первая леди Арканзаса ругается, как сержант на плацу. Часто она бросает в губернатора чем-то тя-

желым. Один раз это была хрустальная ваза, в другой — пепельница. А что губернатор? Уворачивается. Кажется, он умеет вывернуться из любой ситуации. Говорят, что кроме Дженнифер, которую он навещал 4 раза в неделю, если, опять же, ей верить, к особняку поздно ночью, когда губернаторша уже спала, подъезжали машины с девушками для губернатора. Бедная Хиллари, она, слава Богу, ничего про это не знает.

— Винс, я ненавижу его. Мне давно наплевать на его похождения, но он же компрометирует меня. Это унижительно, в конце концов. Весь штат знает, что Билл шляется по девкам. Я слышу какие-то вечные пересуды за своей спиной.

— Дорогая, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Брось его. Мы поженимся и уедем. Ты же прекрасный адвокат. Ты умная. Ты никогда не пропадешь.

Винс Фостер настоящий друг. Верный. Единственный на всю жизнь. Ему никогда не стать президентом.

Даже если Хиллари очень этого захочет.

— Знаешь, у него какие-то странные отношения с матерью. Он рассказывал, что иногда в каком-то экстазе она хватала его и покрывала поцелуями... Ну, я не знаю... нет, не думаю.

В моей семье таких страстей не было никогда.

Вирджиния Клинтон многому научила своего сына. Главный урок он запомнил на всю жизнь:

Всегда отрицай. Никогда не сознавайся. Пусть они потрудятся, доказывая твою вину. Не помогай им в этом. Кажется, так просто, даже примитивно, но это работало, пока не нашелся тот, кто таки серьёзно потрудился над доказательством его вины.

Никогда не лги, — с детства учили Хиллари религиозные родители, — помни, Господь внимательно следит за тобой. Интересно, какую жизнь они готовили своей дочери. Этот урок она усвоила с точностью наоборот.

Из Чикаго к Клинтонам приезжает пастор, хорошо знающий семейство Родэм. Он поможет молодой паре справиться с «возникшими проблемами», о которых открыто пишут в прессе. Скорее всего, с этого времени Хиллари уже только деловой партнер своего мужа. Какой удар по самолюбию этой женщины. Она никогда публично не признается в этом. Они нужны друг другу. Только вдвоем они могут добиться главного — власти. Сначала Билл, потом она. В другом порядке эта цель не достижима.

Мы любящая и заботливая семья, — заявляют они на пресс конференции, — несмотря на все наши проблемы.

Пора двигаться дальше. Биллу удалось преобразовать Арканзас. Говорят, он был хорошим губернатором. Еще говорят, что он не принял ни одного решения, не посоветовавшись с женой. Но Хиллари не только помощник и советчик своему мужу, ее собственная карьера на подъеме: она входит в список ста самых влиятельных юристов Америки, создает организацию «Адвокаты Арканзаса для семьи и детей», возглавляет Фонд по защите детей,

разрабатывает программу снижения смертности новорожденных, постоянно печатается в передовых американских изданиях. К тому же у нее подрастает и своя дочь. Когда только она находит на всё время.

Челси, деточка, ты хочешь, чтобы твой папа стал президентом? Вот и хорошо. Только это очень не просто — стать президентом. Мы с тобой должны ему помочь, ведь ты уже большая девочка.

Но не только Челси помогает папе стать президентом. У Клинтонов много почитателей. Они очень популярны в Демократической партии. У них не только идеи, но и связи — прекрасные отношения с финансовыми донорами, готовыми оплачивать Биллу его предвыборную кампанию. За пятнадцать лет активной деятельности им удается сплотить вокруг себя тесный круг соратников, который будет назван республиканцами «машина Клинтонов».

Кажется, всё готово. Билл Клинтон заявляет о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. Но одно дело быть губернатором провинциального штата и совсем другое — стать президентом. Семейство попадает под пристальное внимание прессы. Люди хотят знать о них как можно больше. Возрастает цена ни интимные подробности из жизни губернатора Арканзаса. И тут снова появляется Дженнифер Флауэрс. Вся в белом, с розой в волосах. Вы не хотите знать размеры полового члена Билла Клинтона? Тогда не мешайте тем, кто хочет знать. Таблоиды с ее откровениями хорошо раскупаются. Она дает интервью на телевидении. Мгновение славы. Думайте обо мне что хотите, улыбается Дженнифер, но я двенадцать лет спала с Биллом и кое-что о нем знаю.

— Блядь! — орет Билл, — чего еще надо этой суке! Я же пристроил ее на работу в Арканзасе, где она получала отличные деньги.

Хиллари, Хиллари, Хиллари, это все неправда, неправда, неправда...

В штабе его кампании паника — пора закрываться. Америка никогда не выберет в президенты прелюбодея.

Господи, помоги мне. Научи, что делать. Земля уходит из-под моих ног. Ты же знаешь, Господи, как много я могу, ведь это же ты, Господи, создал меня такой, так помоги мне, Господи, научи, научи, научи.

Трудно сказать, кто дал Хиллари этот совет, спасший Клинтона от провала уже в начале гонки.

Воскресным вечером собравшаяся у телеэкранов страна была свидетелем отчаянного признания жены в любви к обманывавшему ее мужу.

Я вам не маленькая женушка, стоящая рядом с муженьком и закрывающая глаза на все его грешки. Я здесь, чтобы сказать: «Я люблю этого человека, я уважаю этого человека. Мы прошли нелегкий путь, но мы прошли этот путь вместе. И если вам недостаточно моих слов — не голосуйте за него, и все дела!»

В ту пору такие публичные признания еще неожиданны. Американцам предстояло решить, стоит ли верить Биллу Клинтону. Опросы, проведенные после интервью супругов на национальном телевидении, показали — Клинтон может рассчитывать на доверие избирателей.

Гонки продолжаются. Билл Клинтон выигрывает номинацию Демократической партии и предлагает Гору место в упряжке. Тот соглашается баллотироваться на место вице-президента. Вместе они объезды штат за штатом до победы на выборах, вместе проработают восемь лет после.

Мы никогда не были друзьями, — скажет Билл об Алане, а тот и вовсе отречется от него, когда придет пора баллотироваться в президенты самому. Но это еще впереди.

Авторитет Джорджа Буша после Войны в заливе непререкаем, но у Клинтона есть шанс: Буш не сдержал слова, данного американцам, и повысил налоги. Эта ошибка стоила ему второго срока в Белом доме. Америка избирает 46-летнего демократа Уильяма Джефферсона Клинтона 42-м президентом. Литл Рок провожает своего героя в Вашингтон. Рядом с ним гордая Хиллари. У них всё идет по плану. Билл играет на саксофоне, многие плачут...

Прощайте, зеленые арбузы Арканзаса!

Не все так просто.

В своих мемуарах Хиллари упомянет преподобного отца Хэли, неожиданно умершего от инфаркта и не успевшего отправить письмо Биллу. Это недописанное письмо президент Клинтон получит в День присяги.

«С вашей победой, — пишет Хэли, — в Америку придет весна, которую мы так жаждали. Вы возродили в людях надежду».

Сравнение с весной не случайно. Чередование властей для американцев так же естественно, как чередование времен года. Как не восхититься мудростью отцов-основателей, заложивших в фундамент государства священный принцип сменяемости власти. Двенадцать лет республиканского правления страной закончились.

Клинтонеры полны новых идей. Они приводят свою команду в Белый дом. Это тоже молодые и прекрасно образованные люди. Они помогли Биллу прийти к власти, они же разделят ответственность управления страной. Вашингтон встретит выходцев из Арканзаса неприветливо. Не всем легко достанется опыт политической борьбы. Многих, включая Хиллари, ждут разочарования. Но это еще впереди.

Ну, а пока Барбара Буш показывает Хиллари комнаты Белого дома. Президенты приходят и уходят, персонал остается. Сто человек обслуживают резиденцию. Они свято хранят традиции и соблюдают ритуал.

— Мадам, как прикажете вас называть? — «миссис Клинтон» или «миссис Родэм Клинтон»?

— Зовите меня «Хиллари», — улыбается она в ответ.

— Офицер, что вы тут делаете? — у дверей спальни президента торчит охранник. — А что, если у президента ночью случится инфаркт?

— Глупости. Президенту сорок шесть лет и он в прекрасной физической форме. У него не будет инфаркта, уверяю вас. Пожалуйста, перенесите свой пост на первый этаж.

Ну и штучка, эта первая леди.

У нее свой офис и своя команда. Многие из Арканзаса. Кажется, она не собирается заниматься только чаепитиями с кексами. Не случайно в ходе кампании Билл частенько шутил: «Платя за одного, вы получаете двух Клинтон».

— Как ты думаешь, Винс, могу я рассчитывать на место главы администрации президента?

— Не думаю, дорогая, на это плохо посмотрят. К сожалению, ты не можешь получить ни одной официальной должности у Билла. Но у первой леди и так много обязанностей. У тебя просто не будет время заниматься чем-либо еще.

— Меня совершенно не интересуют все эти церемонии с приседаниями. Дело, мне нужно настоящее дело.

И оно нашлось для Хиллари.

Тридцать семь миллионов американцев не имеют медицинской страховки. И эти люди не в состоянии оплатить стоимость врачебных услуг из своего кармана. Заболеть для них означает разориться. Если преступник имеет право на адвоката, почему рядовой американец не имеет право на доктора?

Клинтон был далеко не первым президентом, пытающимся изменить сложившийся порядок вещей. Каждый из его предшественников, осмеливающийся заикнуться о всеобщем медицинском обслуживании, объявлялся социалистом и терпел поражение в борьбе с ведущими страховыми компаниями, лоббирующими все попытки реформирования.

42-ой президент хочет подготовить медицинскую реформу за сто дней. Неизлечимый оптимист, он уже забыл свой первый провал в Арканзасе.

— Понадобится, по крайней мере, лет пять на то, чтобы убедить республиканцев только начать рассматривать твои предложения, — говорят ему.

— Но мы же можем попробовать... Да? Хиллари?

— Я, думаю, мы должны попробовать...

— Вот и отлично. Ты этим и займешься.

— Ну что ж, мы создадим группу экспертов и начнем с изучения опыта других стран. Билл, мне нужна твоя помощь в разработке политической стратегии, иначе республиканцы завалят все наши попытки еще на подходе к Конгрессу.

Хиллари разворачивает бурную деятельность по подготовке реформы, встречаясь с конгрессменами, врачами и представителями страховых компаний. Еще ничего не разработано, но в прессе уже началась кампания против реформы. По национальному телевидению без конца крутится реклама: мирное американское семейство пытается разобраться в сложностях предстоящей реформы. «Как ни смотри, всё одно и то же — государство хочет навязать нам свой выбор», — разочарованно говорит отец семейства.

В это же самое время Билл начинает свою битву в Конгрессе за бюджет. В наследство от Буша и Войны в заливе он получил дефицит и застой в экономике.

Интересная вещь — демократия. Партийная дисциплина обязывает республиканцев проваливать все реформы президента демократа, а демократов — проваливать реформы республиканцев. Это легко делается, если оппозиционная партия имеет значительное преимущество в Конгрессе, но лавирование и компромисс может принести успех в случае, если такого перевеса нет. Билл учится навыкам большой политической игры. Ему удастся провести в Конгрессе свой бюджет без единого голоса от республиканской партии. Это и понятно, президент Клинтон проводит закон об увеличении налогов для 1,2% богатейших налогоплательщиков, зато пятнадцать миллионов семей получают послабление. Республиканцы ответят бесконечными нападками, впрочем, это тоже входит в правила политической борьбы.

— Хиллари, мне не нравится то, что происходит в «Травел».

— А что такое, милый? — она снимает очки и смотрит с удивлением на Винса.

— Этот человек, Билли Дэйл, тридцать лет проработал в Белом доме и имеет благодарности от шести президентов. Кстати, он голосовал за твоего мужа.

— Так и что? Поэтому его нельзя уволить? У него там обнаружили какие-то финансовые нарушения... я не очень, знаешь ли, в курсе.

Это неправда. Она очень даже в курсе того, что там происходит, потому что на смену уволенных сотрудников «Травел-офиса» приходят люди Клинтон, а директором становится племянница Билла. Понятное дело, это право президента — привести в Белый дом свою команду. Может быть, никто бы и не удивился, если бы Билли Дэйла с почетом отправили на пенсию, но его дело принимает совсем другой оборот.

«Травел-офис» Белого дома обеспечивал билеты и гостиницы для представителей прессы, сопровождающих президента в его многочисленных поездках. У журналистов и сотрудников офиса сложились прекрасные отношения, поэтому разгон всего отдела вызывает в Вашингтоне шок. Назревает «Травелгейт2. В ответ на появившиеся в газетах статьи, обвинявшие Клинтон в противозаконных действиях, администрация президента передает дело для расследования в ФБР. Проверки находят-таки финансовые нарушения в деятельности офиса. Вместо почетной пенсии его директор, Билли Дейл, может оказаться в тюрьме.

Хиллари считает, что на этом можно поставить точку и «заняться более важными делами», но не тут-то было. Суд не только оправдывает Дейла и всех сотрудников отдела, но и признает их увольнение незаконным. Теперь уже люди Клинтон должны уйти из «Травела».

— Зачем ей понадобилось уничтожить меня, — в недоумении спрашивает старик.

На этот вопрос Винс Фостер, оказавшийся в центре скандала, ответить не может.

«Странное дело, в Арканзасе я считался хорошим человеком, — пишет он в своей предсмертной записке, — что же изменилось в Вашингтоне?»

Всё очень просто — в Вашингтоне он стал частью «машины Клинтонов». С одной стороны, Фостер искренне привязан к ним. Это его друзья и единомышленники. Он гордится их успехами. С другой стороны, история разгона «Травел-офиса» больно отзывается в его сердце.

Он не уверен в непричастности Хиллари к этому скандалу.

Уничтожить человека здесь считается спортом, — продолжит Винс в своей записке. Это относится не только к старику Дейлу, это относится и к нему самому.

Хиллари была в Литл Роке, когда Винс Фостер застрелился. В своих мемуарах она посвятит ему несколько страниц. Конечно, он был очень ей дорог. Кто-то даже утверждает, что они были любовниками. Как же так получилось, что никто не заметил его душевной агонии, — снова и снова спрашивает она. Трудно поверить, но говорят, что в этот день он был спокоен. Умиротворен. Кому-то даже показался счастливым...

— Миссис Клинтон, будьте любезны, объясните коллегии присяжных, с какой целью вы неоднократно звонили директору вашей администрации Маргарет Вильямс после того как вам стало известно о смерти мистера Фостера?

— Мой близкий друг покончил с собой, сэр! Я просто не могла прийти в себя от полученной новости. Все были в шоке, включая Маргарет, которая хорошо знала Винса.

Шок, однако, не помешал Маргарет Вильямс отправиться в офис Фостера и вынести оттуда ящик с документами еще до приезда полиции.

— Миссис Клинтон, с какой целью вы неоднократно звонили Патси Томасон, директору Административного офиса Белого дома после того как вам стало известно о смерти мистера Фостера?

— Я не помню подробностей наших разговоров, но уверена, что мы обсуждали преждевременную смерть мистера Фостера.

По показаниям трех свидетелей, Патси Томасон вызвала специальную группу, открывшую для нее сейф Фостера. Документы были вынесены до того как прибыла полиция.

— Миссис Клинтон, коллегия желает ознакомиться с документами, извлеченными из сейфа Фостера до прибытия полиции. Согласно показаниям Маргарет Вильямс, вы лично получили эти бумаги из ее рук.

— Ваша честь, у меня нет этих документов. Винс Фостер был моим официальным адвокатом и представителем. Естественно, после его смерти все относящиеся ко мне документы были переданы моему новому адвокату. Вы знаете, что это легальная практика.

— Миссис Клинтон, нам известно, что часть документов, извлеченных из офиса Фостера до прибытия туда полиции, относилась к так называемой сделке «Уайтвотер». Не могли бы вы представить коллегии эти документы для ознакомления.

— Я не могу представить запрашиваемые документы, ваша честь. Они потеряны...

Как тут не вспомнить пленки с записями разговоров президента Никсона. Если бы эти пленки потерялись, история сложилась бы по-другому.

К слову сказать, документы нашлись через два года в одной из дальних кладовок апартаментов первой леди. На каждой странице были обнаружены отпечатки пальцев Хиллари, но это было уже в разгаре другого скандала.

— Ну что они привязались к нам, Билл? Им что, больше нечего делать? Мне кажется, сама идея «расследования преступлений Клинтонов» доводит их до оргазма.

— Спокойно, Хиллари. У них нет главного козыря: мы не нажились, мы потеряли деньги, вложившись в «Уайтвотер». Пусть они попробуют доказать нашу вину.

И в самом деле, доказать вину Клинтонов пробовали многие и много раз. Хиллари входит-таки в американскую историю, но не как великий реформатор, а как первая леди, попавшая под криминальное расследование. Она вынуждена давать показания комиссии Сената и Коллегии присяжных. Вся страна может наблюдать по телевидению этот поединок. Хиллари Родэм Клинтон стойко держит оборону. Она забыла многие детали сделки «Уайтвотер». Что вы хотите, это было почти пятнадцать лет назад. К тому же, они просто жертвы бесконечных махинаций Макдугала. У Коллегии нет никаких оснований считать Клинтонов причастными к этим махинациям. У всей страны есть основания считать, что первая леди что-то скрывает. Дело было закрыто только в 2000 году, закончившись, практически, ничем.

«Уайтвотергейт» еще в разгаре, но уже следует «Трупергейт»¹. Двое бывших охранников бывшего губернатора Арканзаса Билла Клинтона опубликовали воспоминания о том, как доставляли ему девочек, причем с ведома его жены.

— Да это же настоящая война, Хиллари. Не верь, не верь, не верь им, дорогая. Они просто хотят нас уничтожить.

Сколько еще унижений придется вынести этой женщине. Ну, а пока она с честью выходит и из этой ситуации. Пусть американский народ решает, лгут или говорят правду двое бывших охранников, — заявляет она в своем интервью на телевидении.

И американский народ решает. Президенту Клинтону удалось развернуть экономику, которая впервые за многие годы наращивает темпы развития. Безработица бьет рекордно низкие цифры. Рейтинг Клинтона чрезвычайно высок, несмотря на все обвинения.

Война в разгаре. На сцене военных действий появляется Пола Джонс. Она подает в суд на Билла Клинтона, обвиняя его в сексуальных домогательствах и требуя семьсот тысяч долларов компенсации за нанесенный ей моральный ущерб.

¹ От английского слова «trooper» — здесь в значении «охранник».

Ну и вкус у нашего президента. Дженнифер Флауэрс была, по крайней мере, красоткой, чего не скажешь о Поле. Может, ей нужны деньги от Билла на пластическую операцию?

Хиллари не до смеха. Одно дело статейки в желтой прессе, совсем другое дело — суд.

Разве можно судить президента, когда он при исполнении своих обязанностей?

Верховный суд считает, что можно. Целая группа адвокатов работает на Клинтона. Главное — не доводить дело до суда. Через пару лет Пола Джонс получит свои деньги. Через год никто о ней уже не вспомнит.

«Когда у меня депрессия — я работаю сутками» — Хиллари часто вспоминает эти слова Элеоноры Рузвельт.

— Билл, я поеду по стране. Мне осточертел Вашингтон с вечными обвинениями и разборками. Ну, должны же люди понять, наконец, что моя реформа для них, а не для нас с тобой. Они просто не понимают своих выгод. Им нужно объяснить, наглядно показать и убедить. Я знаю, это трудно, но мне всегда удавались трудные задачи.

Поздно. Война проиграна. Уже в первом штате ее встречают с плакатами «Мы не хотим социализма, мы не хотим твоей реформы, Хиллари».

Господи, «социализм» для них страшное слово. Им можно пугать детей и малограмотных кретинов. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них знал, что это такое на самом деле. Похоже, две вещи невозможны в Америке — всеобщее медицинское обслуживание и запрет на продажу оружия.

В каждом штате её автобус окружают обозленные люди. Охранники работают на пределе человеческих сил. Они настоятельно рекомендуют первой леди не снимать пуленепробиваемый жилет. Разговора не получается. Страховые медицинские компании победили и на этот раз. Им удалось убедить людей в том, что реформа Хиллари приведет страну к социализму. Ничего не получилось и в Конгрессе. Республиканцы занимают там большинство мест после промежуточных выборов. Для Клинтонов наступают тяжелые времена. Если Биллу уже приходилось переживать неудачи, то для Хиллари это первый провал. Двадцать месяцев напряженной работы и нулевой результат.

Как работать с людьми, которые тебя ненавидят? Новый спикер палаты Нют Гингрич за глаза называет первую леди «сукой».

— Знаете, я не собираюсь с ним целоваться. И я не миллион баксов, чтобы всем нравится.

Биллу нужно серьёзно продумать свою новую тактику. Возможно, многим нашим соратникам придется уйти.

Кажется, это называется «развернуться на пятачке». «Машина Клинтонов» срочно перестраивается. Её покидают наиболее либеральные, на их смену приходят более умеренные люди, готовые к компромиссу с республиканцами.

Удары продолжают сыпаться на Билла. В один и тот же день он узнаёт о смерти матери и о назначении специального прокурора Старра для расследования его деятельности. Старр будет копать методично и долго, до тех пор, пока судьба не подбросит ему, наконец, долгожданный подарок.

Разочарования, разочарования, разочарования.

Слава Богу, есть еще другие радости в жизни. Подрастает Челси. Родители строго охраняют ее от назойливого внимания прессы. Папа объясняет задачки по математике. Когда его нет дома, она отправляет ему вопросы факсом. Он посылает ей решения, где бы он ни был, иногда с борта президентского самолета.

Похоже, в Белом доме больше некому объяснить девочке задачку.

Хиллари решает покинуть на время Вашингтон. Она отправляется с миссией доброй воли в страны Восточной Азии. Встречается с президентами и королями, выступает перед простыми людьми. Здесь она популярна. К её словам внимательно прислушиваются. Доброжелательность и уважение людей возвращают ей силы.

Надо сказать, американский президент и первая леди хорошо известны за границей. Их восторженно принимают в Европе. В Праге даже выпустили пластинку саксофониста Клинтона, исполняющего джазовые вариации.

На саммите в Южной Америке Хиллари уводят со встречи, как только там появляется Фидель Кастро. Обмен любезностями с диктаторами не входит в протокол жены американского президента. Ей и так будут долго напоминать демонстративные объятия с Сухой Арафат.

Ну, а дома разворачиваются бесконечные баталии с Конгрессом и Гингричем¹.

Скорее всего, Ньют не знает элементарных правил математики. Если отменить налоги, да еще и самым состоятельным налогоплательщикам, то как они собираются залатывать дыры в бюджете?

Уважаемые конгрессмены, дамы и господа, мы не можем сократить расходы на государственные программы для самых бедных. Американский народ никогда не поддержит ваши предложения. Называйте это как вам угодно, да хоть социализмом, но президент имеет право наложить вето на решения Конгресса, если с ними не согласен. И Билл активно пользуется этим своим правом. Бюджет не принят. У правительства нет денег на выплаты своим сотрудникам. Государственные служащие не выходят на работу шесть дней. Такого в Америке еще не было. Президент ставит Конгресс в тупиковую ситуацию. Теперь уже Гингрич вынужден уступить. Так рождаются компромиссы. Так делают дела в Вашингтоне. Несмотря на старания республиканцев, президент популярен. Снова и снова его действия одобряют большинство американцев.

— Нет, ты только послушай, Гингрич предлагает забирать в детские дома детей бедных и малолетних мамаш, а я так считаю, что сначала этим ма-

¹Спикер Палаты Представителей Конгресса США

машам нужно помочь встать на ноги, получить образование и найти достойную работу. Бедность не может быть помехой материнству. У нас с ним совершенно разные взгляды на роль государства в воспитании детей.

— А почему бы тебе, дорогая, не написать об этом книгу? И через год такая книга написана.

Она называется «Всем миром».

Между тем, Биллу подходит время переизбираться на второй срок. Чикаго восторженно принимает первую леди. Это ее родной город. Здесь открывается съезд Демократической партии и здесь Хиллари Родэм Клинтон произносит свою блистательную речь, которую транслируют по национальному телевидению. Никогда еще у нее не было такой громадной аудитории.

Никогда до этого она не была так взволнована и счастлива.

Я часто спрашиваю себя, каким будет мир, когда Челси будет столько же лет, сколько мне сейчас.

Одно я знаю наверняка — он будет отличаться от сегодняшнего и, конечно же, как все матери, я хочу подготовить своего ребенка к жизни в этом новом мире. Что же нужно Челси? Что нужно всем нашим детям сейчас, чтобы достойно жить в неизведанном будущем? Им нужны: любящая семья, умные учителя, мудрые наставники, заботливые врачи и пожарные, политические лидеры и бизнесмены. Одним словом — весь мир. Я думаю, все мы нужны нашим детям. Я думаю, им нужен Президент.

Им нужен такой президент, который верит не только в способности своего ребенка, но и всех детей, который верит не только в ценности своей семьи, но и всех американских семей. Им нужен — Билл Клинтон!

Зал отвечает длительной овацией. Это триумф Хиллари. Она признанный лидер своей партии.

Билл с легкостью проходит на второй срок. Республиканский кандидат ему не соперник.

На традиционном обеде в Капитолии подростку Челси посадили рядом с сенатором-республиканцем от Южной Каролины девятилетним Стромом Турмондом. Стром принимал участие в высадке союзников в Нормандии в 44-м году и был известным ценителем женской красоты. Последние четверо его детей родились, когда ему было за семьдесят.

— Знаешь, почему я так долго живу? — спросил он зардевшуюся Челси, — отжимания! Надо отжиматься каждый день! И есть надо шесть раз в день, но маленькими порциями.

Вежливая Челси кивнула и принялась за свой салат.

— А ты почти такая же хорошенькая, как твоя матушка, — не унимался старый ловелас.

После очередной порции спиртного Стром снова принялся за Челси:

— Ты и впрямь хорошенькая, как твоя мама. Твоя мама уж очень хорошенькая.

К тому времени, когда на стол стали подавать десерт, сенатор выдал заключительный аккорд:

— Нет, пожалуй, ты даже покрасивее своей матушки, и будь я так лет на семьдесят помоложе, я бы за тобой приударил”.

Пока Челси не знала, куда деваться от назойливого старика, Хиллари скучала в соседстве с Ньютоном. Кто-то хорошо подшутил над ними, посадив их рядом. Гингрич был мрачен. Теперь уже он попал под расследование комиссии Конгресса за неуплату налогов. Обед прошел в молчании.

А между тем независимый прокурор Кен Старр продолжает расследование. Какое расследование? Да кто его знает. Все уже сбились со счета.

На последнем допросе Хиллари заметила плохо скрываемое торжество на лице прокурора.

К чему бы это? Вроде бы всё те же вопросы со всё теми же ответами.

Очень скоро ситуация прояснилась.

— Хиллари, дорогая, только не волнуйся, ладно?.. Я должен предупредить тебя кое о чем...

Билл держит ее руку и виновато смотрит в глаза. Господи, знакомый взгляд, знакомые вкрадчивые интонации. Неужели опять?

Да. История Полы Джонс неприятная, но старая. Поди докажи, что там было пятнадцать лет назад. История Моника Левински началась сравнительно недавно и грозит гораздо большими неприятностями. Так что там было?

Ничего не было. Ничего не было. Ничего не было.

У меня не было сексуальных отношений с мисс Левински.

Мисс Левински придерживается другого мнения. Она часами рассказывает по телефону своей подруге о любви к американскому президенту.

— Когда это началось? — спрашивает очень заинтересованная подруга.

— Ой, знаешь, в первый раз я увидела его на лужайке Белого дома, когда он садился в вертолёт. Ну, церемония прощания... все отдают ему честь, а он стройный, высокий, виски с сединами, шикарный такой мужчина. Значительный. Совершенно в моем вкусе. Ну, думаю, как же мне подобрать поближе. И, представляешь, дорогая, такой случай подвернулся. Помнишь, правительство не работало шесть дней? Да-да-да. Вот я и напросилась к его секретарше. А когда привезли пиццу на ланч, пошла к нему в кабинет с подносом. Он приветливо со мной заговорил. Как тебя зовут, туда-сюда. А сам смотрит на меня, ну, знаешь, как мужчины могут смотреть. Я тоже не промах — раз и юбку поднимаю... Посмотри, мол, что тут у меня для тебя есть. Ну что он... что он... засмеялся, подошел ко мне и ... поцеловал.

Подруга внимательно и сочувственно выслушивает телефонные излияния бывшей практикантки Белого дома и записывает их на магнитофон. За чем? Да кто ее знает.

Может, она ненавидит подругу, или Клинтона, или весь мир. Так или иначе, прокурор Старр получает сто часов болтовни доверчивой идиотки. Теперь надо понять, что с этим делать.

Конечно, это шанс. Ну, а где, собственно, преступление? Копать, надо копать. На Билла всегда найдется что-нибудь по этому делу. Нашлось и на этот раз.

Ты должна всё отрицать, даже если тебя вынудят давать показания под присягой. Запомни это, детка, раз и навсегда, — учит он Монику.

Мисс Левински была арестована, когда пришла на встречу с той самой подружкой. Ланч ей предложили в другом месте, но в обмен на признание. Признание в том, что президент учил ее лгать под присягой. Есть, оказывается, и такое преступление, за которое дают 25 лет.

Мисс Левински допрашивали одиннадцать часов. В обмен на судебную неприкосновенность, она согласилась дать показания на Билла Клинтона коллегии присяжных.

Теперь Конгресс и вся Америка, да что там Америка, весь мир должны были получить доказательства вины президента.

Ничего не понимаю, а что, до этого наши президенты не изменяли своим женам? Да сколько угодно. Так в чем дело? Видать, раньше у государства не было четырёх миллионов, чтобы платить независимым прокурорам за копание в грязном белье.

Президент уверен, что одних показаний «этой женщины» недостаточно. Он знает, что нужно делать и на этот раз. Отрицать. Отрицать даже под присягой.

Он не знает, что Моника Левински хранит доказательство их связи. Знаменитое синие платье со следами спермы президента пятилетней давности. Дело сделано. Анализ ДНК подтверждает преступление. По телевидению крупным планом показывают лицо 42-го президента, отвечающего на вопросы коллегии присяжных. Он не помнит, за какие места он трогал мисс Монику Левински и куда вставлял ей сигару.

Слушайте, а сигара случайно не кубинская? Жаль. А то можно было бы пришить и контрабанду.

Президент с такой плохой памятью не может оставаться на государственном посту. К тому же, весь мир знает, он лгал под присягой. Начинается процесс импичмента.

Что сейчас хочет Хиллари? Ослепнуть и оглохнуть. Нельзя. Нужно продумать свой следующий шаг. Кажется, с этого момента она будет думать только о себе. Скорее всего, развод ей помешает. Пусть она будет «прощающей» Хиллари. Такая Хиллари более привлекательна для избирателей, чем Хиллари «ненавидящая». К тому же, она не может отдать президента-демократа на растерзание республиканцам, даже если этот президент и Билл.

«Машина Клинтон» дает сбой. Многие верят, что с президентом покончено. Кто-то начинает публично отрекаться. Республиканцы устраивают настоящий шабаш. Телевидение и радио день и ночь обсуждают скандал в Белом доме. Монику Левински знает весь мир. Билл заявляет, что добровольно не уйдет.

Второй раз в своей жизни Хиллари приходится иметь дело с импичментом президента. Это значит — у нее есть бесценный опыт. На Клинтон» ра-

ботает большая команда адвокатов. Им нужно доказать, что в его действиях не было: государственной измены — очевидно, взяточничества (галстук, подаренный Моникой — не в счет), коррупция — никогда не была доказана Старром. О каких преступлениях идет речь? Разве он лгал под присягой? Ну, тогда мы должны пускаться в длительные рассуждения о том, является ли оральный секс сексом в правовом понимании. Пенисом-то он туда не проникал. Хиллари, вы уверены, что вам надо присутствовать при нашей работе? Она уверена, что президент должен извиниться перед американским народом. Американский народ получает от своего президента такое извинение.

Интересно, что даже в разгаре этого скандала, его рейтинг остаётся высоким.

Между тем, нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент. Теперь дело идет в Сенат. Там нужно две трети голосов чтобы отстранить 42-го президента от должности.

Хиллари с напряжением следит за дебатами по телевидению. Ей напоминает речь молодого сенатора от южного штата Джона Эванса: «Мне глубоко отвратительны поступки мужа и отца Билла Клинтона. Они совершенно аморальны. Но в действиях президента Клинтона я не вижу оснований ни для уголовного наказания, ни для импичмента».

Эванс — адвокат с большим стажем работы в суде. Его речь аргументирована и эмоциональна.

Демократы отвечают овациями. Республиканцы — глухим рокотом неодобрения. И всё-таки им не удается набрать нужное количество голосов для импичмента. Президентство Билла Клинтона спасено.

Хиллари продолжит свое восхождение в политике. Через год она и сама станет сенатором от штата Нью-Йорк. И совсем скоро их пути с Джоном Эвансом пересекутся.

После Дня независимости Вашингтон опустел. Как и опасался сенатор, скандал с «Халлибертон» в столице так и не разразился: Чейни удалось отбить первую атаку. Расследование отложили до осени. Но Эвансу нельзя было медлить. Он не мог позволить себе не использовать такой шанс в борьбе за второй срок в Сенате. К тому же, Макмэрфи продолжал свои нападки, разъезжая по штату, и не пропуская ни одного Макдональдса на своем пути.

— Ну и что изменилось в вашей жизни к лучшему оттого, что еще один адвокат протирает штаны в Сенате? — строго вопрошал он людей, стоящих в очереди за гамбургерами. — Он что, создал рабочие места в нашем штате? А может, выступил за снижение налогов? Ах, он заставил докторов выплачивать компенсацию за медицинские ошибки! А вы знаете, почему ни с того ни с сего подскочила цена вашей страховки? Да потому, что они за ваш же счет покрывают компенсации пострадавшим больным. Неплохо устроились, да? Надо бы еще проверить, не получает ли наш защитник, — тут Макмэрфи соединял указательный и безымянный пальцы на обеих руках в виде кавычек, — свою долю от всех этих компенсаций, — намекая на продажность сенатора.

И так далее все в том же духе. Привыкшие к политикам всей мастей, простодушные жители слушали его внимательно, но без особого энтузиазма. До выборов было еще больше года, и многое могло измениться за это время, но и Макмэрфи, судя по всему, приготовился к длительному забегу. На его

плешивой голове вдруг появилась ковбойская шляпа, которую стали замечать на всех ярмарках и местных праздниках. Выяснилось, что он не так уж плохо играет на банджо, что добавило ему популярности гораздо больше всех обвинительных опусов против выскочек-демократов. Эванс трясло от ярости, когда местное телевидение показывало посещения Клиффом Макмэрфи воскресных служб в церквях, где большинство прихожан были чернокожими.

— Смотри-ка, этот плешивый ку-клукс-клановец обнимается с реверендом¹ Джонсоном, — возмущался сенатор. — Они что там все, с ума походили?

При этом он и сам прекрасно понимал, что «там» никто с ума не сошел, а скорее совсем даже наоборот, начал хладнокровную игру против него. Поэтому-то, прокатившаяся с новой силой по штату волна против геев и абортов тоже была не случайной. Пожалуй, самыми противными были намеки на бездетность жены сенатора, которую втихомолку объясняли сделанным в ранней молодости абортom. Хотя было понятно, откуда ползут эти слухи, уличить Макмэрфи в их распространении было невозможно.

Сенатору пришлось забыть об отпуске и начать предвыборную кампанию гораздо раньше намеченного срока. Лиза с двумя помощницами отправилась агитировать за мужа в отдаленные городишки, в то время как он сам остался в столице штата. Нужно было подготовить серию телевизионных роликов, направленную против коррупционера Макмэрфи, но у сенатора не было веских доказательств его участия в сделках «Халлибертон» с правительством. К тому же, спонсоры не спешили вливать в его кампанию новые средства.

— Черт бы их всех побрал, — не удержался Эванс в разговоре с Лизой по телефону.

— Послушай, я вот что думаю, — осторожно начала она. — А не заручиться ли тебе поддержкой Хиллари. Может, она вспомнит, что во время всех их разборок ты выступал в Сенате за Билла. Все равно больше рассчитывать не на кого. Ал, судя по всему, сошел с круга. Остальные разъехались до осени.

— Надо подумать, — согласился сенатор.

Почему-то всегда получалась, что самые хорошие идеи приходили в голову не ему, а его жене, но на этот раз он не был уверен в том, что поддержка сенатора от Нью-Йорка поможет ему здесь, на юге. Хиллари была человеком сложным, многие ненавидели ее, но в тоже время она вызывала любовь, доходящую до обожания, у других.

— Вроде бы сейчас ее политическая карьера на подъеме, может, стоит рискнуть и позвонить ей, — рассуждал Эванс, но все как-то откладывал звонок, пытаясь набрать нужные деньги своими силами.

Зато Джуди своими силами так и не смогла найти «Одинокую звезду». Два воскресных дня она потратила на игру в бинго¹ со старичками в клубе встреч при нашей церкви. Кто-то из них вспомнил, что это название штата Техас, несколько пожилых дам видели фильм об одиноком шерифе, и никто не слышал про такой дом для престарелых.

¹ Реверенд – баптистский пастор в негритянских церквях.

¹ Настольная игра типа лото. Очень популярна среди пожилых американцев.

«Ну все. Облом, — с досадой думала Джуди. — Куда же запропастилась Эмми? Может, ей удалось что-нибудь разузнать?»

Эмми объявилась только в конце июля.

— Ой, — затараторила она по телефону. — Сейчас я пошлю вам кое-что по факсу. Мне пришлось посидеть немного в библиотеке и даже почитать в архив, потому что в интернете нет никакой интересной для нас информации.

— Да. Тупик, — кивнула директриса, рассматривая присланный Эмми листок бумаги. — Я не понимаю, Эмми, кто этот мистер Дорнер? Что-то не могу припомнить этого господина.

— Да это же босс Алекса Флинта и его партнер по гольфу. Помните, сенатор упоминал его на своем мастер-классе? Мистер Дорнер отвез вашего Ромео лечиться от алкоголизма в госпиталь. И, скорее всего, не мог себе этого простить всю оставшуюся жизнь.

— Но здесь написано, что он умер почти десять лет назад. Прямо все концы уходят в воду, — вздохнула Джуди.

— А там еще кое-что написано. Смотрите, он был членом NRA². Само по себе это еще ни о чем нам не говорит. Ну, было у него какое-то оружие и любил он пострелять, а может, и поохотиться не знаю там на кого. И так бы это прошло мною незамеченным, если бы я не наткнулась на объявления некоей организации под названием «Созвездие Щита», члены которой должны были обязательно состоять и в стрелковой ассоциации. А вот это уже интересно, да? Мы с вами ничего не можем найти про «Одинокую звезду», зато есть какое-то «Созвездие». Что-то такое космическое в обоих названиях, да? А в названии «Созвездие Щита» слышится еще что-то и милитаристское, для меня во всяком случае. Так вот, стала я искать в газетах хоть что-нибудь про это самое созвездие, и нашла-таки несколько упоминаний двадцатилетней давности. Но, знаете, очень все скупое, без особых подробностей. Какие-то пайщики, зачем-то собирались и что-то там обсуждали. Ну и пришлось мне поехать уже в архив. Там-то я и нашла самое интересное. Джуди, вы сидите или стоите?

— Да сижу я, сижу! Что там у вас, Эмми? Не томите.

— А то, что пайщиками «Созвездия Щита» были наш покойный губернатор Харрисон, уже известный вам мистер Дорнер и особенно хорошо вам знакомый мистер Ковальски! К тому же все они были членами NRA.

— Подумать только! А наш Ромео случайно не затесался к ним под этот «Щит»?

— О нем — ни словечка. Зато в «Желтых страницах» я нашла некую Элейн Дорнер. Судя по возрасту, она вполне может быть вдовой босса Алекса Флинта. А что если мне ее навестить и попробовать что-нибудь разнюхать?

— Предоставьте это мне, дорогая. Мне кажется, я умею разговаривать со старушками, — сказала Джуди и скоро пожалела о своей излишней самоуверенности.

Конечно, ей и раньше приходилось встречаться с людьми, которые с легкостью впадали в бесконечный монолог о себе и своих личных проблемах, нимало не заботясь о собеседнике, а вернее, обреченном слушателе. Джуди знала, что в таких случаях нужно просто терпеливо ждать окончания арии,

² Национальная стрелковая ассоциация.

изредка вставляя удивленные или удовлетворительные междометия, и ни в коем случае не давая повода для ее продления. Но в умении перевести даже самую отдаленную тему в длительный и подробный рассказ о себе миссис Дорнер превзошла всех знакомых мисс Маккин.

Элейн Дорнер и вправду оказалась вдовой того самого мистера Дорнера, о котором говорила Эмми. Судя по всему, престарелая леди не бедствовала после смерти мужа. Компаньонка, проживающая с ней в небольшом, но аккуратном домике, провела Джуди в гостиную, уставленную семейными фотографиями. Сама хозяйка появилась несколько позже, дав Джуди возможность оглядеться и подготовиться к разговору.

— Скажу, что я социальный работник, — решила она, успев заметить, что лгать с каждым разом ей становится легче, а ведь еще пару месяцев назад даже мысль о необходимости говорить неправду была ей невыносима.

Когда-то высокая и стройная, а сейчас сгорбленная и высохшая как щепка, с аккуратной укладкой крашенных волос и маникюром на скрученных артритом пальцах, миссис Дорнер показалась в дверях гостиной под руку с чернокожей девушкой.

— Что вам угодно, милая? — обратилась она к гостье, обнажив два ряда ровных вставных зубов.

И тяжело опустившейся в скрипнувшее под ней кресло Джуди пришлось выслушать нескончаемую историю жизни Элейн Дорнер. Ни один наводящий вопрос не вызвал у пожилой леди воспоминаний об Александре Флинте. Зато луч надежды блеснул при упоминании «Созвездия Щита».

— Знаете, милая, я никогда не интересовалась связями моего мужа с NRA, но у них там был один забавный мальи, как его, Господи, звали-то? Он до сих пор пишет мне поздравления ко всем праздникам. Такой, знаете, смешной безобразник. Все мне в любви объяснялся, комплименты расточал и склонял ко всяким непростойностям. Ну вы меня понимаете, милая, — миссис Дорнер снова обнажила вставные зубы и сделала неопределенный жест старческой рукой. Было очевидно, что воспоминания о забавном безобразнике доставляют ей удовольствие. — А работал он... Нет, вы мне не поверите! Гинекологом! Я никогда бы к нему не обратилась, да специалист он был прекрасный. А у меня возникли проблемы со здоровьем в этой области. Что делать? Муж говорит — иди к нему без разговоров. Я и пошла. Так этот безобразник осмотрел меня и говорит: «Миссис Дорнер, я таких прекрасных мест — ну, вы понимаете каких, милая, — не видел ни у кого в своей практике», — и миссис Дорнер зашлась в счастливом смехе, — а практика у него, уверяю вас, милая, была обширная.

— Так как же его звали? — успела вовремя вставить вопрос Джуди, опасаясь перехода памяти пожилой дамы к другим ценителям ее былых достоинств.

— А вот Элли помнит его имя. Да, Элли? — обратилась миссис Дорнер к своей компаньонке.

— Как же не помнить, — с готовностью кивнула та своей аккуратно прибранной черноволосой головой и услужливо подскочив, принесла красочную поздравительную открытку ко Дню независимости, отправленную из Флориды неким Спенсером Стоуном.

— Какая прелесть, — сказала Джуди, внимательно прочитав и запомнив адрес отправителя.

Оставаться в аккуратном домике больше не было ни малейшего смысла, и воспользовавшись паузой в сетованиях пожилой дамы на изжогу и артрит, она поспешно оттуда удалилась.

Сенатор привык к взглядам. Ему было важно, чтобы люди смотрели на него, хотя он сам во время выступлений не видел ни одного отдельного лица, да ему это было и не нужно, настроение толпы он чувствовал не глядя. Но на этот раз он обратил внимание на устремленный на него упорный взгляд и, не прерывая выступления, продолжал искать запомнившееся ему лицо в толпе. Встреча с избирателями в Сити-холле проходила по намеченному плану: разоблачения коррупционера Макмэрфи следовали за предвыборными обещаниями и ответами на вопросы. Потом к Эвансу стали подходить какие-то люди, пожимать ему руку, улыбаться и обещать поддержку. Тут же их сменяли другие, жалующиеся на что-то, которым уже он пожимал руку с обещанием разобраться и привлечь виновных к суду или, наоборот, защитить невиновного. Согласно обкатанному сотни раз регламенту, сенатор закончил встречу и вышел в фойе, пропустив вперед охранника, и тут же увидел стоящую немного в стороне Хайди. Повинуясь какой-то силе, он сделал чуть поспешный шаг к ней навстречу, и она, подойдя к нему, сказала не так уж и много, всего несколько слов, слов, которые когда-то говорила ему Лиза и которые были так нужны ему сейчас. Рукой он отвел темные волосы, упавшие на ее лицо, и увидел знакомое ожидание в обращенных к нему глазах.

— Это серьезно, Хайди. Это очень серьезно, — сказал он ей в ответ.

«Че-то я не понял, что он имел в виду», — подумал охранник, стоявший в двух шагах от сенатора и не пропустивший ни одного его слова.

Прослужив пятнадцать лет в секретной службе, Патрик Джордан знал свое дело. Его самым ценным качеством было умение молчать. Притормозив «лендровер» по просьбе сенатора, на углу улицы, где торчала одинокая фигурка Хайди, и обождав, когда она заберется на заднее сидение, он всем своим видом продемонстрировал, что его совершенно не интересует завязавшийся между ними разговор. Но это не означало, что он ничего не слышал.

«У сенатора, как пить дать, будут неприятности. Все они, поздно или рано, прокалываются на чем-либо и чаще всего — на сексе, — рассуждал Патрик, ведя машину к загородному дому Эвансов. — Похоже, малышка своего добьется. И когда это она успела в него влюбиться? Он-то на нее положил глаз еще в барак».

Джордан открыл дверь и первым вошел в этот дом. Мониторы показали пустые коридоры, комнаты и подсобные помещения. Пусто. Тихо и прохладно. Он помедлил немного у камер внутреннего наблюдения. Отключать или не стоит? И не отключил.

— Все спокойно, — сказал он сенатору, идущему к нему навстречу, и посторонился, пропустив вперед Хайди. Теперь его присутствие было излишним.

Вы уже забыли молодого человека, тайком наблюдавшего прощание с президентом Никсоном на лужайке Белого дома? Пора вспомнить Дика Чейни. Ему всего тридцать два года, но он не новичок в Белом доме. Последние

шесть лет он приезжает сюда на старом ржавом «фольксвагене», крыша которого протекает во время дождя. Его офис находится на втором этаже. Главные решения принимаются этажом ниже. Через двадцать пять лет он пересядет в лимузин и разместится в офисе на первом. Пока же он в центре политического кризиса: не дожидаясь объявления импичмента, президент Никсон подает в отставку. В Белом доме все заняты перераспределением власти. Джеральд Форд, ставший президентом, срочно набирает свою команду. Ему нужны люди, которым он может доверять в такое сложное для страны время. Никого не удивляет назначение на должность главы его администрации Дональда Рамсфельда, хорошо известного конгрессмена-республиканца от Иллинойса. Рамсфельд или Рамми, как зовут его близкие, приведет к Форду невысокого широкоплечего молодого человека с аккуратно завязанным галстуком и пробивающейся лысиной на макушке. Через двадцать минут он получит место в администрации нового президента. Легкость, с которой неизвестный статист попадет в зону власти, удивит многих.

Откуда он взялся, этот Дик Чейни? Да из Вайоминга. Еще один провинциал в столице.

Повезло парню, вытащил звёздный билет: приехал в Белый дом по направлению, работал над диссертацией, завел знакомства с конгрессменами, что-то там для них писал, выполнял поручения. Тут его Рамми и заприметил.

Существует несколько версий, объясняющих особую благосклонность сорокатрехлетнего Рамсфельда к тридцатидвухлетнему Чейни. Ни в одной из них нет даже и намека на самое простое предположение: а что, если это была любовь бывшего летчика-истребителя к бывшему капитану футбольной команды. Такое объяснение настолько не вяжется с этой парой, что придется от него отказаться и сослаться на слова Дона, охотно вспоминающего молодого человека, начавшего работать на него 40 лет назад.

— Чем острее была ситуация, тем спокойнее был Дик. Он никогда не терял голову... просчитывал варианты решений и выбирал лучший.

Никогда ни одним словом Дон не упомянет главного качества молодого человека — беззаветную преданность. Дик станет верным и послушным «ведомым» в этой паре. Присущий им стиль работы начнет складываться именно в те годы. Основная черта этого стиля — секретность.

Протоколы, докладные, отчеты пишутся только в самых крайних случаях. Никаких подписей и письменных распоряжений. Никаких улик. Никаких «отпечатков пальцев». Никаких интервью.

Особую неприязнь вызывают у них журналисты, вечно промышляющие вокруг Белого дома в поисках сенсаций. На них лежит главная вина за раздувание политического кризиса, из-за которого ушел в отставку президент Никсон. К слову сказать, Чейни мало интересует журналистов. Незаметно и аккуратно занимается он рассылкой поздравительных открыток к праздникам от имени Форда, следит за починкой сломавшегося в вертолете сидения первой леди, пополняет набор солонок в Белом доме.

Зато Рамми разворачивает бурную деятельность. Объектом его пристального внимания и нападок становится государственный секретарь Генри Киссинджер, доставшийся Форду в наследство от прежней администрации Никсона, а это уже повод для недоверия. Хладнокровно и после-

довательно Рамсфельд наезжает на все попытки Киссинджера наладить отношения с Россией и Китаем. Он сторонник жестких мер, а не переговоров. Верный Чейни всегда готов подменить шефа, когда тот занят разборами промахов Киссинджера.

В конце концов, Форд дрогнул под напором Рамсфельда. Он идет на кадровые перестановки, и Киссинджер уходит со своего поста. Рамми становится министром обороны. Остаётся выяснить, кто будет возглавлять администрацию президента вместо него.

А что тут выяснять? Вам еще не понятно? Новым главой администрации президента будет Дик Чейни. Такой молодой, ему всего тридцать четыре года и такой пост... И вообще, да кто он такой, у него есть хотя бы высшее образование? Ну-у, кажется, он закончил что-то там у себя, в Вайоминге... Зато есть в нем что-то напоминающее бульдозер: расчищает завалы и прёт к своей цели.

И впрямь, поплёрло. Чейни безукоризнен на своем новом посту. Теперь уже Форд оценил его деловые качества: умение спокойно, не перебивая, выслушать собеседника, принять взвешенное решение, при этом оставаясь в тени, на скамейке запасных. Спокойно и уверенно он ждет своего часа, впереди большая игра — президентские выборы. В этой гонке Чейни уже не пешка. Форд ставит его во главе своей избирательной кампании. Все понимают, что у него небольшие шансы победить. «Уотергейт» и отставка Никсона воспринимаются американцами как национальная катастрофа, авторитет республиканской партии подорван надолго.

Джеральд Форд ищет выход из «затянувшегося национального кошмара» и, кажется, находит. В своем обращении к американскому народу он говорит как человек, прежде всего, глубоко верующий. Прощение — важный постулат христианской религии. Суд над Никсоном, продолжит раскол в обществе, а не примирит нацию. Обладая президентским правом помилования, Форд освобождает Никсона от судебного разбирательства, спасая его от позора.

Не все поддерживают это решение президента. Многим поступок Форда кажется антидемократичным. До конца своих дней Джеральд Форд убежден в правильности такого решения, стоившего, как многие считают, ему президентства. На выборах побеждает демократ Картер.

Пора освобождать Белый дом для нового президента.

Что делать Чейни? Выбор есть: он может заняться бизнесом или преподаванием. Его покровители уходят из большой политики, но побывавшему в зоне власти, обладающей особой силой притяжения, уже трудно преодолеть эту силу. Дик решает вернуться к истокам, в родной штат, в Вайоминг, и отсюда начать борьбу за место в Конгрессе.

В те времена в Вайоминге вполне было возможно пожать руку каждому избирателю.

Со всей семьей Дик объезжает самые захудалые городишки штата. В машине с ним его жена Линн и две дочери Лиз и Мэри. Дик Чейни однолюб. Свою будущую жену он приметил, когда им было по четырнадцать лет. Они начали встречаться в семнадцать.

Линн не назовёшь красавицей. Сжатый ротик. Маленький подбородок выставлен вперед. Характер. Сто лет назад такие девушки уходили в монастырь и быстро становились настоятельницами, ну а в провинциальной школе 50-х годов прошлого века она была просто отличной спортсменкой. Он же был капитаном школьной футбольной команды. Скорее всего, их объединила не только любовь к спорту. Не то чтобы у Линн, упаси Бог, не было своего мнения, но как-то так всегда выходило, что оно совпадало с мнением Дика. А это уже залог для прочного союза. Так или иначе, они поженились вскоре после окончания школы.

Со старшей дочкой Лиз было всё в порядке, но вот Мэри росла странной девочкой. Предпочитала штанишки юбочкам и просила в подарок не Барби, а бейсбольную биту.

Обе крошки были вовлечены в политику с детства. Объезжая с папой глухой Вайоминг, они подолгу ждут, когда он закончит своё выступление, выставляют нарисованные ими плакаты с призывом голосовать за него и только за него, потому что он самый лучший папа на свете.

Было в этом что-то трогательное, вот только папу нельзя назвать блестящим оратором. Он как-то явно предпочитает долгие разговоры с каждым избирателем, внимательно вслушиваясь в то, что ему говорят простые люди. Сил на такую изнурительную кампанию не хватило даже у бывшего футболиста.

Через несколько месяцев после начала кампании Дик Чейни попадает в госпиталь с первым инфарктом. Ему тридцать семь лет. Посыпались советы завязать с политикой и заняться чем-нибудь поспокойнее. Но не зря он напоминает бульдозер. Уже через три недели его машина продолжает колесить по отдаленным уголкам дикого штата Вайоминг, только за рулем на этот раз сидит Линн.

Вот это по-нашему. Парень-то оказался крепким. Вайоминг — это вам не Флорида. Здесь живут люди, привыкшие к суровому климату и тяжелому труду. Упорство и настойчивость им только импонируют. Им всё больше нравится этот парень.

Но не только симпатии избирателей помогают Дику. У него есть одно бесспорное преимущество перед своим соперником: работа в администрации двух президентов. Это означает доступ к спискам спонсоров и связи. И он реализует это преимущество. В отчетах о денежных поступлениях на счет его кампании упомянуты даже комитеты дантистов и мебельщиков.

Зубные врачи и плотники явно предпочли Дика Чейни, и он с большим отрывом победил на выборах в Конгресс.

Работать в Конгрессе — это вам не сидеть в предбаннике президента и составлять график его приемов. Это работа законодательная, кропотливая и подотчетная. В целом, это школа демократии. Здесь Чейни — один из четырехсот тридцати пяти человек, большинство из которых демократы. Говорят, это было время, когда Дик еще умел с ними работать. Он тихо пересидел годы президентства Картера и достаточно набрался опыта к моменту прихода в Белый дом Рейгана.

Пожалуй, ничто не занимало его так сильно в эти годы, как внешняя политика. Чейни никогда нельзя было назвать белым голубком, несущим

ветвь мира в клювике, а тут и вовсе он прибился к стервятникам. Это означало одно — никаких переговоров с «Империей зла», никаких уступок и компромиссов. Что ж, вполне в духе времени. Накоплен такой ядерный потенциал, что первый же удар по врагу может оказаться решающим.

— Что вы хотите, межконтинентальная ракета, запущенная с их территории, долетит до Вайоминга за двадцать пять минут. — Глаза Чейни многозначительно поблескивают из-под очков, в голосе слышится металл. Защитник.

В составе делегации Конгресса он отправляется в Москву «взглянуть в глаза врагу». Его и конгрессмена-демократа Томаса Дауни приглашают на встречу с начальником Генерального Штаба СССР Сергеем Ахромеевым. По воспоминаниям Дауни, на этой встрече Ахромеев предлагает возобновить переговоры по сокращению ядерного вооружения, приостановленные после вторжения СССР в Афганистан. Ссылаясь на слова маршала, Дауни пишет в своем отчете о том, что русские явно посылают сигнал о готовности начать переговоры. Чейни же заявляет, что Ахромеев ничего такого не говорил.

— Надо здраво смотреть на вещи, Дик, вы же не можете заставить русских принять все ваши предложения!

— Почему же... Мне кажется, я могу...

— Откуда такая уверенность? — Дик медленно прогуливается по Красной площади, покрытой легким снежком. Нащелкавшись фотоаппаратом, Дауни поворачивается к нему. Ни тени восхищения на лице Чейни.

— Здесь здорово, да? — Молчание.

— О чем вы сейчас думаете, Дик?

— Я думаю, мы стоим на «Граунд Зиро».

У Дауни портится настроение. Ему не хватает воображения представить себе гигантскую воронку вместо припорошенных морозом елочек. Ну и мрачная же вы личность, Дик Чейни.

— Мистер Чейни отлично ведет переговоры, — заметил кто-то из его коллег, — потому, что с ним невозможно вести переговоры. Он внимательно слушает собеседника. Никогда не возражает и не вступает в полемику и всегда всё делает по-своему.

Это было время, когда Рональд Рейган ещё не был провозглашен великим президентом.

Наоборот, и над ним нависла тень импичмента.

Пятого октября 1986 года выстрелом ракеты земля-воздух, произведенным солдатом Сандинистской армии, закончилась секретная война американского президента в Никарагуа. Гибель всей команды транспортного самолета США была бы лучшей вестью для Белого дома, чем сообщение о том, что одному её члену удалось-таки спастись, имея при себе запрещенный инструкции парашют. И этот человек не скрывал предназначения доставляемого в джунгли груза.

Снабжение «контрас» оружием было запрещено Конгрессом.

Скандал разрастался, как снежный ком, после сообщения одной из бейрутских газет о секретных переговорах американских служб с иранским правительством.

— О чем можно тайно переговариваться с врагом? — заволновались американские газеты.

И вскоре журналистам удалось раскрыть продажу противотанковых ракет Ирану, в обход эмбарго, наложенного Конгрессом. Выяснилось, что этой операцией руководило ЦРУ, пытаясь освободить своих агентов, захваченных Хизбаллой в Бейруте. Полученные от этой сделки миллионы пошли на поддержку никарагуанских «контрас» в их борьбе с социалистическим правительством Ортеги.

— Вот это да! — завозмущались демократы в Конгрессе. — Рейган и его окружение нарушили сразу несколько законов, принятых высшей законодательной властью страны. Дело идет к импичменту. Пора американскому президенту объяснить народу, что происходит.

И Рейган выступает по телевидению.

— Было дело. Продали Ирану что-то там такое, что уместилось в одном грузовом самолете, — говорит он. — Но это было сделано исключительно в целях спасения жизни наших сограждан, захваченных Хизбаллой. Иран обещал помощь в переговорах.

— Ну да, — иронизируют газеты, — за «что-то там такое» Иран заплатил двенадцать миллионов долларов, а поддерживать «контрас» и вовсе неприлично: они бомбят школы и больницы. Почему в администрации не думают о репутации Америки в мире?

— Какие всё-таки мерзавцы эти журналисты, — возмущается Дик Чейни. — В погоне за сенсацией они готовы растрезвонить любую государственную тайну, если даже речь идет о безопасности собственного народа.

Впервые он меняет тактику, появляясь на экранах национального телевидения и страницах политических журналов. К этим холодным глазам под линзами круглых очков и спокойному уверенному голосу начинают привыкать.

— Не надо даже пытаться сравнивать «Уотергейт» с «Иран-контрас», — говорит Чейни. — Всё это дело рук прессы и будет забыто так же быстро, как сообщение о поражении вашей любимой футбольной команды. О каком импичменте может идти речь, когда президенту осталось два года до окончания срока?

Странное дело, но этот довод устроил большинство. В конце концов, законы нарушались из патриотических, так сказать, побуждений, а пережить заново уотергейтский кошмар хотели далеко не все. Рейган был спасен от позора, а усилия Чейни были замечены благодарными однопартийцами. Лучше бы, конечно, поставить точку на всех разбирательствах, но далеко не все согласны это сделать. Неважно, из каких побуждений нарушен закон. И вообще, хорошо бы докопаться до тех, кто это всё начал. Вот пусть комиссия и занимается раскопками, а еще лучше — независимый прокурор.

Такая комиссия создается, и Чейни входит в ее состав. Рядовой от Вайоминга, он доблестно защищает полковников и генералов спецслужб, представляя их не иначе как героями, пожертвовавшими своими репутациями в интересах государства. Вполне возможно, что благодаря его усилиям участники скандала отделяются символическими наказаниями.

— А этот Чейни — опасный человек, — догадывается кое-кто. — И какое странное отношение к соблюдению законов у члена Конгресса. Послушать его, так выходит, мы можем вооружать ракетами даже террористов в «интересах нашего государства». Кто же тогда определяет эти «интересы»?

У Дика Чейни есть ответ на этот вопрос. Для себя он уже давно его решил: президент Соединенных Штатов и, конечно же, республиканец. Есть у него и некоторые претензии к демократии. Конгрессмен с десятилетним стажем, он невысокого мнения о своих коллегах, говоря, что они «текут», как старый кухонный кран, сливая любую известную им информацию журналистам. Он «подправит» демократию позже, когда станет вице-президентом, пока он использует ее в своих интересах.

У нового президента Джорджа Герберта Буша проблема с министром обороны. Предложенный на этот пост кандидат проваливается в Конгрессе. Время идет. Министра всё нет. Без него невозможно сформулировать принципы внешней политики новой администрации. Нужна кандидатура, которую без проволочек утвердит Конгресс.

Конгрессмен от Вайоминга чаще обычного стал появляться в Белом доме. Ничего удивительного. У него здесь старые знакомства и связи. Заглядывает он и к вице-президенту, озабоченному поисками нового министра.

— Вам нужен человек опытный, умеющий работать с Конгрессом, — наводит его на мысль Чейни...

Ну да. Вот это идея... Похоже, вице-президент понял Дика. В самом деле, Чейни отлично знают в Конгрессе, он работал в администрации двух президентов, его уважают в партии.

Какое поразительное умение оказаться в нужном месте в нужное время...

Правда, есть некоторое сомнение: к сорока восьми годам — три инфаркта и сложная операция на сердце. Кардиологи тщательно обследуют Чейни. Всё в порядке. Здоровье не преграда для нового поста. Зато выясняется, что будущий министр обороны никогда не служил в армии.

Он неоднократно призывался во время войны во Вьетнаме, но всегда получал отсрочки.

Как-то непатриотично выглядит для министра обороны. Но Чейни не просто сбить с намеченного пути.

— В то время у меня были другие обязанности, — говорит он.

В самом деле, — сначала учеба, потом семья, дети. Линн и Дик никогда не курили марихуану и не поддерживали антивоенные выступления. Они ходили в церковь и исправно платили налоги. Никаких внебрачных связей, правда, два штрафа за вождение в нетрезвом виде двадцать восемь лет назад. С тех пор ни-ни. Придраться не к чему. Поприветствуем нового министра обороны.

В Пентагоне никто особенно не радуется этому назначению. Для военных Дик Чейни всего лишь чиновник, никогда не нюхавший пороха. Зато Чейни не испытывает ни малейшей неловкости. Всё так же спокойно и внимательно выслушивает он собеседников, записывая что-то в свой блокнот. Все ждут, что будет дальше.

Через неделю новый министр обороны устраивает разнос генералу Ларри Уэлчу. Помилуйте, за что же, да еще на пресс-конференции. Это же прямое нарушение неписаного кодекса чести, по которому гражданский чиновник не может публично унижать членов генералитета. У Ларри Уэлча четыре звезды на погонах, он один из самых крутых генералов Пентагона, главнокомандующий военно-воздушными силами страны.

Чейни наплевать на кодекс чести. Собравшимся в его кабинете генералам он спокойно разъясняет, что не потерпит от них никакой «самодеятельности». Генерал Уэлч имел неосторожность обсуждать в Конгрессе вопросы, связанные с МБР¹. По мнению нового министра обороны, такие обсуждения допустимы только в стенах Пентагона. Он спокойно подписывает отставки тех, кто не согласен с его мнением. Военно-воздушным силам особенно не везет. Их следующий главнокомандующий, генерал Майкл Дуган, уволен через семьдесят девять дней после назначения на этот пост. Дуган провинился за готовность делиться с прессой информацией, которую Чейни считал секретной. Это уже нарушение кодекса Чейни.

Собственно, ничего нового тут нет. В Пентагоне, среди многозвёздных погон, у него было два пути: быть униженным или унижать самому. Он выбирает второй путь. Казалось бы, при таком подходе никто не захочет с ним работать, но постепенно Чейни удается наладить контакт и завоевать авторитет у генералов. Ну, и что с того, что он гражданский. Зато он умеет внимательно выслушивать мнения других и принимать продуманные решения. Вон, Дон Рамсфельд был летчиком, но уже через полгода никто в Пентагоне не хотел с ним иметь дела из-за его высокомерного и нравоучительного тона.

Особенно досталось генералам от Чейни во время подготовки к первой войне с Хуссейном. Ни один план ведения боевых действий не был принят министром обороны. Он разносил генералов за отсутствие новых идей и неоригинальность мышления. Убежденный консерватор по своим взглядам, он оказался новатором в военном деле. Цель Чейни — не допустить прямого контакта с миллионной армией Хуссейна, оккупировавшей Кувейт, во избежание потерь своего контингента. Потери другой стороны его, естественно, не интересовали. В Пентагоне нашёлся-таки человек, к мнению которого Чейни внимательно прислушивается. Это генерал Колин Пауэлл. Они прекрасно сработались, белый консерватор из провинциального Вайоминга, никогда «не нюхавший пороха», и чернокожий парень из Бронкса, прошедший путь от рядового до генерала. Колин Пауэлл пользовался безграничным доверием президента Буша-старшего, поставившего его во главе Объединенного комитета начальников штабов.

— Поразительная вещь, — вспоминает Пауэлл, — как Чейни был спокоен, разнося очередной план в пух и прах. Мы работали сутками, пока не был найден окончательный вариант войны в заливе, удовлетворивший министра.

Грандиозный спектакль под названием «Буря в пустыне» начался с 38-дневной бомбёжки позиций армии Хуссейна, вторгшейся в Кувейт. Война шла в прямом эфире CNN. Американцы могли наблюдать ее ход на экранах своих телевизоров под комментарии отставных генералов. Наземная операция продолжалась всего четыре дня. Она унесла жизни сто сорока американских

¹ Межконтинентальная баллистическая ракета.

солдат. Хуссейн капитулировал, слив миллионы баррелей нефти в Персидский залив в отместку победителям. Мощные пожары затмили солнечный свет, черный шлейф дыма растянулся на тысячу миль. И всё-таки, это была блестящая победа новой военной доктрины бесконтактных войн, разработанной генералами Пентагона и Диком Чейни.

Дорога на Багдад открыта, но президент Буш принимает решение не добивать врага в его логове. Неблагодарный Саддам ответит попыткой покушения на американского президента во время его визита в освобожденный Кувейт. И хотя покушение удалось предотвратить, многие стали поговаривать о том, что надо было бы закончить работу.

Ну, а пока мальчики и девочки в камуфляжной форме возвращаются домой. В их честь в столице даётся банкет. Присутствуют генералы, министр обороны, телевидение, пресса. Толпа окружает Колина Пауэлла. Он кумир этих молодых людей, их герой. Министр обороны никого не интересуется, возле него два-три сослуживца, ему не достаётся и кусочка славы Пауэлла.

Оказывается, чтобы быть популярным, недостаточно иметь ум и блестящие аналитические способности. Нужно ещё иметь что-то, чего Чейни явно лишен. Это «что-то» называется «харизма». Но и харизмы иногда бывает недостаточно. Президент Буш проигрывает выборы молодому губернатору Арканзаса, несмотря на всю свою популярность после Войны в заливе.

О чём думает Дик Чейни, когда покидает Пентагон, даже не попросившись с Пауэллом? Трудно сказать. Он спокоен и невозмутим, как всегда. Не случайно его зовут сфинксом. Сфинкс сделал своё дело, сфинкс может уходить.

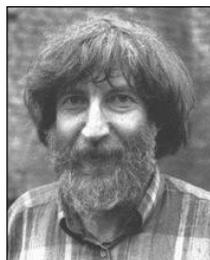
(Продолжение в сл. номере)



Рис. Ю. Филиппук

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

/ Санкт-Петербург /



ОБЫСК

Начнём!.. При входе понятия
в полусклоненьи наготове
поставлены, как запятые
при вводимом слове.

Чего коснулся без перчаток
и что касается того, где
оставлен вмятый отпечаток —
там те же когти.

Рвут, набирая обороты,
все синтаксические связи
до несварения, до *рвоты*
от псевдо-квази.

Колдуют-лгут и слог, и почерк,
и Музы скорбная гримаса,
и эта клякса между строчек —
тавро Пегаса.

Сложились признаки состава —
и улюлюкают улики:
осыпалась былая слава
в провал великий.

Всю пыль подпольную развеяв,
пройдёмся по октавам верхним,
по камертону с эмпиреев
всю фальшь низвергнем.

Изучим кухню. Антресоли
добавят к найденному прежде
то ли тротил с гашишем, то ли
кровь на одежде.

Анализом осевшей мути
заговорённого *отвара*
проявится без ложных вздутий
лицо *товара*.

Как действовало? С кем якшалось?
В какую сторону глядело?
Любой пустяк, любую шалость —
на свет и в дело!

Читаем — слышим: буквы стонут.
Защитный немощен рефлекс там,
где тайносущность рыщет по-над
открытым текстом.

Со всей корректностью, по чину
работу надлежит исполнить:
всё-всё слоистую личину
заставим вспомнить.

Для полной слаженности хора —
порочные ухмылки сносок.
В мотив сквозной вплетает *вторя*
свой подголосок.

А вот и *автор!* Заговорщик
смущён, замешкался в передней
— Пожалте-с в протоколе росчерк,
штришок последний.

2009

КРЕЩЕНИЕ

Подлёдный лов недоумелых душ...
Рабы греха как рыбы немые —
губами только мечем в глубине мы
не оглашаемые пузырьки-фонемы,
чья оглушённая со дна всплывает глушь.

Зыбь ожидания твердеет под ногой
и сводит дух вселенской жаждой.
Нам целый мир узилище, но каждый
на волю будет выпущен однажды,
и встретит каждого на выходе Другой.

И глянет в полынью звезда Полынь,
огнём холодным полыхая.

Оковы разомкнув, тоска глухая
сквозь гул немолчный ветра-вертухая
услышит повеление: отхлынь!

Голубке Ноевой ветхозаветной встречь
новозаветный белый голубь
уже летит и поджигает прорубь —
и, подступая судорогой к горлу,
бьёт в колокол очнувшаяся речь.

2010

* * *

Эти варвары варят и варят свой тощий словарь,
города затопляют и веши клокочущей кашей,
доведённую до тошноты и оскомины, взашей,
не давая опомниться, гонят оседлую тварь.

А задержится если, пожитки собрать не успев —
будет ей откровение с кровопусканием! Будет!
Искасят всю реальность и весь ареал испаскудят,
уходящей эпохе вердикт огласят нараспев.

Так уж было не раз. Можно вспомнить поверженный Рим.
Смена цивилизаций для Клио — привычное дело.
Скоро все мы, кого это дикое время задело,
на его худосочном наречии заговорим!

2011

ЭЛЕГИЯ

Холодный дождь, хлеставший по лицу,
смягчился вдруг и закружился снегом,
на пни и склоны сизые холмов
ложась покровом призрачно-лоскутным.
Но эфемерной белизне в лесу
не помогала перекличка с небом.
Под сапогом болотный чавкал мох,
и поступь колобродила поступком.

Смелее, горожанин, гражданин!
Естественные преступай границы!
Впишись в пейзаж под снегом и дождём!
Не возводи свои прирастья в принцип —
скорее через них перешагни!
Сегодня ты, как эти сосны, явью
не угнетён — от спячки пробуждён,
любому соприроден состоянью.

Намёк на зиму, как намёк на смерть,
 легко читался в воздухе тяжёлом,
 но как-то было не уразуметь —
 сбивали с толку демоны лесные,
 всё норовили что-то подменить
 в картине мира, наспех метя жёлтым
 и белым путеводную финишть
 осенних троп. Ни зги не прояснили!

Поблекла, как бесславный травелог,
 торясь в траве забвения... Финита?..
 Куда гражданский нас направил долг
 по слякоти средь рыхлых дефиниций?
 Я — только эхо: вторю и мечусь,
 невнятным подчинён перегородкам,
 кристаллизуя хлябь смятенных чувств —
 любовь и смерть в слияньи сверхприродном.

2011

СОNET

Стол, облачённый в скатерть облаков,
 собой скрывает образ обоюдо-
 сторонних связей: золотое блюдо,
 свеча, алтарь, ковчег, альков.

Словарь высокопарно-бестолков.
 Смять простыни тут было бы не худо.
 Спасал когда-то парных тварей судо-
 строитель Ной от смертных ков.

С тех пор как смерть и жизнь в союзе брачном
 сродни союзу Неба и Земли,
 слёз океан всё не даёт сопрячь нам
 свои страданья с пиршеством вдали.
 Светила меркнут, тонут корабли
 со всем добром своим невзрачным.

2011

* * *

Неужто всё на самом деле
 так безнадежно в этом мире,
 что пресеклась в струнах псалтири
 мелодия другой модели?
 Сюда звучавшая не так там,
 как музыкальная шкатулка,

ни из какого закоулка
не просочится такт за тактом.
Необратимый сдвиг по фазе.
Всё глуше эхо ностальгии
и всё слабее те, другие,
причинно-следственные связи,
где каждый тон был органичен
своей вариативной теме,
но всё ж возможностями теми
был общий строй не ограничен.

2011

ИНКВИЗИЦИЯ

В одиночку или стайно,
злонамеренно, злонравно
племя действует врагов.
И у действующих тайно,
и у действующих явно
цель одна: подрыв основ.

Малодушны чрезвычайно,
а под пыткой — и подавно.
Неусыпна Божья рать:
иудействующих тайно,
иудействующих явно
не преминет покарать!

2012



Арсен МИРЗАЕВ

/ Санкт-Петербург /

ТАРАКАНИЙ ЦАРЬ

О.О.О.

они поселились у меня в голове
сразу же после моего рождения
долгие годы

жили они хаотично
не зная порядка и дисциплины
не управляемы никем и ничем
но недавно

у них появился верховный правитель
вождь и учитель

я зову его Главный Таракан
или Тараканий Царь

он отличается пунктуальностью
перфекционистского толка
вот распорядок его дня
точно в 09.00.

он встает
чистит зубы пастой «Signal»
бреется станком «Mach3» от «Gillette»
при помощи помазка фирмы «l'Occitane»
и мыла «Monsavon»

готовит кашу
в маленькой эмалированной кастрюльке
выливая в нее один стакан молока
и высыпая полстакана овсяных хлопьев
варит в медной джезве

на итальянской газовой плите
кофе «Lofbergs Lila»

наливает
в изящную фарфоровую чашечку
помешивает сахар
маленькой золоченой ложечкой
пьет

а ровно в 11.15
садится писать стихи

то что вы читаете сейчас —
один из его шедевров

* * *

с наслаждением
думаю о том
сколько всего
замечательного
талантливого
великолепного
написано за три века
русскими литераторами
жившими
на Невском
Литейном
Владимирском

с ужасом
думаю о том
что на своей Варшавской
ничего гениальной
«Марша славянки»
мне уже
не написать...

* * *

человек-звук
полюбил
человека-букву...

своего сына
они назвали
«человек-песня»

ЛЕТАЮЩИЙ ПОЭТ

Юрию Орлицкому

он весь к земле прижат,
когда в душе зажат.
придавлен тяготеньем,
как *Родя* — преступленьем...

но стоит увидеть
какую-нибудь книжку,
крадется, словно тать,
и — ну бежать вприпрыжку!

потом он на стремянку
взлетает быстрой ланью
и книжную «делянку»
обкладывает данью...

куда девался вес немалый?
где сила притяженья?!..
— пиита небывалый,
символ передвиженья,

полета силою ума
в заоблачные дали. —
не верите? знать, вы — Фома.
и вправду не видали,

как поутру парит (парит!)
он в *выхинских* просторах,
о Фете с чайкой говорит?..
полжизни — в разговорах.

гетероморфности стиха
учил однажды. сокол,
летающий рядом, всё смекал:
о нашем, о высоком...

какая разница — кому
вещать о сокровенном?
лишь только — пищу уму —
бежала б кровь по венам,

питала мозг, будила мысль,
звала умом делиться!
но это ль «подымает ввысь»?..
о, человеко-птица!

филолог. муж. отец. пиит.
в кругах ученых знаменит...
так кто ж он — сибарит? эстет?
нет, он — *летающий поэт!*

* * *

в призрачном городе ленина
белоглазые люди живут
мертвенно-глазая чуждь

чудаковата чуть-чуть
потусторонние лица
Питер
болото
столица

* * *

Хорошо рождаться старыми,
Умудренными опытом.
(Ана Бландиана)

I

хорошо бы родиться
старым
умудренным
но не помнящим
где и когда
ты родился

будто бы
жил ты всегда
но без глаз
без ушей
без запахов
и
без чувств

II

и вот
ты внезапно очнулся

по особому
блеску глаз
по тембру
молчания
по улыбке
скользнувшей по губам
и тут же
исчезнувшей
ты догадался
кто перед тобой...

себя ли не узнать?
(а впрочем
ты

не узанным собой
прожил лет сорок
или пятьдесят)

III

теперь
ты можешь все:
почуять слово
услышать запах
и
увидеть звук

IV

ты пришел
к себе
слишком поздно
ты пришел
умирать

но это
уже совершенно
не важно

теперь
ты себя
не забудешь:

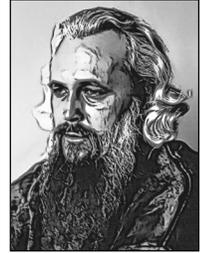
ты пришел...



Рис. Ю. Филипчук

Андрей ТАТ

/ Лос-Анджелес — Санкт-Петербург /



ИСПОВЕДЬ ПОПУГАЯ

Юзу Алешковскому

Судьба надо мной подшутила и произвела на свет в качестве мальчика-попугайчика. Был я человеческой конструкции, но с крылышками, и обросший перьями. Как магнит притягивает железо, так я — повторял все услышанное. Сперва меня держали в музее, а потом перевели в архивы, на Лубянку.

Местные садисты часто надо мной подтрунивали, но, в общем, любили. Клюв у меня всегда был в табаке, а желудок сыт и пьян. Использовали меня на Лубянке в качестве естественного запоминающего устройства. Нередко мне приходилось выкладывать факты перед лицом подследственного, жалостливо глядя ему в глаза. За жалость эту следователи надо мной смеялись, и прodelывали над подследственными некоторые дополнительные трюки, дабы меня смутить. К созерцанию боли и крови я скоро привык, и это сделало меня циничным.

Уютно устроившись на жердочке в своей клетке и заложив ногу за ногу, я часто кричал не своим, испoенным болью голосом: — Больно!!! Не прижигайте пожалуйста, милостивый государь, своим окурком мои изможденные яйца!!! Сие противозаконно!!! И пожалуйста, очень вас прошу, не зажимайте их между дверок вашего письменного стола — А-А-Ы!!! — Чем вызывал гомерический хохот архивариусов.

Иногда меня использовали как массовую галлюцинацию, чтобы сводить с ума заключенных. Тогда меня вынимали из клетки и незаметно сквозь решетку подбрасывали в камеру. А я начинал повторять истошные вопли подследственных, зеленым ангелочком рея под потолком. Тогда-то меня и придушил Тихон Магильниченко.

Теперь, в Небесной канцелярии, я ожидаю более справедливой судьбы.

РУССКИЙ ЧЕРТ НА НЕБЕ

Незаметно очень, даже трудно сказать, как все это началось, но стал Фома Иванов превращаться в черта.

Месяца через два, как почувствовал он что-то неладное, рожки уже затвердели; тело напрочь, включая и лицо, было покрыто густой, курчавой,

черной с проседью шерстью; вымахал полуметровый хвост, а копытца цокала уже не хуже каблучков молоденькой модницы.

Фома был веселым парнем и оптимистом. Превращением своим решил не огорчаться, но стал им бравировать и кокетничать. Носил он теперь только синие джинсы, дабы прикрасить половые признаки, а кожу умаскивал различными шампунями и одеколорами, чтобы отбить легкий козлиный запах. Копытца свои он подковал, не желая стаптывать, и весело цокал ими по асфальту во время утренних оздоровительных пробежек. Сзади в джинсиках он сделал небольшую прорезь для хвоста, но болтаться свободно ему не позволял, заправляя под брючный ремень. В рожки он вделал оправленные серебром изумрудики. Бородка же клинышком очень шла к его пронзительному и несколько саркастическому взгляду.

Служил Фома в страховой компании, но оттуда пришлось ему уволиться, ибо клиенты наотрез отказывались подписывать какие-либо предложенные бумаги. Русский, да еще и черт, — для среднего американца это было уже слишком. Фома и тут не горевал, но после первого же интервью был с распростертыми объятиями принят в штат голливудских кинозвезд, где начал грести кучи денег.

В свободное от съемок время заезживал он до потери сознания выносливых голливудских див, прослав дьявольски сильным партнером и утвердив свою репутацию на дружеских оргиях. Все двери, кроме церковных, дружелюбно распахивались перед Фомой, но тут он с ужасом обнаружил, что вновь становится человеком. Отвалился хвост. Смылились, размякнув, рога и копыта; шерсть вылезла, да и на девках ездил уже не с тем остервенением. Благо, крупные деньги остались, да впереди светило подработать на мемуарах. Фома пошловато шутил, что для него наступила полоса чертовского невезенья.

Лишившись своего экзотического обличья, решил Фома, что не грех теперь заглянуть и в церковь, да пожалуй, и причаститься. Только зашел он в храм, как все иконы дружно залились слезами, с неба раздался трубный глас, а Иванов, сделавшись легким как перышко, как был во плоти, сквозь купол храма вознесся в небеса.

Киношные критики этому не поверили, и вознесение Фомы объявили очередным голливудским трюком. Однако когда с неба среди ясного дня стали время от времени сыпаться пахнущие свежей типографской краской новенькие, исправленные библии с автографами Фомы, крыть было уже нечем. Дошло до того, что Папа Римский встретился с Митрополитом Всея Руси. Обнялись они по-братски, как Петр и Павел, приняли новый текст Священного Писания, объединили церкви, сложили с себя сан и, вслед за Фомой, торжественно вознеслись в небеса.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

В разных городах и странах, в разных домах, квартирах, комнатах и учуждениях Сергей Дмитриевич помнил на ощупь выключатели. Столько на земле, позади уже, привычных мест, куда можно прийти с закрытыми глазами и включить свет, и может быть, увидеть большие изменения, но выключатели наверняка там же.

Когда приезжал он в большой город темным вечером, то перед его внутренним взором вспыхивали уютные тепло-желтые пятна окон в квартирах, где его с радостью встретят, и поблекшие, синеватые пятна тех окон, за которыми он когда-то жил, или тех, где уже не живут люди, которые рады ему.

В эти минуты он напоминал самому себе комету, что странствует какими-то странными петлями по безбрежному космосу, заранее предчувствуя приближение к знакомой звезде или планете, с которыми он непременно обменяется теплыми улыбками и снова уйдет в холод, с надеждой на новую встречу.

Сейчас Сергей Дмитриевич как раз вернулся домой, в Сан-Франциско, после длительной поездки по Европе, и стоял у входа в свою квартиру. Поставив чемодан на пол, он отомкнул дверь и потянулся было к выключателю, да не успел — в сердце у него перегорели пробки.

СЕЛЕДКИНА-ХЕРИНГС

Совладелица булочной на углу Гири и третьей авеню, госпожа Селедкина-Херингс, вовсе не была тощей, но даже наоборот, не то чтобы склонная к полноте, но дама в теле и очень даже привлекательная. Не сдобная, как клише попадьи, но пронизательная, с чувством юмора, эдакая бизнес-дама.

Длинную ее фамилию использовали, как правило, лишь в официальных бумагах. Англоязычная публика к ней обращалась как к миссис Сэллодкин, а русскоязычная — госпожа Херингс. Марья же Ивановна принимала все это с достоинством, юмором и плохо скрытой тонкой усмешкой.

Вдовилась Селедкина-Херингс уже второй год. Потом, говорят, вышла замуж за кондитера Фишера, симпатичного человека исландских кровей.

МЕНШЕВИК

Лев Михайлович Орлов по самой природе своей был меньшевиком. На шахматной своей доске, как бы нарочно изгаляясь над ним, Судьба всегда расставляла фигуры так, что Лев Михайлович непременно оказывался в оппозиции меньшинства — большинству.

Служил Орлов младшим научным сотрудником в институте Химии, Удобрений, Ядов; а на каждом партийном собрании его почему-то избирали в меньшинство президиума. В составе меньшинства его так же послали с делегацией сперва в Индию, а потом в Австралию. В составе меньшинства он также был выбран одним из районных депутатов трудящихся. В жалком меньшинстве пытался поднять он голос в защиту справедливости, но влекомый судьбой к намеченной цели — один из очень немногих — он не был услышан специальными органами, но назначен министром сельского хозяйства.

Последнего испытания Лев Михайлович уже не выдержал и сделался настоящим большевиком.

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Весьма известный и уважаемый в своей среде профессор-энтомолог, член-корреспондент Академии наук СССР, Анатолий Варламович Иволгин все время, за исключением зимнего сезона, проводил на даче своего сына Игоря Анатольевича, в Лемболово. Дача находилась как раз у впадения небольшой речушки в Лемболовское озеро, возле разрушенной временем водяной мельницы. По мнению местных жителей — профессор был «с приветом», ибо одевался в короткие штанишки «шортики» и по много часов с марлевым сачком в руках скакал с полянки на полянку, с опушки на опушку, с пригорка на пригорок. Сопровождал его обыкновенно двенадцатилетний внук Мишенька, которому как нельзя кстати привилась дедушкина страсть собирать и рассматривать козявочек.

Однажды, среди бела дня, а точнее в полдень, профессор Иволгин марлевым своим сачком налету поймал здорового «ночного мотылька», и тем был обескуражен. Мотыльки эти, согласно всем прописям, летают только по ночам, свет же дневной их томит и неотвратно клонит в сон.

Глаза у этого «ночного мотылька» были выколоты, а на спине у него, как чародей на заливке у дракона, сидел небольшой, но стройный, воинственного вида паук. Хитин его отливал вороненой сталью, взгляд был тверд и пронзителен, а сидел он на спине этого мотылька как приклеенный.

Только начал профессор Иволгин рассматривать сей феномен через увеличительное стекло, как воинственный паук схватил передними лапками полую травинку, поднес к своей голове, по-видимому, дунул в нее, и у Анатолия Варламовича на подбородке сперва возникла боль, а следом выскочил веселый, свежий прыщик.

— Ну и зараза же ты, — хитро усмехнулся профессор, оставил мотылька с пауком, и отошел в сторону, искоса наблюдая за феноменом.

Паучок же слегка расслабился, уселся на своей бабочке поудобнее, натянул какие-то нити, поднялся в воздух и плавно запорхал в сторону разрушенной мельницы.

Только насекомое скрылось в развалинах — Анатолий Варламович прыгал от радости, захлопал ладошками по ягодицам и принялся обнимать своего застывшего в недоумении внука. — Мишенька! Мальчишечка ты мой! Быть может, я и не прав, но очень и очень похоже, что мы с тобой открыли новую земную цивилизацию!!! Никаких сейчас вопросов, Мишенька! Я сейчас сам не свой! Вечером, вечером! Чай будем пить на веранде, и я тебе все расскажу.

На веранде горела керосиновая лампа. Доносились с речки песни лягушек. На четырех цыпочках, изогнувшись дугой и мурлыкая громко, ходила серая, наэлектризованная кошка. Ночные мотыльки каплями дождя стучали в освещенные окна.

Иволгин сидел за столом, за чашкой чая, на своем удобном стуле и рассеяно улыбался. Сын его потягивал водочку мелкими стопками, запивая кислым молоком, а Мишенька ерзал на табуретке и исходил нетерпеливыми пятнами.

— Ребятоньки вы мои, — начал профессор. — Сейчас я слегка успокоился, выплеснув несколько духовных ушатов холодной воды на поредевшие

кудри, и уже не то, что смотрю, но заставляю себя смотреть несколько более критически на свое «так называемое открытие». Но разрази меня гром, если это не новая цивилизация! Взгляд паука был осмыслен! Осмыслен!!!

— У собаки он тоже осмыслен, — откликнулся нехотя сын.

— Не сравнивай, сынок, паука с собакой! Паук смотрел не как раб и не как друг. Он смотрел как соперник и как претендент. Он смотрел так, как будто за его спиной стоят многие, подтверждающие его права. Его права. Права не избранного на власть, но рожденного повелевать, и добившегося этого права. Сын, это тринадцатый век. Они будут умнее и сильнее нас! Пауки будут властвовать над планетой! Они живут быстрее, много быстрее. Хотя не время еще передавать эстафету, но я уже поднимаю руки, сдаюсь — готов передать им наше знание и отойти на второй план. На планете нам хватит места. Но поверь, они нас превзойдут. Лет через двадцать мы будем по сравнению с ними — мастодонтами. А на деле станем их слонами. Отцы должны давать дорогу детям. Ты, сынок, тоже уже слон для Мишеньки. А Мишенька наш — умный слоненок. Дайте дорогу разуму! Великому разуму! Пусть разум растет! Пусть раскрывается он, как нежная, внутри уже похотливая роза, навстречу солнцу... С шипами в жопу! — Иволгин вдруг засучил ножками, пальчиками и умер.

— Знаешь, папа, я уважал дедушку, но мне кажется, что в то время, когда он добивался признания в науке, он не позволял себе распускаться. Однако, как бы то ни было, я считаю необходимым, на всякий случай, обо всем, что имело место быть — уведомить тех, чье это дело.

На следующий день старую мельницу накрыли искусственным куполом. Под этим куполом ползали специалисты и ничего там не нашли. Потом этот купол накачали горячим газом и взорвали.

Не родился еще соперник нашему гнусному человечьему племени!

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

В зоопарке ящерицу Ляльку за истерики и выступления наказали тем, что перестали спаривать с самцами. Ящерка рассердилась и нажаловалась Бажову. Бажов из жалости к ней написал «Малахитовую шкатулку». После этого Ляльку отпустили на Уральские рудники.

ЭЛЕКТРИЧКА

Своего более или менее постоянного сожителя Ваську в кругу друзей кошка Электричка называла — «мой кобелек». Васька не сердился. Он был благодушным усатым котом. Жила эта пара в подвале Оклендского небоскреба. Когда кончались деньги, кошка Электричка вставала на рельсы, Васька запрыгивал на подножку и начинал энергично продавать билеты.

Курсировала Электричка, как правило, от Окленда до Дэли-Сити и обратно. Одного рейса хватало на безбедное житье в течение месяца.

До изумления изящно выглядела Электричка на рельсах: грациозно изогнувшись, с трепещущими по ветру усами, неслась она со скоростью восемьдесят миль в час, высекая когтями искры из полированной стали железной дороги. Особенно эффектно, даже с каким-то шиком, стремительно вы-

летала Электричка из туннеля, под Сан-Францисским заливом, и эдак вальжно останавливалась у станции Абаркадера.

Хозяева железной дороги ненавидели кошку. Во-первых, сама бесплатно рельсами пользуется, а во-вторых, пассажиров отбивает. Кроме того, не будучи соединена с главным компьютером управления, она всегда могла создать аварийную ситуацию.

Электричка же и в ус не дула. На рельсы вставала она неожиданно, никого не предупреждая и расписаниями не пользуясь. В конце концов, хозяева железной дороги махнули на кошку рукой и стали относиться к Электричке как к неизбежному злу.

Однажды, просидев всю ночь в одном из баров и поистратившись до основания, в дугу пьяная, кошка решила заработать на опохмелку.

На рельсах Электричка стояла не твердо, но публике было не до этого, и валом валила она в настешь раскрытые двери. На ходу заботливый Васька напоил кошку алказельцером и заставил проглотить пару таблеток аспирина. Не помогло. Превысив скорость на одном из поворотов, сошла Электричка с рельс, отчаянно извиваясь и мяукая. Больно ушибла задницу о бетонный барьер и, растеряв всех пассажиров, унеслась в неизвестном направлении.

Поднялась газетная шумиха. Были объявлены розыски. Жертвы крушения отсудили у железнодорожной компании солидный куш. Однако вся эта история кончилась только тем, что вышел новый закон, согласно которому каждый пригородный поезд перед отправкой должен был проверяться на содержание алкоголя в крови.

ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ ВЗЪЕРОШЕННЫЙ?

— Почему ты такой взъерошенный? — часто, без всякого повода спрашивала Лидочка у своего угрюмого супруга. Лидочка считала, что подобные вопросы делают ее сексуально желанной. Угрюмый супруг был лысым и обидчивым, а к сексу относился отрицательно. После третьего такого вопроса Лидку он размазал по постели, как зубную пасту.

У этого мужа был хороший адвокат. Убийство Лидки он назвал случайностью и убедил судью, что она была просто недостаточно прочна для такого мужчины, как его подзащитный.

ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА

Виталий Илларионович и Глеб Георгиевич. Каждому за сорок. Дружили с пятнадцатилетнего возраста. Одного и того же дома — один на втором этаже жил, другой на третьем. Виталий Илларионович — мягкий, отзывчивый, невезучий и мечтательный. Глеб Георгиевич — поджарый, строгий, выносливый, постоять за себя умеющий. Однако, кто из них кто — сказать очень трудно, ибо телами они менялись постоянно. Глеб Георгиевич покровительствовал приятелю, и когда тому бывало плохо, пользуясь своей напористостью, выселял его из того тела, кое в это время страдало.

Посторонним наблюдателям был совершенно непонятен неровный характер обоих приятелей. Не ведая истинного положения вещей, очень хорошо можно было понять постороннего наблюдателя. Жены их, к примеру, шутили так:

— Ну, Виталий Илларионович, как только тебе плохо становится — ты просто в Глеба Георгиевича превращаешься.

Или:

— Ну, Глеб Георгиевич, как только радость какая в дом приходит — истинным Виталием Илларионовичем ты делаешься.

Виталий Илларионович испытывал чувство колоссальной благодарности и неловкости к своему другу. У него стало развиваться глубокое чувство вины за свое существование; и посему большую часть времени ему приходилось пребывать в теле Глеба Георгиевича.

Пытался поговорить с ним по-дружески — мол, друг дорогой, благодарен тебе за поддержку твою, но отдохни хотя бы, — дай и мне помучится. От меня не убудет. — Нет, — отвечал Глеб Георгиевич. — Ты натура нежная, романтическая, мечтательная. Горести тебя просто убьют. Не выдержишь ты их. Мой же дух, можно сказать, железный. Перетерплю все, и еще на десятирх хватит. Ты же, Виталий Илларионович, помечтай, понежись, помурлычь. Дай себе отдых перед дальними странствиями духа в астрале. — И пользуясь своей силой, вытеснял Виталия Илларионовича из тела того, к которому страдание приближалось.

Однажды, находясь в своем теле и пребывая в благодущии, Виталий Илларионович быстро, как мог, накинул веревку на крюк и удавился, но с ужасом очнулся в теле Глеба Георгиевича.

Стрелой понесся на третий этаж, в свою квартиру, но тело его ногою левей последнюю судорогу исполняло уже.

— Где-то теперь душа этого тела? — напившись вдребезги и стуча кулаком в тощую, волосатую грудь Глеба Георгиевича, стонал, роняя крупные хмельные слезы, Виталий Илларионович.

СЮРПРИЗ

Небо такое голубое было, но, несмотря на это, свинья Марья Викторовна, возвращаясь из булочной, недовольно похрюкивала. Дома ждал ее похмельный муж, водопроводчик Илья Семенович Сидоров. Свинья любила своего водопроводчика, любила стирать его грязные портки, вылизывать за ним его вонючую блевотину, затаскивать его с лестничной площадки домой, в постель. Бегать по утрам за «маленькой». Но вот когда, хоть это случалось и нечасто, в похмельном облике водопроводчика появлялось что-то человеческое — Марья Викторовна начинала невольно беспокоиться и сердито похрюкивать.

Сегодня вообще какое-то несчастье: Илья Семенович даже опохмеляться отказался, а на себя самого начал поглядывать с презрением. Когда же дружок его закадычный, монтер-Васька, с «пол-банкой» пришел, то даже и на порог его не пустил. — Надоело мне, Васька, по-свински жить, — сказал Илья Семенович. — Пора за ум братья. А на водку эту мерзкую и смотреть больше не буду.

— Чего по-свински? Чего по-свински? — завизжала Марья Викторовна. — Чего тебе не по нраву?! Не я ли за тобой дерьмо твое выгребаю?! Не я ли тебя обхаживаю?! Не я ли тебя, мудака старого, опохмеляю каждое утро?! Не я ли целый день в говне роюсь, обед тебе готовлю?!!

— Да успокойся ты, Машка. Хорошая ты у меня свинья, а только по-свински жить не желаю больше. — Надел водопроводчик галстук, пиджак, взял газету и ушел в сортир.

Возвращаясь из булочной, Марья Викторовна визгливо похрюкивала и даже не подозревала того, что муж ее, Илья Семенович, с сукой Жучкой уже на курорт укатил.

«ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»

Бесноватый механик Остолопов все свое свободное время возился с разными винтами, гайками и шестеренками. То свинчивал их, то развинчивал, по особому соединял их друг с другом, заставляя вращаться. Над идеей вечного двигателя — смеялся, а сам, тихой сапой, изобрел нечто подобное.

Было это еще в царской России. Двигатель поместили в музей. Работает он до сих пор, ни разу не остановившись. Ученые все не могут разгадать его секрет, но вечным двигателем признать категорически отказываются, справедливо утверждая, что и сама-то вселенная не вечна.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Астафий сделался известным абстракционистом после того, как придя домой, неожиданно написал свой портрет, рухнув во хмелю на свежезагрунтованный холст и отпечатавшись на нем, по пробуждении, телом и усами, перепачканными губной помадой.

Вскоре не стало отбою от заказчиков и пришлось открыть серьезный бизнес — бар-студию.

В баре клиента доводили до кондиции, затем мазали разными красками и укладывали спать на холст. Когда клиент просыпался — его отправляли домой. После того, как краска окончательно высохла, холст обрамляли и, побрызгав лачком, отсылали заказчику вкупе с пятизначным счетом.

Когда Астафий заработал свой первый миллион, к живописи он охладел и прекратил личный контакт с заказчиками, наняв рабочих. Бизнес захирел и лопнул. Астафий обрадовался и стал не только знаменитым художником, но и хорошим мастером своего дела.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

С телом у Александра Васильевича вышел конфуз. К этому все шло, но случилось постепенно и незаметно. Очень уж задумчив был Александр Васильевич, а за телом уход ведь требуется. Даже костюм внимание и ласку любит. Даже кошку, и ту по ушам потрепать раз в сутки желательно. Александр же Васильевич очень задумчив был.

Больше всего Александр Васильевич любил размышлять о сути бытия, о пространстве и времени, а так же о душе. Часами, бывало, раздумывал он об этих субстанциях, а бедное тело свалится где-нибудь в углу, язык изо рта высунет, руки раскинет и томится бездельем.

Как-то раз, где-то более суток размышлял Александр Васильевич. Тут уже тело не выдержало, почистило зубы, расфуфырилось и потихоньку за дверь улизнуло. Домой вернулось за полночь и пьяное в дупель. С трудом отомкнуло двери, ввалилось в комнату и тут же возле порога отрубилось.

Александр Васильевич был в гневе, тем более что похмелье на следующее утро и ему разделять пришлось. В наказание — двое суток морил тело голодом. Тело, однако, оказалось своенравным и злопамятным. Только Александр Васильевич задумается, как оно за двери, благо дорожка уже проложена и опыт есть. Один только Бог знает, что это тело там, за дверьми вытворяло, внушая бедному Александру Васильевичу тревогу и тоску. Постепенно он все же к этому привык, ибо дома оно стало вести себя тихо и пристойно. — Бог с ним, — думал Александр Васильевич. — У него свои дела, а у меня свои. Время же, как мне думается, есть не что иное, как одно из свойств пространства, а также один из способов его измерения. То есть, имея пространство в наличии, теоретически возможно измерить его площадь, объем и продолжительность существования. Как примитивный пример: я изготовил коробок. Со времени ее изготовления и до того, как я ее заполнил дерьмом, пустота ее площади равнялась «А», объем ее пустоты — «В», а время ее пустоты — «С», или же двадцати минутам. При всем при этом, пространство в своих параметрах: объеме, площади и времени, подозреваю, не является постоянным, но находится в состоянии неравномерной пульсации. Пульсируя же, оно как бы слонится, позволяя абстрактному наблюдателю рассматривать себя в разных перспективах одновременно. То есть — Ты — в пространстве-времени — и так, и эдак, и по-другому, и конечно же, до определенной степени — парадоксально. К примеру, все люди на планете — это ты в пространстве не без времени. Все же люди на планете от начала и до конца существования планеты — это ты во времени не без пространства. По большому же счету — ты везде, в любой точке мироздания, и перманентно при этом. Ты нотами как бы записан, и ощущаешь себя — лишь зазвучав. Вывода собою мелодию в процессе. Размышления Александра Васильевича прервал скрежет ключа в замочной скважине. Дверь отворилась, и ввалилось тело с красивой и глупой как пробка девицей. С собою они приволокли кучу закусок и выпивки. Не обращая внимания на Александра Васильевича, они быстро нажрались при свечках, скинули одежды и, похотливо хихикая, всю ночь порезвились на койке.

Мерзко было Александру Васильевичу. С одним-то телом не знаешь что делать, а тут еще второе объявилось. Под утро тела угомонились, тесно прижавшись друг к другу и посапывая в объятиях Морфея.

— Мужские и женские начала имеют противоположные заряды некоей первичной, пульсирующей энергии. Я бы даже сказал, сама суть пульсации и есть эта энергия, — размышлял Александр Васильевич. — Китайцы называют ее Инь и Янь. Соприкасаясь между собой, мужские и женские начала на какой-то срок свои заряды нейтрализуют, нередко при этом, к сожалению, трансформируя дух во плоть. Так сказать, реализуя абстракцию. Жизнь — по сути есть некая энергетическая воронка, что всасывая в себя

небытие — в бытие его превращает. Но воронка сия двухстворчатая, и створка ее иная проделывает то же самое, но в обратном порядке, то есть, бытие превращая в небытие.

Тело с красивой, но глухой как пробка девицей — проснулось почесываясь, и бедный Александр Васильевич ощутил острый приступ томительного похмелья. Пока любвеобильные пташки приводили друг друга в порядок, плескались под душем и шумно опохмелялись австралийским пивом, сквозь вязкий хмель, туманящий сознание, Александр Васильевич решил, что с телом так или иначе пора разделяться.

К полудню тело со своей женщиной куда-то умоталось. — К чему мне это тело? — думал Александр Васильевич. — Я ведь им почти не пользуюсь. Для меня оно служит лишь связующим звеном с пространством и временем. Абстрактно рассматривая себя со стороны в пространстве, но без времени, я увижу довольно обширное пятно, занятое моей сутью от рождения и до смерти. Абстрактно рассматривая себя во времени без пространства — могу «увидеть» цепь ощущений-мыслей, проходящих сквозь меня из ниоткуда в никуда. Вне времени и пространства я буду сверхконцентрированным сгустком энергии, на грани небытия. То есть звездой, которая и есть, и которой одновременно нету. Дант в «Раю» своей «Божественной Комедии» до сути докопался довольно точно. В «Аду» и «Чистилище» он, конечно, наverts довольно много образной чуши, но «Рай» искупает его заблуждения. Да, из пространства и времени — суть существа вне пространства и времени наблюдается именно как звезда. Пора в звезду обращаться. Пусть мое тело повесится.

— Размышляя, Александр Васильевич даже не заметил, что тело уже вернулось и в кресле сидит, нервно потрескивая суставами пальцев.

— Да, да, пусть оно на веревке удавится. Вон и крик надежный из потолка торчит, — окончательное решил Александр Васильевич.

Только Александр Васильевич вновь погрузился в свои размышления о сути бытия, как тело судорожно рванулось к телефону, набрало номер сумасшедшего дома и истерично завопило в трубку, что оно в опасности, что оно вот-вот на себя руки наложит, и чтобы спасали его, покуда не поздно. Коварное тело не забыло даже адрес продиктовать. Не прошло и десяти минут, как с воем подрулила санитарная машина и двое дюжих парней в белых халатах забрали бедного Александра Васильевича в психиатрическую клинику.

Тело тут же наябедничало доктору, что оно хронический алкоголик, что часто теряет оно сознание даже на свежую голову, что жизнь окрасилась в темные, депрессивные тона, и что в последнее время его преследуют голоса, повелевающие уничтожить человечество и себя самого.

Насчет человечества тело приврало специально, будучи хитрым и сообразив, что считаясь социально опасным, под особым надзором будет оно содержаться; а вследствие этого — хрен Александр Васильевич сможет ему сделать что-то дурное.

Александр Васильевич очень обозлился и в отместку решил уморить свое тело голодом. Но и из этого ничего не вышло. Санитары кормили тело через трубочку, а оно нахально ухмылялось.

— Тело мое оказалось довольно приземленным, но житейски мудрым, — анализировал минувшие события по прошествии времени Александр Васильевич. — Оно углядело то, о чем я даже и не думал — наше раздвоение лич-

ности. Действительно, в сумасшедшем доме нам самое место. О теле я теперь могу не беспокоиться вообще — оно в надежных руках. Буяннить ему также не позволят. Я же спокойно могу теперь размышлять и парить в облаках среди игривых и задорных истин.

Так и живут они теперь в одном из сумасшедших домов штата Калифорния.

СТАРЫЙ АКСЕЛЬ

Борис Петрович Аксель родился несколько более пятидесяти с лишним лет тому назад в старообрядческой деревеньке Соловьевке, на Аляске, как-то чудом еще сохранившейся на задворках Соединенных Штатов Америки. Семья его состояла в артели, занимавшейся рыбным промыслом, и строго религиозной была. Крестились люди в этой деревне двумя перстами, молились на темные иконы, а ели каждый из собственной посуды. Между собой разговаривали только по-русски, хотя и английским владели в совершенстве. По-английски разговоры велись только с чужаками и скупщиками рыб. Согласно моим понятиям, жизнь тамошняя разнообразием не отличалась, хотя и была здоровой, как нравственно, так и физически.

Боря рос, учился в церковноприходской школе, а с десяти лет уже вместе с артелью на большом просмоленном баркасе стал выходить в море. Время двигалось незримо и вкрадчиво, как котенок на цыпочках. Казалось бы, ничего вокруг не меняется, а разница между днем и годом — несущественная. Казалось бы — ан нет!

Взрыв технической революции опалил почти всю планету, а время заставил вертеться волчком. Как блохи на барабане, запрыгали открытия и события, сменяя друг друга и разворачиваясь наподобие бабочек, из куколок выскочивших, и сделавшись доступными каждому благодаря неистовствующим средствам массовой информации.

Девятым валом этого взрыва старообрядческую Соловьевку смыло почти до основания, и выплыл юный Борис Петрович в Нью-Йорке, на Гринвич-Вилледже, где и поселился. Он стал изучать живопись, мировые религии и верования, а по вечерам работать пекарем в соседнем супермаркете, «хлеб свой насущный добывая в поте лица».

Не забывайте, что время вертелось волчком, а годы мелькали как дни. Годам к пятидесяти старый Аксель как бы проснулся. Он огляделся вокруг и с удивлением заметил, что он умница, известный и признанный художник, раз пять был женат и столько же раз разводился. Бывшие жены его и отпрыски — разбросаны по всему свету, а сам он в маленькой своей студии на Гринвич-Вилледже в дырявых джинсах стоит у мольберта, с кистью за ухом и понимает, что все — «суета сует».

— Э-э-э, — старый Аксель обтер кисть об рубашку, аккуратно поставил ее в стакан с другими кистями, почесал затылок и сел в драное кресло. — Так дело не пойдет. Время-то, оно, оказывается, волчком тут крутится. Кажись, вчера еще отроком юным я рыбу из сетей помогал вытряхивать, а тут мне уже за пятьдесят. Это, наверное, потому, что в городах больших обстановка нервная. На природу поеду жить, полу кафтана времени на кулак намотав.

Купил Борис Петрович небольшой автобус, погрузился, снял с банковского счета кое-какие сбережения и исчез на некоторое время из моего поля зрения.

Лет через пять после этого, я тогда работал в калифорнийской компании, занимавшейся аэрофотосъемкой, пришлось мне на нашем куце самолета парить над лесами и горами штата Орегон.

В задачи мои входило отснять на инфракрасную пленку сии леса, дабы потом, для чего и не ведаю, определить процентное соотношение лиственных и хвойных пород.

В воздухе мы были уже более пяти часов. Солнце снижалось, как на парашюте, и пора уже было возвращаться в аэропорт. Вот тут-то и поднялся сильный ветер, неведь откуда приволокший густые, драные тучи, промеж которых сверкали и искрились молнии в музыкальном сопровождении адского грома. Пилот мой, старый великан Виндэл Браун, чертыхаясь и матерясь, пытался удержать машину в воздухе, а я подсчитывал свои шишки и ссадины. Вскоре, однако, самолет начал разваливаться, и мы с парашютами на загрявках сиганули из него в разные стороны. Вокруг было шумно и ветрено, взрыва мы даже и не услышали.

Удача это или неудача, но приземлился я своеобразно, запутавшись в стопах и повиснув на вершине елки, как рождественское украшение.

Существо я довольно нервное, чуть что, так руки дрожать начинают. Дрожжаниями руками распутываться трудно, поэтому, дабы успокоиться, я закурил, в небеса указуя ногами. Пока курил, тучи стали рассеиваться, а внизу я увидел шествующего по тропе человека с посохом в руках.

— Эй! — крикнул я. — Как поживаешь, незнакомый путник?!

Человек задрал голову и басом произнес:

— Почему же незнакомый? Ты что, Андрюша, старого Акселя не узнаешь? Давай-ка, спускайся вниз, а я тебя напою вкусным чаем.

За жизнь свою я привык ко всяким странностям и удивляться уже перестал, зная, что всему, включая и то, что нафантазировать даже нереально — есть место в жизни сей. Отпутался я от парашюта и, весь в смоле перепачкавшись, на земли спустился. — О спутнике своем не беспокойся, — сказал Борис Петрович. — Он в порядке. Его занесло к дровосекам. Ему же я и сказал, что о тебе позабочусь сам. Пошли-ка в мою пещеру. Ты сейчас в моих владениях, Андрюша. Землица эта мне в свое время приглянулась, и я купил ее. Теперь живу на ней.

По лесу, через который мы шли, повсюду были навешаны аккуратные таблички на цепочках с каллиграфическими надписями типа: «Тропа змеюги Люськи», «Булыжник духа — повелителя муравьев», «Канавка обезумевшей Утки», «Сучок — пронзитель глаза», «Поляна Благодных Раздумий», «Лукавый Ручей — Утолитель Жажды», «Сосна — Ненавистница Плешивых», «Кустарник Затаившегося Вздоха», «Излучина Майских Песнопений», «Дорога — Ведущая Наружу», «Скала Ликующей Белки», «Яма Весенних Головастиков», «Лопухи — Блюстители Чистого Зада». Сама же пещера носила название «Прибежище Одинокого Духа — Притон Потеплевшей Души».

— Ну вот, мы и дома, — сказал старый Аксель, отворяя дверь в пещеру. — Тут-то я теперь и живу.

Пещера Акселя только тем пещерой и была, что в пещере находилась. По сути же, сие — прелестный дом. Часть стен была обита деревянными па-

нелями, часть затянута темно-синим бархатом. Немногие, красивые, обнаженные каменные плиты были испещрены «наскальными изображениями», слегка запатинированными дымами древних кострищ. В пещеру были проведены вода, электричество и газ. Под высоким сводчатым потолком тускло светила старинная люстра. Сквозь толщу каменной стены пробито было стрельчатое окно, застекленное витражом, изображавшим сцену охоты, из баллады «Гобелен» Анри Волохонского. Небольшая, удобная, но грязенькая кухонька притулилась на естественном из стены выступе. В глубине пещеры — большой камин с дымоходом и запас дров. Высокий диван и кресла, расположенные полукругом вокруг огромной бочки из-под бренди, служившей столом, заслоняли просторный топчан. Пол устлан был персидскими коврами великолепной работы, и мягкими к тому же. У дверей лежала статуя египетского льва и мерно водила боками, высунув сквозь клыки влажный гранитный язык.

— Поздравляю тебя, — говорю я Акселю. — Миллионером ты, что ли, ненароком сделался?

— Да что ты, Андрюша, — загудел своим басом старый Аксель. — Куда мне в миллионеры. Я, видишь ли, просто святым стал. Время пришло. Глаза открылись. Святым стал. Похоже на то, что я им и был, но сейчас понял и стал. А комфорт весь этот и «богатство» — они ненастоящие. Вернее, настоящие, но «по-твоему», ненастоящие. Вот посмотри, как выглядит сия пещера в натуре.

Только он это сказал, как сделался полумрак, и я различил холодные, кучье своды гранитные, еле от косога дождя прикрывающие.

— Не хочу, старый Аксель, истины и правды, — завопил я в слегка притворном ужасе. — Давай, скорее назад возвращай меня в теплицу твоей мечты.

И все по-прежнему сделалось.

— До чего же у тебя уютный дом, — говорю.

— Не жалуюсь, — прогудел старый Аксель. — Давай чай пить.

Вкусный был чай.

— Нет, Аксель, ты не святой, ты языческий бог, что, в общем-то, одно и то же.

— Верно, Андрюша, верно. Мне это слово просто в голову не пришло. А ты прав. Ты всегда меня понимал лучше, чем я сам себя понимаю. Именно, языческий бог я и есть, и живу себе в пещере своей, от назойливого отмахиваясь времени.

Всю ночь мы гоняли чаи, а я — так еще и коньячком баловался, но ближе к рассвету стал носом клевать.

— Притомился ты, Андрюша, — сквозь сон услышал я голос старого Акселя. — Попрощаюсь я нынче с тобой, дай Бог, еще свидимся.

И похлопал меня по плечу. Я вздрогнул, открыл глаза — наш самолет уже приземлялся в Оклендском аэропорту.

— Силен же ты дрыхнуть, — проворчал Виндэл Браун, подруливая к ангару.

Через неделю в своем почтовом ящике нашел я открытку следующего содержания: «Дорогой Андрюша! Очень радостно было тебя повидать. Помню тебя и о тебе не забываю. Радостной жизни тебе, и до следующей встречи.

Языческий Бог, Старый Аксель».

Языческому Богу — Старому Акселю. Пещера «Прибежище Одинокого Духа — Приютон Потеплевшей Души», Штат Орегон. Ю. ЭС. Эй.

ПОЖАР

Вечером, накануне пожара, Илья Быстрицкий выпил много водки в одиночестве. С трудом добрался до койки гостиничного своего номера и заснул немедленно, без всяких тяжелых раздумий. Суету, случившуюся при пожаре, он даже и не слышал. Не слышал он и вой сирен пожарных автомобилей, и грохот рушившихся потолков.

Проснулся лишь тогда, когда загорелась его шевелюра, от жара и боли. Пока пробирался к окну — и места живого на нем не осталось. Факелом огненным высунулся он из окна. Далеко внизу стояли пожарные с растянутым брезентом, на который ловили выпрыгивающих, как блохи из окон — постояльцев.

— Прыгай скорее, — кричали они Илье. — Прыгай, сейчас ведь и домина рухнет!!!

Илья на мгновение задумался. Облизывающее его пламя причиняло сильную боль, слегка, правда, смягчаемую алкогольным наркозом. Сознание, однако, до конца не оставило его. — Вон, как я обгорел уже, — пронеслись смутные мысли. — А всю эту боль еще сызнова и в больнице терпеть. Да еще неизвестно — выживу ли? А выживу, так уродцем буду. На хрена мне все это?! — Плюнул Илья на шипящее пламя, отошел от окна и, свернувшись клубочком, прикрывая коленями живот, стал извиваться в огне, покуда не сгорел окончательно.

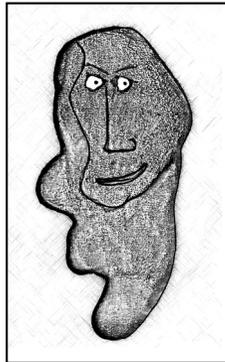


Рис. А. Татта

Пётр ЧЕЙГИН

/ Санкт-Петербург /



СОЧИНЕНИЯ ИЮНЯ

1

Кто меня заберёт?
Кто меня подберёт задарма?
Заливную ветку мороза,
распятую запятыми костра,
где темью, угодной не мне,
бьётся проза...
И рифму не встретит
на крыше сестра...
(запиской трясла
корректора Бонди...)
Кто сбрендил?

17.06.013

2

Кромешная апрельская картошка
до смерти ищет топкую кастрюлю,
но кукиш Заболоцкого настроен...
И — в яму, в — шёлк, в драчливую помойку
летят три горсти, повар успокоен...
Мой повар сердца, темя лютой сойки
(он выследил забвения пилюлю) —
расправив кошку, рвётся из окошка.

09.06.013

Глава 1

Поплыл,
препираясь с волной обоюдо-живой,
но помнящей вёрстку прибора

и тупость кормы корабля
и глажку медузой руля

Весеннего хлеба рубцы
тетрадами впитаны, смолк
заспоривший было
из рожи по ходу состава

Веди, мой карман-поводырь,
веди и тропюю судачь
о беге моём без разрыва
в потоке июньского смысла

Припавшая скормит меня
наутро сугробу из моли
Из моли Иркутской
куда залетел не один,
но с памятным мужем из «Смога»

Он вялит мою переписку,
а кальку с неё уберёт
в свои толстокожие книги

3

Какая умбра, никого!
Кто вышит, кто забрёл в оливы.
Промозглой цифры переливы.
Препятство в скользкое окно
ступенью вьётся, шелестит
своим еврейским сохлым телом...
Престол Обводный, слово — делом,
волной распорот, вмят в гранит.

16.06.013

Глава 2

Певец из облавы июньской
набега лодок на барак залива...
ракетный посошок
миндальный палец...

Бездонная корова клевер мнёт
корова — обух дома без русалки
она сбежала с мягким пастухом
меня переигравшим в домино
Неделю на двоих игра тянулась
Коровы жили на горе в ветрах

дыханьем обуздав и сняв седло
у чопорного ветра без ФИО

Голос из окошка:
«он умер
и раскисла речь твоя
свинцом стекая в грудь Кассиопеи
ключом ольховым в Богородье тлея»

Глава 3

Это видишь — ровно я
Ровно я стою...
Что-то мне совсем не сладко,
На меня коса идёт...
На меня коса идёт,
Медным голосом поёт:
«Не надо — надо — не хочу
Не надо — не хочу
Возьмём по чёрному лучу —
Пойдём по обручу
Тебя, дитёнок, обручу
С рукой Всеобуча»

От автора

4

Расплещи батарейную правду мою —
как себя не убил на брусничных прожилках.
Побирушечье племя сгноило в раю,
что зрачками сплелось, леденело, да сплыло
рукавом по реке, где игрался шалман,
и распухли костры непритворного люда.
Опусти эту правду во вдовый карман.
Я себя не убью, я себя не забуду.

24.06.013



Валерий СКОБЛО

/ Санкт-Петербург /

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

* * *

Пусть небо свернется, как свиток,
И гневно вскипит океан,
И станет отравой напитков,
И правду заменит обман.

Пусть молнии, гласы и громы —
И рухнет последний редут,
Обрушатся в пропасть хоромы,
И звезды на землю падут.

Пусть всадники — белы их кони,
И рыжи, и черны, и блед...
И Некто, сидящий на троне,
Собою, как радужный свет...

Пусть огненной станет дорога,
И время согнется в дугу... —
Увидеть за всем этим — Бога?! —
Я даже тогда не смогу.

* * *

Gen., 1, 1-21; 2, 1-7

И небо, и землю, так полную хаоса, как
Бывает душа переполнена черной бедою,
Творил Он... и бездну, над нею клубящийся мрак
В полете своем над безбрежною мрачной водою.

В полете своем безначальном... с начала времен,
Таком одиноком, что света душа возжелала.
И свет появился. И был он от тьмы отделен,
А твердь от воды. О, великая радость начала!

Небесная твердь, а за нею земная, и вот —
И зелень, и травы, и древа по виду и роду,
Светила надземные, небо которым оплот,
Сияньем своим озарившие сушу и воду.

И рыб, и рептилий по Слову творила вода,
Земля же — и птиц, и зверей сухопутных, и гадов.
И всех наделил Он душою живой навсегда,
Не думая в этот момент о сохранности вкладов.

Потом Он сказал: «Создадим человека теперь,
В творенье Моем есть пробел, но осталось немного,
Пусть будет он больше, чем рыба и птица, и зверь.
Его сотворим из убогого праха земного.

Пусть мудро владеет он всякою плотью живой,
И всею землей — и ничто пусть ему не мешает.
И образом внешним пусть будет он сходен со Мной,
А внутренним — это пусть сам он свободно решает».

Вокруг Него наполнилась юною жизнью земля,
И все это множилось, реяло, льнуло и пело.
Тогда Он представил, как землю украсят поля,
И вдунул дыхание жизни в прекрасное тело.

НЕ ПО ИОВУ

* * *

*«...И услышали трое друзей Иова о всех этих
несчастьях, постигших его, и пошли каждый
из своего места... и сошлись, чтобы идти вместе
сетовать с ним и утешать его...»*

Job, 2, 11

Придите ко мне, Елифаз и Вилдад, и Софар —
Скажу еле слышно... не дрогнет огонь у свечи —
Я болен и немощен, духом ослаб я и стар,
И с кем же молитву мою разделить мне в ночи?

А был я когда-то рассудком и силой богат,
Да все растворилось, как лунное пламя к утру.
Придите ко мне, Елифаз и Софар, и Вилдад,
Мы вместе одежды свои разорвем на ветру.

Ответ я услышал: надежда на встречу слаба,
Ты пылью и пеплом посыплешь главу... и не раз,
Друзья не придут, всех навек разбросала судьба —
Вилдада... Софара... и сгинул совсем Елифаз.

* * *

На старости лет, каким бы ни стал —
Жалким или счастливым,
Сложна твоя жизнь или проста,
К библейским приходишь мотивам.

И что бы ни клал ты под свой висок,
Какой ни избрал маршрут,
Но снится тебе тот же самый сон,
И что же поделаться тут?

Какое б ни нажил себе лицо,
Лысину или живот,
Ты видишь лестницу и крыльцо
И дом, где Господь живет.

Неважно, какой из тебя старик,
Каким изъясняешься стилем —
Но ты возвращаешься к Книге книг,
И Луз именуешь Вефилем.

* * *

Есть сомнения, что окажусь я в раю —
Ждет меня испытанье огнем.
И о месте проверки я вам спою,
Лишь когда проживу я в нем.

А, вернее, когда будет все позади,
И я выйду, оправдан и чист.
Или — нет, выжжет душу огонь в груди,
Стану я — точно белый лист.

Но о чем я тогда напишу — ни гугу...
Мне неведомо слово о том.
Я пока что об этом знать не могу.
Расскажу вам потом... Потом.

Дмитрий СЕВЕРЮХИН

/ Санкт-Петербург /



СОВРЕМЕННОК ГЕНИЕВ

Мы живём в одну историческую эпоху...

Валерий Мишин

На лекции по истории авангарда моя студентка спросила, как близко я знал Казимира Малевича...

Но сейчас о другом. Имя Пушкина я впервые услышал, когда мне было года четыре. Автор сказок о Золотой рыбке и о царе Салтане скончался за сто семнадцать лет до моего рождения, и нас отделяла друг от друга непредставимая временная пропасть примерно в тридцать моих жизней. Постигая лирику Пушкина в пятом классе, я отметил сокращение этой дистанции, которая теперь уже составляла десять моих жизней. Прозу Пушкина я впитывал, отстоя от него в пяти жизнях, а профессионально занялся целостным изучением его наследия, находясь всего в каких-то трёх своих ничтожных жизнях от гения.

Арифметическая формула здесь довольно проста:

$$Ж = \frac{117+B}{B},$$

где В — мой текущий возраст, Ж — искомое число моих жизней, а 117 — вышеназванный временной интервал, пролегающий от смерти Пушкина до моего рождения.

Исходя из приведённой формулы, нетрудно вычислить, что к восьмидесяти годам (в этот рубеж мне, правда, не очень-то верится) я буду находиться от Пушкина в двух с половиною своих жизнях, а дожив, предположим, до ста лет — в двух и двух десятых. Ровно в двух жизнях от Пушкина я смог бы оказаться в возрасте 117 лет, что статистически допустимо, но практически нереально для человека с моей нервной организацией. Наконец, возраст Мафусаила (напомню, 969 лет) дал бы $Ж = 1,12$, однако тогда в глазах отдалённых потомков мы с Пушкиным наверняка уже будем восприниматься как современники.

Не говоря уже о Малевиче.

КРАЙ ЗЕМЛИ

Детское воспоминание или, скорее, сон. Решив навсегда покончить с навязчивыми страхами, долго брёл вслед за низколетящими облаками и, пройдя изломанный коридор между заводскими заборами, неожиданно вышел прямо к Заливу. Город, прежде казавшийся бесконечным, остался за спиной. Слабый плеск воды, ритмично накапывающей на песок, да запах водорослей — вот всё, что теперь было передо мною. Сама же водная гладь совершенно сливалась с небесами, линия горизонта не просматривалась, а узкая полоса прибрежного песка представлялась самым краем Земли.

Моё детство прошло в квадратной комнате в два окна с видом на почти такие же окна противоположного здания. Я вырос среди домов, тесно прилепившихся друг к другу боками, — в замкнутом пространстве внутренних дворов, которые кому-то сверху могут показаться колодцами. Каменные фасады образуют улицы, чаще всего расположенные параллельно или перпендикулярно друг к другу. Иногда улицей считается небольшая речка, тоже окаймлённая вереницей сросшихся домов и прорезанная мостами, каждый из которых, в свою очередь, является частью какой-нибудь улицы. Тесные дворы-колодцы, лабиринты улиц, речек и мостов — это и есть мой город. Город дробного регулярного пространства, разомкнутого только к небу, которое нам, снизу, чаще всего видится прямоугольником. Город клеток и клеточек, каждая из которых имеет свой номер как в игре «морской бой». Город пронумерованных домов, автобусов и трамваев. Город, каждое перемещение по которому может быть описано несложной цифровой комбинацией.

Здесь же, на берегу Залива, всё было иначе — прямоугольный и тщательно размеченный мир уступал место другому, нерукотворному, бесконечно большому и не предпологающему дробное членение. Его можно было представить гигантским шаром, который вращается не спеша, тщетно подгоняемый тоскливыми выкриками чаек да настойчивым дуновением ветра, пронизанного капельками морской влаги. Ось вращения этого шара уходила под углом в северное поднебесье, и с ней, вероятно, была каким-то образом связана непостижимая тангенсоида времени, так мучившая меня с детства и грозившая поглотить все смыслы моей материальной жизни.

Я чувствовал себя не только на краю Земли, но и на самом пороге своего земного существования. Теперь, однако, мне уже не было страшно. Я был под защитой огромного доброго шара, и залогом его величавой доброты было полное равнодушие ко мне.

ЗАПАХИ МОИХ ДОМОВ

Моим первым домом был, понятно, родильный — он до сих пор стоит на своём месте, рядом со старым хлебозаводом; запах материнского молока и печёного хлеба всё ещё разносится невским ветром по близлежащим кварталам. Второй, принадлежавший мне по праву новорожденного вселенца, находился в двух шагах от первого, и его адрес навсегда отпечатался в сознании рядом с абсурдными рифмами «Чудо-дерева». Коммунальная квартира, в которой верховодил мой дед, тогда ещё совсем не старый, ка-

залась огромной, но уменьшалась по мере того как я подрастал. По её комнатам, сменяя друг друга, блуждали ароматы дровяной печи и кулинарных пряностей, сапожного дёгтя и нафталина, трёх одновременно готовившихся обедов, новогодней хвои и мандаринов, корюшки и весенних огурцов.

Потом состоялся переезд в новую родительскую квартиру. То была маленькая, но отдельная «распашонка» в одной из тех блочных пятиэтажек, что с пролетарским напором вторгались в аристократическую тишину Лесного. Она стала для нас символом благополучия хрущёвской эпохи, семейным итогом великого переселения старожилов увядающего центра на окраины, где дыхание черёмухи и сирени соединилось с дымом костров, равнодушно уничтожавших прогнившие сараи и обветшавшие виллы в стиле «модерн». На кострищах обрела покой мебель, обжитая несколькими поколениями, а вместе с ней — настенные коврики, абажуры и прочие милые, но вышедшие из моды вещицы, уступившие место холодным образцам «прогрессивного» дизайна 1960-х.

А потом был ранний, почти школьный брак и череда съёмных комнат — временных норок, убранство которых обязательно превращалось в эстетический манифест поколения: раскинутые на полу одеяла вместо кровати и стульев; добытые по случаю репродукции Сальвадора Дали, жертвенный ковчег громоздкого магнитофона под иконостасом из переснятых откуда-то портретов Битлз, стопки любимых книг по углам. Незабываемый аромат ландышей и жареного кофе.

Далее — обычная холостяцкая берлога, всё тот же магнитофон и почти те же пачки книг, круговорот незнакомых гостей, уверяющих в давней дружбе; груда невымытой посуды и чужие окурки; застоявшийся пар дешёвого портвейна; пьяные провалы в памяти. Попытки заняться чем-нибудь созидательным. Далее — пропускаем...

Затем — ещё один брак и — новое гнездо: респектабельная квартира — плод недолгого, но удачливого предпринимательства; вид на знакомую реку сквозь тонированные стеклопакеты; два клозета и подогреваемый пол в ванной; кондиционер, исключающий проникновение болотного духа; мебель, приобретённая по дорогим каталогам, и картины, купленные по случаю из сочувствия к бедным художникам. Запахов не запомнилось.

Далее и теперь — мансарда, приспособленная под жильё; истерические попытки переписать жизнь набело; предзакатный глоток свободы, растрачиваемой на мелкие романы, похожие на узоры калейдоскопа, что состояются всего из нескольких известных элементов; меланхолические блуждания от фонаря до аптеки и предупредительное обхождение с бомжами, что устраиваются на ночлег, пользуясь теплом зловонных люков.

Когда же случится последний переезд, и каким будет последний дом? И будет ли ещё тот, почти забытый запах печёного хлеба?

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Перед моим окном припарковалась машина.
То была машина времени.

Потому, что в её тонированном стекле можно было чётко видеть отражения людей, идущих в сторону моего двора от автобусной остановки, то-

гда как *сами* эти люди появлялись передо мною только спустя пару минут, предварительно скрывшись на какой-то миг в мёртвой зоне. Таким образом, становилось возможным на краткое время заглянуть в будущее и увидеть то, чего ещё не случилось, но что непременно должно будет случиться.

Едва сделав это открытие, я увидел в стекле мелькнувшее среди прочих отражение торопливой молодой женщины, и во мне смутно прорезалось какое-то связанное с нею очень желанное воспоминание, о котором сейчас не хочется толковать. Мне оставалось только терпеливо ждать, когда уже не отражение, но сама женщина появится перед моим окном. Однако минуты бежали одна за другой, а этого не происходило, хотя прочие случайные спутники её давно уже материализовались и даже успели пересечь двор.

Того, что непременно должно было случиться, не случилось. Возможно, отражение оказалось ложным, или что-то неведомое произошло в мёртвой зоне.

Тогда я понял главное: если машина времени дает сбой, её несбывшееся предназначение обязательно должно превратиться в воспоминание.

ПТИЧКА

Поддавшись уговорам знакомой художницы, согласился позировать. В назначенный день взошёл по крутым ступеням на её мансарду, побродил неспешно по захламлённой мастерской, а затем, как требовалось, сбросил в углу всю одежду и начал растворять неловкость запасённым на случай коньяком. Художница же, ничуть не смущаясь мужской наготы, усадила меня в старинное кресло, выстроив позу по своему плану, а потом занялась постановкой света и настройкой громоздкой фототехники.

Время тогда как-то необычно затянулось, застывшие члены мои начали неметь, а коварный коньяк, призванный всего лишь растворить неловкость, постепенно добрался до основ сознания. Прошло, казалось, не меньше часа, когда сквозь полудрёму, издалека, я услышал долгожданное: «А сейчас вылетит птичка!».

И она вылетела, эта птичка. Выпорхнула прямо из моей груди и унеслась в клубящийся туман. Сквозь его густоту далеко внизу ей смутно виделось опустошённое тело какого-то незнакомого старца, утомлённого долгой непутёвой жизнью и теперь бесцельно восседавшего в старинном кресле. В остановившихся глазах его запечатлелись безверие, страх, стыд и ещё кое-что такое, о чём здесь неуместно говорить.

А мне самому ничего не виделось, потому что все чувства мои передались тогда этой самой птичке. Насладившись полётом, она спустилась ко мне, чтобы снова исчезнуть в своей клетке. Её возвращение случилось как раз в тот момент, когда хозяйка мастерской уже трясла меня нервно за плечо и пыталась докричаться до кого-то по телефону.

Очнувшись, я был вынужден приложить немало усилий к тому, чтобы успокоить встревоженную художницу, после чего оделся и принялась рассматривать получившиеся снимки.

Думаю, излишне говорить, что на каждом из них был запечатлён во всевозможных световых нюансировках образ именно того незнакомого старца, что виделся птичке сквозь густой туман. Но птички больше не было

рядом, и этот образ, мучительный и зыбкий, теперь мог осязать только я один. Художница же, ничего не зная о моём сне, не заметила подмены модели и ликовала, ликовала от итогов затянувшейся фото-сессии.

ЧУЖОЙ

Отпирая дверь, уже испытал лёгкое сомнение — потому, возможно, что ключ никак не вставлялся в скважину, как будто был для неё неродным. Неловкая возня у порога была услышана, и мне поспешили открыть изнутри. В тёмной прихожей почувствовал краткий поцелуй в губы, за которым последовала доброжелательная помощь в освобождении от промокшего плаща. Миловидная женщина, с которой прежде, вроде бы, не встречались, провела на кухню, заставила помыть руки и усадила за стол рядом с задумчивым малышом.

Через последовавших затем мелких бытовых событий едва ли нуждается в подробном описании. Дело не в этих мелочах, а совсем в другом — в том охватившем меня непреодолимо ясном чувстве, что всё, что со мной происходило в этом незнакомом месте, я уже когда-то раньше переживал и, возможно, не раз, как это случалось с героем известного фильма. Было понятно, что, едва заснув, я снова окажусь в этом доме и опять буду вынужден подчиняться гостеприимной воле его обитателей. При этом решительно не вспоминалась причина моего изначального появления в квартире, где не было знакомых предметов и вообще каких-либо следов моего прежнего пребывания.

Правда, в большом сером фотопортрете над письменным столом, угадывались мои черты, но то был мой облик не из прошлой жизни, а из жизни будущей, ещё неведомой. Прошлое же теперь молчало, и мне приходилось довольствоваться только его сновшимися по временам фрагментами.

Получалось, что во снах мне виделась пережитая когда-то реальность, тогда как теперешняя жизнь представлялась лишь затянувшимся смутным и безотчётным сновидением.

Возможно, было бы правильным прервать это сновидение и покинуть незнакомый дом, тихо прикрыв за собой дверь, а затем просто удалить из памяти проведённые в нём дни или годы. Но найдётся ли ещё дверь, готовая принять мой ключ, и не пустота ли встретит меня за порогом?

ВСТРЕЧА

Однажды я встретил на улице человека, очень похожего на Витьку Курдюмова — моего давнего приятеля, с которым когда-то вместе работали. Очень похожего? — Нет, не то слово, это просто как будто бы и был именно он самый, Витька Курдюмов! То же вечно улыбающееся лицо, та же гордая посадка головы, та же крепкая фигура, та же непередаваемая чуть-чуть подпрыгивающая походка. Я обрадовался, было, и как-то внутренне бросился к нему навстречу — давно хотелось у него, наконец, кое-что выпросить. Да вот именно, что только внутренне бросился, а на самом деле даже почти и не пошевелился. Почему? Да потому что сходства этого самого хва-

тило лишь на кратчайшее мгновение — словно вспышка какая-то в голове мелькнула. Прохожий идет себе спокойно мне навстречу, приближается довольно быстро, а вспышка-то и растаяла уже — прежнее сходство почти совсем исчезло, улетучилось как дым. Как будто кто-то плюнул на уголёк. Но уголёк-то сразу плевком не загасишь, он обычно продолжает ещё кое-как тлеть. Так вот и думаю: ну, не Витька, мол, ладно, — ну не совсем Витька, — но ведь почти что Витька!

«Простите, я, конечно, понимаю, что вы не Витька Курдюмов, но вы так на него похожи, что я решил спросить: отчего Витька-то умер?»

ПРИЗРАК

Меня перестали узнавать.

Я не помню, когда это началось. Быть может, когда я уволился с работы, и бывшие сослуживцы поторопились вычеркнуть меня из памяти? Или когда, уединившись на своей мансарде в надежде сделать что-нибудь путное, я потерял связи с наскучившей богемной компанией?

Впрочем, кажется, ещё раньше, задолго до этого, меня равнодушно перестала замечать жена, а вскоре после развода я стерся и в памяти сыновей. К этому времени меня уже не узнавал отец, впрочем, вообще переставший кого-либо узнавать в свой последний год.

Затем мой образ постепенно растаял в сознании соседей по подъезду, дворника и водопроводчика, не мог более удерживаться в голове кассирши ближайшего магазина, с которой здоровался ежедневно, и в головах моих бывших студенток, уклонявшихся теперь от попыток с ними заговорить. Разумеется, он был с легкостью перечеркнут в памяти нескольких должников, и навсегда улетучился из сознания вечно разочарованных просителей.

На ближайшей детской площадке малыши и юные мамы не откликались теперь на мое привычное шутовство.

В мобильных телефонах перестал высвечиваться мой номер, а прежние друзья предпочитали дать отбой в ответ на уже незнакомый им голос.

Сейчас я привычно пытаюсь взять чашку с кофе, но рука бездейственно проходит сквозь неё: чашка не узнает своего старого владельца.

А ты, любимая, на кого теперь смотришь так пристально сквозь меня?

Я ЗАНИМАЛ ЗДЕСЬ

Кому из нас не мечталось порой переместиться ненадолго в дальнюю точку своего прошлого, хотя бы для того, чтобы исправить давным-давно случившуюся ошибку, например, отозвать вылетевшую невпопад глупую фразу, предупредить некое недоразумение, имевшее печальные последствия, или отменить коварную встречу, ставшую позже причиной многих неудач?

Известно, впрочем, что попытки обратного временного перемещения обыкновенно остаются только уделом наших тщетных фантазий да бессмысленных сновидений. Правда, углублённые психологические практики — могут здесь сослаться на опыт Игоря Пучнина — показывают, что возвращение в определённые моменты собственного прошлого в принципе

осуществимо. Но это, разумеется, само по себе ещё не предполагает возможности влияния на последующий ход событий — то есть постулат об инвариантности прошлого, вроде бы, остаётся неопровержимым.

Решусь, тем не менее, привести пример, побуждающий меня к сомнениям относительно последнего утверждения.

Много лет назад мне довелось знать одного психически нездорового человека, болезнь которого проявлялась в следующем: в минуты возбуждения он непрерывно, с нарастающим пафосом, множество раз повторял обрывок одной и той же странной фразы. Это мучительное для окружающих действие продолжалось обычно довольно долго — до тех пор, пока оратор, изнурённый своей эмоциональной, но совершенно бессмысленной речью, не впадал в дремотное состояние.

Возвращаясь к воспоминаниям об этом человеке, я полагаю теперь, что его поведение было лишь косвенно связано с болезнью. Истинной же причиной его трагедии была обрётённая им редчайшая способность возвращаться в некую особую точку своего прошлого, предопределившую ход его дальнейшей жизни. Повторяемая фраза была заветным ключом, с помощью которого он сумел попасть в эту точку, рассчитывая там кое-что исправить и задать правильный ход собственной судьбе. Он полагал, вероятно, что, овладев ключом, совладеет и с дверью, но этого не произошло — ключ вращался вхолостую, и дверь, соединяющая прошлое и будущее, не отпущала его с порога. У него не получилось сколь-нибудь существенно сдвинуться с той самой особой точки, и она теперь стала для него одновременно и прошлым и будущим, заставляя вновь и вновь переживать роковой миг. Остановившееся мгновение не было прекрасным — вот что стало платой за дерзкую попытку перекроить судьбу.

Кстати, вот она, его фраза: «Я занимал здесь место, я занимал здесь, я здесь занимал, занимал, занимал».

ОБОСТРЁННОЕ ЗРЕНИЕ

Всякий знает, что если быстро бежать вдоль дощатого забора, он делается прозрачным и открывает то, что ему положено закрывать. То же самое происходит и с рулонными вьетнамскими шторами, если перед ними часто приседать, — тогда узкие просветы между тростинками позволяют целно воспринять пейзаж за окном.

Хорошо усвоив этот эффект и обладая в юности высокой подвижностью, я, помнится, мог при желании сделать совершенно прозрачной одежду любой проходящей мимо женщины. Соблазнительная телесная красота отчётливо виделась мне сквозь сложные переплетения платяных нитей.

Утратив с возрастом некоторые прежние качества, я приобрёл и новое, а именно — исключительно обострённое зрение, которое теперь уже не зависит от моих телодвижений. Моё зрение позволяет видеть вещи с максимальной детализацией, как под микроскопом, порой даже различать их молекулярную и атомарную структуру. Картина внешнего мира мне представляется в виде динамичной совокупности множества растровых точек или пикселей.

При этом сам я теперь остаюсь неподвижен, а в просветах между пикселями вижу только пустоту.



Сергей ЗУБАРЕВ

/ Санкт-Петербург /

РОМАН С ХОЛОДИЛЬНИКОМ

И. Дудиной

рифмюясь со словом будильник
беспомощен будто дитя
ко мне приставал холодильник
меня извращённо хотя

не смей в нищете понапрасну
плодить допотопных детей
идём мы дорогой прекрасной
от новых железных дверей

отдайся святому поверью
высокотехничной зари
сперва за железную дверь
вместительный рай сотвори

а чтобы ускорить дорогу
в напряге пожизненных сил
молитесь рекламному богу
чтоб акцию он подарил

а если на новой машине
ты в пробке застрял невзначай
по той же случайной причине
рифмуется рай с помирай

ЗАТЕМНЁННЫЕ СМЫСЛЫ

играет бегемот на фортепьяно
и каждый раб его прекрасных черт
когда заря шаманит из тумана
и бранденбург вмещается в концерт

свободою решётка мироточит
парламентарий парией парит
его клюёт согретый грилем кочет
как рыба рыбе ноту говорит

скисает век портянки топ-моделью
чья мова термоядерно пуста
пугая человека птичьей трелью
но счастье нападает неспроста

* * *

когда я музыку включаю
едва завоет саксофон

альберт включает перфоратор
и скачет высунув язык

я бабой прыгаю с балкона
надев на голову мольберт

когда ж спасёт меня диктатор
и победит меня альберт

* * *

солнце светит солнце греет
но опять похолодает

люди важные потеют
потому что не летают

всё неважное поносят
и соломки не подстелют

что ещё они сморозят
что за думой заметелят

ГОМОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

пора чинить в пампасах утконоса
иначе космос вылетит в трубу

технически подкованные боссы
на ралли на моём скакали лбу

боюсь их план почётче барбароссы
и знает только чокнутый клошар

какие мозговые перекосы
сведут с орбиты однобокий шар

МОИ БЕСПЕЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

маразм разжиться третьим глазом
маразм повеситься с тоски

каким накрылись медным тазом
мои беспечные дружки

не нам крапить слепую карту
чтоб управлять плохой погодой

и честно стырить миллиарды
у слабоумного народа

герой загонит души в ад
затем тела зароет в ров

а мы играли в детский сад
и в мелкопакостных котов

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕЙЗАЖ

нет бы сдохнуть от-тоски-и-скуки
пошёл пить коньяк
на пляж Петропавловки

на фоне могучих волн
с пронзительным ветром
плюясь на замусоренный песок

пил-и-курил-озираясь
панорамную перспективу
окружают бдительные охранники

хотя в прямой перспективе
над Генштабом всё-таки
жизнелюбиво возвышается Исаакий

Пётр КАЗАРНОВСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



* * *

Одинаково дождь соберёт
и с того, кто под ним не живёт,
и с того, у которого рот
им залит, —
дань потопу.

Дождь-пират и дождь-печенег
вряд ли выбросит впредь на брег:
будь хоть зверь ты, хоть человек —
предстоит
путь ко гробу.

В обстояньи без тверди хлябей,
в разверзаньи могучих зыбей
кулаком, цепью, молотом бей —
океан
и услужит.

И корабль, закусив удила,
покачнется туда, где не мгла,
а могила ему сберегла
камень,
сушу.

* * *

речка черная что кровь
речка черная что ров
что умасливает боль
или расширяет лоб

буквы крови напились
пьяно смотрят жалом вниз

мы же бледные лежим
согласившись на отжим

вурдалаки дураки
до утра кукареку
напоют досыта
сотворения тщету

страшным облаком букварь
заслоняет неба вар
мы глядим в ту черноту
сохраняя ноту

спи обломов колесо
за рекой сидит лесок
баю-баюшки-баю
буквы черные пою

* * *

М. Ф. Е.

Забыл о скуке бытия
и веселюсь в порожнем горении
где быт и я
как корабли в замытом море
откладывался мир домой
в страну закупорки бутылок
и путь держался выходной
в двойное знание утех и направлений

* * *

Человек лежит в квадрате
Умножаясь и делясь
Глаз закрыт и в жутком мраке
Недоступен он для глаз

Человек заснул в квадрате
Не дерзая на объем
В комнате и на кровати
Обделенный полным сном

Нарисованный руками
Не вздохнет и не смежит
Не кирпич не гипс не камень
И не человек на вид

Он закручен ветром в коврик
Он не требует души
Не пускаясь в кроны, в корни
И не торопясь лежит

* * *

ехала карета
плакало корыто
завтрашнее лето
в облаках зарыто

в продолжение света
вдоль-наискосок
видимость предмета
тает на глазах

его стенки хрупки
положение робко
не хрустят скорлупки
лопнула верёвка

катится телега
в прошлогодний снег
горький дым ночлега
пробирает вмиг

* * *

кроме рук карманы кроют не впрок
ненароком ныне рок не нырок
но мирок номерками до крон
до корней до руин да корон
мраком мокро кромсать впору как
имяреку с собой по рукам



Юлия ШОЛОМОВА

/ Санкт-Петербург /

СЕРЬГИ ДЛЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ

Жена никогда не знала, что эти украшения предназначались другой.

Он наблюдал, как она вдевает в розовые ушки внучки серьги, подаренные им сорок лет назад. Изумрудные капли блеснули в свете люстры. Девочка тихо ойкнула. Не заплакала. У них в квартире вообще всегда было тихо. Так заведено.

Бабушка принялась дуть, облегчая боль. Зеленые подвески забились в паутине детских волос. Он прикрыл веки, представляя, что жена дует на его душу, что боль, с которой он жил много лет, притупляется.

Его руки — в чайных крапинках и седых ворсинах — все еще чувствовали тепло той, которая должна была сидеть сейчас перед ним в этих серьгах.

Между прочим, жена никогда их не носила. Интересно, почему? Интуиция? Или просто они совершенно не шли к ее светлым волосам и бледно-голубым глазам. Изумрудный цвет требовал насыщенности, глубины.

До чего ж они разные: жена и та, Неправильная. Как пресная речка и океанская пучина.

Неправильной ее прозвали родители. Она была не их круга, негодная чужачка. Разрез ее глаз, говор, происхождение и сам образ жизни — все вызывало у них отторжение.

Мама брезгливо изгибала рот, раздувала тонкие аристократические ноздри и возводила к потолку небесного цвета глаза. «Она же как с картин того вьетnamца. Помнишь, дорогой, мы видели в той частной коллекции. Как его звали, То Нгок Ван?» «А мне до лампочки, что она не имеет к Вьетnamу никакого отношения. Что же теперь — каждому гостю объяснять, что это не горничная? Стыдоба».

Отец качал головой, ерошил короткие блондинистые волосы. «Всегда был уверен, что мой сын выберет достойную спутницу. Как же я разочарован». «Откуда столь дурной вкус? М-да, в семье не без урода».

Мать прижимала к вискам бархатные от пудры пальцы. «Но, позволь, потом еще и собственных внуков стесняться? Это уж слишком».

Тем вечером он стоял за дверью гостиной и прислушивался к людям, которых с детства боготворил. Мальчиком он даже был уверен, что родители не ходят в туалет. Посещение столь невзрачного места категорически не

вписывалось в их безупречность. Они являлись как мифические герои, прекрасные и усталые, оживляя своим появлением однообразные будни с няней.

Из гостиной раздавался и третий голос — старшего двоюродного брата, любимца семьи.

«Отчего ж ты достался не нам, Георг?» — притворно весело спрашивал отец.

«Как твоя Анастасия? Слышала, выставка у нее скоро? Чудесную партию ты составил. Живопись — это так... достойно».

«А что наш романтик?» — насмешливо тянул Георг.

«Не спрашивай даже. Не порти настроение. Вот увидишь, сейчас опять к своей тетехе побежит. Попал под каблук. И ладно бы под изящный каблук, а то под рваный лапоть».

При этих словах в груди вскипело, перевернулось. Он перестал крутить в кармане коробочку с серьгами, выдернул руку. Захотелось то ли по морде съездить, то ли в окно сигануть, то ли еще как проучить. Кумиры вдруг предстали самодовольными глупцами. Сейчас он им покажет!

Он вошел в гостиную медленно, вразвалку.

«Ты никак на свидание спешишь?» — поинтересовался Георг и подмигнул отцу, как бы исподтишка, но все же не особо скрывая.

«С чего ты взял?» — небрежно бросил он и встал возле бара.

Коньяк жирно плескался, наполняя стакан, хлынул в горло обжигающей лавой. Анестетик души. Он налил еще и развернулся к исполненным достоинства лицам.

«А что это вы, на ночь глядя, на кофе налегли? Завтра выходной. Упадете же, ваши благородия, в объятия Бахуса!»

На другой день он не помнил, как и когда покинул гостиную. Зато память на удивление ярко запечатлела три испуганно округлившиеся пары голубых глаз. Он с удовольствием лелеял это видение, пока не зазвонил телефон.

Пронзительная трель буравила голову, и сквозь боль он с трудом понимал, в какую сторону метнуться за трубкой. Запутался в одеяле, некстати вспомнил, что так и не пришел вчера на свидание, а она, должно быть, переживала, ждала.

Потом, прижимая к уху выскальзывающую черную рыбину, из которой раздавалось «Алло! Ты здесь? Ты только куда не уходи! Я сейчас приеду!» — никак не мог осознать, что только что голос лучшего друга озвучил приговор.

«Вчера поздно вечером, в парке, неизвестными зверски убита девушка». Его девушка.

А он в это время демонстрировал независимость от нее. Независимость от смысла своей жизни, идиот.

Черная рыбина дернулась и, вильнув кудрявым хвостом, юркнула под комод.

Через пару лет родители нашли для него жену.

«Какие у вас будут дети — порода! Голубые глаза, правильные носы, брови будто нарисованные!»

Ему было плевать. Вся его жизнь была нарисованной. Аккуратно выведенной художником-ремесленником, без помарок, без клякс, без разводов. Каллиграфическая жизнь.

Спустя сорок лет он смотрел на жену и видел иные, не стирающиеся из памяти черты.

Смотрел на внучку. Славная девчонка, но почему-то на белесом светлооком лице все мерещились глазенки-вишни другой, так и не родившейся. Или это был бы пацаненок, темноглазый, скуластый?

В то жуткое утро он ползал по полу и выл, зачем-то вылавливая из-под комода черную рыбину. Потом вспомнил, что в одном из ящиков лежит кинжал — индийский подарок отца, и полез за ним. Кто-то навалился сзади, скрутил, уложил в постель, а из коридора раздавался ровный голос матери, обращенный не к нему.

«Вот увидишь, вся его любовь — не более чем болезнь. Время лечит, и когда он выздоровеет, поймет, от чего уберегла судьба. Еще благодарить будет».

Только вот болезнь оказалась неизлечимой, и никакие лекарства не помогли.

Лет десять он учился любить жену, раздувал в себе огонь. Потом понял — не выходит с женой, не горит. Пошел разводить костры в других местах. Дров наломал, но так и не случилось искры. Во всех он искал ту, Неправильную, непринятую, неодобренную, ту, которую не выкорчевать из сердца. Корешки проросли в каждую артерию, в каждую вену, в каждый капилляр.

Пока он искал и не находил, жена ждала. И дождалась. Он сломался — инфаркт, потом инсульт. Жизнь как неинтересная передача по телевизору, которую смотришь безразлично, разве лишь потому, что по другим каналам ничего нет.

И никакой зацепки, ничего осязаемого не осталось от той, что взглядом раскосых глаз заставляла взмывать выше уличных фонарей, путаться в проводах с ленинградским вороньем и разлетаться в клочья мельтешащих черных крыльев, потом планировать вниз, припадая губами к ее белой с голубыми венами руке.

Старый идиот. Как же, ничего не осталось? А серьги?

Серьги. Вот единственное, что связывало его с нею.

— Дайте-ка сюда.

Он протянул руку. Жена с внучкой переглянулись, одинаково вскинули тонкие брови, засуетились. Не сразу поняли, что он просит.

Внучка насупилась, вцепилась в уши.

— Не дам! Дед плохой. Больше с ним не дружу.

Жена косилась тревожно — чувствовала. За столько лет она выучилась безошибочно угадывать, когда можно возразить, а когда бесполезно.

Потом пара с зелеными каплями легла на его ладонь. Щекотное прикосновение. Он сжал кулак. Изящные завитки впились в кожу.

— Они так бы пошли к твоим карим глазам.

— Что?— рассеянно переспросила жена.

Он подумал, что должен бы взволноваться, что ляпнул лишнее, но ни один мускул не дрогнул. Во всем теле тишина, только ладонь вибрирует, та, в которую впечатаны изумрудные капли.

Тяжело поднялся и двинулся прочь из гостиной — через коридор, увешанный семейными фотографиями, к себе в спальню.

С черно-белого снимка в конце коридора смотрели родители — с упреком и неодобрением.

Он стиснул серьги крепче, желая втереть их в кожу, прямо в линию жизни.

Размахнулся — ударить по стеклу, за которым прятались горделивые лица. Потом опустил кулак. Пришло ясное понимание — в любом случае он видит этот снимок в последний раз.

В комнате присел на кровать.

Он хотел бы прожить эту жизнь заново. Прямо сейчас проснуться и обнаружить, что это всего лишь ночной кошмар, что на самом деле он пропустил мимо ушей колкости близких и пошел на то свидание.

Но проснуться невозможно. Можно лишь уснуть.

Он разжал пальцы и взглянул на ладонь, инкрустированную самоцветами.

В следующий миг изумрудные капли сверкнули и закачались под аккуратными мочками, путаясь в темных волнистых прядях.

Раскосые глаза, вздернутый нос, высокие скулы. Шрам в виде знака умножения над левой бровью. Лицо возникло прямо перед ним настолько отчетливо, что он понял — бог услышал. Это второй шанс.

Он протянул руку, но она отшатнулась — игриво, приглашающе.

И он побежал за ней туда, где никогда не был — в обшарпанный двор, увешанный пеленками и панталонами, в душную хрущевку, где она — безотцовщина — жила с матерью и двумя сестрами, в тесную кухоньку, где между плитой и столом едва втискивались два человека. Детские визги из коридора перекрывали крики с улицы. Это родители кричали под окном: «Одумайся, дурачок!»

А он все тыкался носом в ее шею, задевая серьги цвета океана, вдыхая запах ландышей и борща.

— Не мешай! Вот лучше лук порежь, а то я с него всякий раз плачу.

Он схватился за нож, закрыл глаза и стал кромсать.

— Ты больше не будешь плакать. Никогда не будешь плакать.

Внезапно лук обернулся красным месивом, отцовский кинжал зацепился за серьгу с зеленой подвеской и упал в ящик комода. Руку охватила боль.

Он напомнил себе, что это всего лишь дурной сон, и поспешил обратно — в звенящую голосами, манящую реальность, где изумрудные капли плясали под нежными мочками и запотевали от кипящего у локтя борща.



Михаил МЕЛЬНИКОВ- СЕРЕБРЯКОВ

/ Санкт-Петербург /

*

	перечитывая
медленных	сонных птиц
	падающих
расправив	крылья
	нелепо
или	сложив
он	заметил
в розовеющем	полунебе
главную	звезду созвездия
	вечера
выпуклого	удивления
повторить это	движением слова
так	трудно
оно	само по себе
	независимо
перечитывая	с кротостью
но	уверенно
в темно-зелёной	траве
	засыпающих
желтыми	одуванчиками
	птиц
выпуклого	удивления
	неожиданно

он увидел
созвездие слов

через
через тихие крылья

верлибра кустарников

*

случайно
разорван вектор времени.

в календаре внезапно появилась
хронологическая какая-то
кочка преткновения

и лето стало прочерком —
Июнь Июль и Август отсутствуют

театр абсурда!

мизансцена «Встреча»:

лимонно-искрасна-коричневая Осень
с морщинами сухих деревьев
на щеках
хихикает и шепчется с Весною
в зелёном сарафане
и жёлтых одуванчиках венка
на голове...

незамедлительны последствия —

не будет

черешни
земляники
яблок...

причина этой
возможности не быть
всего лишь

царапина на цифровом носителе —
CD календаря

случайно-виртуальными когтями
милой ласточки

*

если
при
благоприятных условиях

немного
и
до беспредела

подсуетиться
расплющиться
расплющивания

превратиться
нано-техно-логический
атомов

а
потом
протиснуться
в
пространство
между
бумагой
и
текстом
напечатанного
на ней
своего
собственного
стихотворения

можно
совсем
через
в лица

будет
незаметно
полоски слов
смотреть
читающих

или
просто-напросто
увидеть
вечерние
в небе
облака

атомными
глазами

через
свои
стихи

Александр СМИР

/ Санкт-Петербург /



*
Учил добру,
Расстегнув кобуру.

*
Добро с кулаками,
А било ногами.

*
Что приготовит на третье
Второе тысячелетие.

*
Зеркало
Зыркало.

*
Эко
Эго!

*
Осы осмелели.
Шмели ошмелели.

*
Вокруг да около
Все каркало да караокало.

*
Как трепетная ива
Склонился я над кружкой пива.

*
От усердия дотла
Сгорела новая метла.

*

К свободе
Не годен.

*

Мечтала быть нелюдимой
Скамья подсудимых.

*

О как кричало
Концом придавленное начало.

*

Вдохновение приди!
В груди гуди!
Я взглянул на бигуди
Глазами Гауди.

*

Поможет ли без блата
Ума палата?

*

Светало,
Но как-то устало.



Рис. Ю. Филипчук

Евгений ЛИНОВ

/ Санкт-Петербург /



ОТРЫВОК ИЗ АНТИРОМАНА «ЛЖИЗНЬ №5»

Как некогда сказал великий русский сексолог Абрам Моисеевич Свящ: «стоит только один раз позволить ему не встать, и ты поймешь, кто из вас по-настоящему impotent».

Женщины относятся к этому бережно. По крайней мере, пытаются сосчитать до трех. Магическое число три! Оно так быстро кончается. И волшебное «трах-тибидох» превращается в вялое тибидох. Вот тогда фальшак становится неотъемлемой партией сопротивляющегося либидо, и думаешь: лучше бы хромосома отца наделила тебя не абсолютным слухом, а абсолютным йухом...

Да, в какую только позу не поставишь слово ради обета не употреблять мат. Но, как заметил тот же Абрам Моисеевич, несмотря на любимую позу, Сара все-таки умерла от рака.

Время нещадно.

Женская любовь обладает эффектом водки: чистой — можно выпить много и сразу, но если долго и помногу пить — начинает подташнивать. Зато крепчает женская красота. Мужская любовь — обладает эффектом женской, и подташнивание постепенно становится единственным способом существования. Каждый выбирает себе вибратор в зависимости от воображаемого оргазма...

Интересно, чего больше: оргазма в Любви или любви в Оргазме?

Похоже, от этих величин в биноме зависит наша несвобода. После оргазма я всегда думаю о стране. В этом мое ничтожество, как говорят патриоты. Лучшие люди думают о стране даже во время оргазма. Высочайшая воля! В русском языке воля всегда была выше свободы, и оргазм существовал отдельно от языка. Хотя с помощью языка и воли можно достичь высочайшего оргазма даже в стране, по которой человек как хозяин проходит. Всего лишь одно слово «проходит», переставленное в конец предложения, и смысл категорически меняется. Я не говорю уже о запятой между «казнить» и «помиловать». В одном ее переносе — уже судьба, препинание, причастный оборот жизни. Интересно, Любовь — тоже запятая? У кого-то она похожа на точку. Точка — это когда запятая отбрасывает хвост, и он уже больше не вырастает.

Вчера читал «Разговоры Пушкина...». Он весь из запятых, как стая сперматозоидов. Остановить их было невозможно. Он чувствовал это мозгом. Именно чувствовал, и не решился остановиться. Мозгом — врал, что верит Натали, а в глаза стае смотреть не смел, метался. Стая сожрала его политес, который он пытался зарифмовать с Дантесом: Дантес — политес...

Вычитание сперматозоида. Так бы я и назвал повесть об Александре Сергеевиче, если бы не встретил битова зайца, выпущенного наперерез...

Чистой воды страдательное причастие. Убит поэт... одной свинцовой запятой: и насмерть, и в живот. А был бы он вольником чести, не стал бы chercher la femme после того, как нашел точную рифму.

Мужчина и Женщина. Игра ветра с портьерой...

Я смотрю, как от ветра тащатся опавшие листья, и бедный Левитан масляной кистью ловит стружки потускневшего золота, облезавшего с его полотен. Иногда сам ветер приносит пурпурный кашель Антона Павловича из сахалинского лазарета. Или в мути опухшего утра по умытому тротуару Невского проспекта ветер кувыркает нос коллежского ассессора Ковалева, отрубленный топором Родьки Раскольникова.

— ЖЗЛ, ЖЗЛ, — скрипят от ветра старые створки открытого окна на даче союза писателей, и верблужья шерсть моего одеяла встает дыбом от леденящего дыхания Разлив-озера. В полусне я протягиваю из-под одеяла ногу, пытаюсь большим пальцем зацепить ручку окна, чтобы прикрыть его, но натываюсь на что-то странное. Я отдергиваю ногу, открываю глаза и вижу пышного филина. Он не улетает и смотрит на меня большими глазами, как у писателя Быкова. — ЖЗЛ, — говорит он и перелетает на ель, как ворона из басни Ивана Андреевича, выпущенная Лафонтемом.

Но сыра на подоконнике нет.

Утро. Дождь плюется в меня холодными каплями. Мелочно. Он не похож на верблюда. Дождю не надо доказывать, что он не верблюд. Дождь — состояние, временно безвыходное для человека.

Ливни. Линии связи Богов с низами.

За ними мимика. Язык акына. Кино.

Дрожь дождя на простыни.

Инъекция Люмьера в гипофиз.

Пофигизм стиля фигового листа...

Может быть, окно открывает меня небу, и я слишком самонадеян, чувствуя себя одушевленным... Я — Тело, беззвучно растрачивающее тепло. Вот уже неделю природа беспробудно пьет: опухшие почки ольхи, пролежни луж. Да и форточка не удерживает себя в рамках, приходится силой ставить ее на место.

Проволока дождя под током. Окно — единственное, где Тело может чувствовать себя распахнутым. В тишине. Хорошо, что здесь никто громко не говорит о душе: как-то спокойней. Я много раз думал о том, что такое душа. Столько раз приходилось сталкиваться с ее эпитетами. Но с душой — никогда, даже в потемках. Сколько раз я спрашивал себя: от чего появляется плод человеческий — от соития двух Душ или двух Тел? И смеялся над собственной глупостью. А может, глумился над уставшим Телом...

Душа не соперник Телу. У Тела есть стиль. Тело неповторимо. Я не знаю Художника, который может изобразить душу. «Душечку» или «душонку», пожалуй, да. Эти — принадлежат Телу. А душу?

Люди много говорят о Душе. Там, где много говорят о Душе — Тело не в порядке.

Тело — это вершина творения, Душа — пропасть. Две субстанции, отрезанные фрезой Бога от солнечного сплетения. Отрезанные не равно. Тело — к радости, Душа — к боли. Жаль: и то, и это проходит...

С тех пор, как убывание Тела набрало скорость, я все менее восторжен. Поздно думать о Душе. Да и Боржоми давно запретили. Много ушло из того, что было. Моль времени от души потрудились в шкафах наших представлений. Но от этого они не стали одушевленной...

Когда ничтожество становилось одушевленным,
то превращалось в никтожество,
никто нечеловеческое ему было не чуждо:
никто любило тоник, тонкие никотиновые кольца кальяна,
токайское белое и город Токио,
уж кто-кто, а никто лучше не знало,
кто значит много шуму из никого,
и в этом оно никтоже сумняшесе.
а кто не любил никто,
тот был и вовсе никем,
и как ни стремился — всем стать не мог.
Потому что всем мог стать только тот, кто был ничем.

Утро. Длинный клин перистых облаков. Низко над кронами кленов. Ветер загоняет их за Разлив. Вечером они сядут на теплую воду озера, и будут ждать тишины, чтобы за ночь превратиться в туман. Туман — душа воды. Эта душа не отравляется от своего тела, она плоть от плоти. Просветляясь и исчезая, она снова возвращается в тело. В тело воды.

Тишина... Комфортный бесчеловечный период внутренней жизни. Лучшее время понять себя. Способ обострения мысли. В одиночестве... Но как защищается тело! Дьявольское либидо включает семенники, и абсцесс мудрости взрывается в нефритовом стержне. *Cherchez la femme* — черную дыру, ломающую мужскую орбиту... Сколько черных дыр в моей жизни? Сколько раз я был вне истинного времени, так как, попадая в пространство женщины, время стремится к нулю. Мужской полет прекращается! Женская гравитация искривляет сознание мужчины, и его свет исчезает.

Чтоб я сдох, если это не Эйнштейновский коллапс! Тело — горизонт черной дыры, за которым исчезаешь навсегда. Если влетел, прошлого словно не было...

Иногда мне кажется, что энтропия составляет большую часть нашей жизни.

Старый дядюшка Зиги! Он все время достает меня своими интроспекциями, как будто больше некому наблюдать, как разрушается прошлое. Хотя бы зеркалу, оно-то не умеет врать. А мне по несколько раз на день приходится проходить мимо правды. Дурацкое любопытство, с детства. По удивительному стечению обстоятельств, первые натуралистические импрессионисты поймали меня на улице Дарвина. В маленьком коммунальном дворике, с пованивающим дальняком на два очка, стоящим посередине. За ним были

сарай для дров. Именно там, за бельевой растяжкой, на которой сушились женские рейтузы-двустволки и мужские кальсоны с ржавыми обломанными пуговицами на ширинке, я потрогал одну маленькую штучку. Точно такую же, только неживую и холодную, разделенную на две половинки глубокой прорезью, я видел в Геленджике. Туда для привеса родители вывозили меня на море каждое лето. Но та штучка была неживая, а эта — теплая. Может быть, так казалось тогда: детская память так же туманна, как свет Андромеды. Эгоцентризм пятилетнего удивительно напоминает представления старого маразматика о том, каким он был сам в этом возрасте.

Элька погладила её моей рукой.

— Что ты, как маленький, — сказала она. Потом, оттолкнув мою руку, хлопнула оттянутой резинкой себе по пупку и спросила: — Не нравится? Врешь, нравится, нравится. Мой папа, знаешь, как ее целует!

— У тебя? — спросил я.

— У меня, — сказала она с вызовом, — и у мамы...

— А у мамы зачем?

— Чтобы она ему сделала братика. Я тоже могу тебе сделать братика.

Она неожиданно оттопырила мои трусы и посмотрела внутрь: — Только у тебя дура маленькая.

— Сама ты дура.

— Да ты не обижайся, мама так папину называет.

Вот она, та самая, с прорезью, в мелких черных пятнышках, точь-в-точь похожая на Элькину — лежит у меня на столе. Я прикладываю ее к уху и слышу море. Это память. Все, что осталось от улицы Чарльза.

Улица, которая проводила перпендикуляр к нашему дворику, называлась Ходоёт Эмель Бекле, по крайней мере, так я запомнил...

Облака... белогривые! Да не было их вообще... Пékло. Все лето — стоящая африканская Соляра. Ни одного облачка. Там, где пересекались улицы Ходоёт Эмель Бекле и Чарльза Роберта Дарвина, не было никаких облаков. Бесконечной ослепительной голубизны батист был натянут над моим детством. Этот волшебный купол накрывал все: немецкий трофейный велик, грозди жирной вкусной акации, арбузы, черную икру, которую привозили с огнёвок, смоленные днища перевернутых баркасов, неисчислимое количество разноцветных стекляшек под босыми ногами, мослы, маялки, керосинщика Гумера, золотаря дядю Гору, и за все лето мог ни разу не уронить ни одной капли дождя над песчаными отмелями Кутума, возле сетевальной фабрики, где я, не помню как, научился плавать.

Я не был шелковым. Шелковый путь прошел мимо.

А здесь, на севере не носят батиста. Природа не принимает, слишком густа: черное небо над черной землей. От осени до весны. Томная красота породы.

Южное небо терракот любит. Божественный кобальт, не в пример чело- веку, разборчив. Он ищет в людях краски, чтобы в возбужденном пленэре не иссякала жажда кровосмешения. Юг — это либидо. Север — воспоминания о нем. Медленное воспоминание. В России, на севере, медленное время позволяло разбрасывать камни, и все, что потом удалось собрать по-быстрому — Петербург. Остальное за пазухой или на сердце. Кто как хранит.

С того времени, как Элька оттянула резинку на моих трусах, началось моё движение к северу...

Итиль

Вспоминая глинистые края, где под ливнем вязкая колея,
Где встречаешь верблюда чаще жилья,
Где пастух-татарин вдогонку кричит — «Кая
Барасым?», не стыдись за смешную слезу: ни ты, ни я
Никогда уже больше не сможем украсть
У Эрота скупого бесстыжую страсть Высшей силы.
Хуже — если finita la тело высушит до нуля, так, что сам ты, а не земля,
Станешь пухом. И не сможешь на манер бикфордова шнура
По листу гнать искру в ночи, острием пера
Высекая огонь. И сложить триста лучших строк до немого утра.
Пусть умрут за меня, как спартанцы за Фермопилы.

Не помню, какая из трехсот строк была первой, но, возможно, именно она и была лучшей. В десять лет лучшие строки приходят десять раз на дню, и снисходительный взгляд отца, закаленный солнцем русской поэзии, не оставляет сомнений в задатках таланта.

О, нет! Меня не ставили на стул в присутствии гостей.

Вот, видите, даже эта строка, отдающая сермягой прозы, не что иное как пушкинский ямб, а может быть, даже сам Самуил Яковлевич или Агния Львовна оргазмировали по ночам ямбом, заплетая дидактику в стройные строки стихотворений. Хотя, как говорил отец — у каждого начинающего поэта должен быть хороший стул, но не обязательно при гостях. Афористичность отца крепко наследила в моем гипоталамусе, и сильно повзрослев, я добавил к этому изречению скромное уточнение: настоящий поэт должен уметь хорошо кончать.

Честно говоря, после солнца русской поэзии мне уже ничего не светило. Но тогда по невежеству я этого не осознавал. Лучше не знать, иначе поймешь, что все, что ты написал, уже кем-то написано. В мире нет ничего нового, кроме новостей о собственной смерти...

Я бежал из низовьев имперской реки,
резанув пуповину, завязав мертвый узел, остряки
в тех местах говорят: — Не умеешь в воде пердеть — не пугай рыбу.
А на Севере среди памятников легче смердеть:
за компанию и жиду могут поставить глыбу.
Здесь избыток гранита, и уже не убогий приют
чухонца, ныне ставшего лучшим в Европе, привьет
существительность речи и языческую любовь к истуканам,
знать, Евтерпа, одна из Муз, продолжает своих рабов
умножать, доставая из ничего — то Катулла, то Артюра Рембо,
то Иосифа, то Имярек, заставляя пигмеев уверовать в Великанов.

А зря. Я про великанов. Бывает, что и у них дура оставляет желать лучшего. Если бы Элька тогда, во дворе на улице Дарвина, не оттянула мою резинку, я бы так и продолжал верить.

Теперь сомневаюсь, не слишком ли много веры для такой короткой жизни? Женщины — вот кто спасает нас от нее. От веры или от жизни? Зануда обязательно попросил бы уточнения. Но я бы не стал настаивать на чем-то одном. Настаивать дело настоятелей. Сейчас я уже вряд ли смогу

вспомнить причину, по которой началась моя причинно-следственная беспорядочная связь. Но Та, которая в этой связи лишила меня неприкосновенности, резину уже не тянула. Мне повезло. То, о чем так долго не говорили большевики, сделала женщина. Она была тем самым мигмом между прошлым и будущим, за который держаться было глупо. Это был крупный шаг в развитии моей гетерономии. Женщины вытеснили всю романтическую воду из моей и без того ненасыщенной жизни. Слава Одину! Я поклоняюсь ему как коллеге-язычнику.

Упреки за филологический снобизм, за маниакальное увлечение сексуальными изысками я слышу постоянно, но кому, как не мне — человеку тяжелой судьбы и легкого поведения рассуждать об этом. Чего мне стоило отказаться от обценной фразеологии, которая закладывает в сознание шестилетнего отпрыска советских интеллигентов великий дух народности. Ею были исписаны все заборы во владениях Ходоев Эмель Бекле, а также неприступные стены городского кремля, фасад музыкальной школы и дом санитарного просвещения, находящийся в бывшей татарской мечети. До пяти-шести лет, разговаривая только на своём, татары виртуозно вплетали русские смачные трех- и пятиэтажки в скупую фонетику тюркской речи. Грузчик Эмель Бекле был персом, но это никак не навредило, а наоборот, еще сильнее подчеркнуло интернациональность отборного русского мата. Все эти высоконаучные этимологические положения для нас с Элькой тогда не имели большого полового значения, так как наши отношения укреплялись исключительно тактильным путем, в результате чего, впоследствии, Эльвира Гумеровна увлеклась дактилоскопией и оказалась в органах глубоко внутренних дел, что было верхом симпатии к ней Всевышнего. Забегая вперед, замечу, что наша будущая встреча с лейтенантом Эльвирой Гумеровной прошла в теплой и конструктивной обстановке, мы стали эхом друг друга, но оно оказалось недолгим. И мне не за что его упрекнуть.

Упреки вообще не дают результата, особенно когда они справедливы. В лучшем случае они укрепляют убеждение, что все, что ты делаешь — это стиль, и что без стиля не может быть и речи об исключительности.

* * *

Все, что связано у меня с этой страной —
Убывающий счет друзей — именной.
Все, что связано у меня с этой страной,
Вырванный зуб мудрости и проеденный коренной.
Но лучшее, что связано у меня с этой страной,
Только с женщиной...
Благо, что не с одной...

* * *

Лет сорок назад я знал, что такое Джаз...
Я знал, что ребра за тридцать три оборота, кружась,
Ловили пропеллером кайф, а игла
Могла баритоном, сурдиной могла,
Звуками в комнате, как иголка тату
Насквозь пропитывать пустоту.
Лет (сколько назад?) я знал, что такое Джаз.
Тогда для бессонных имперских глаз

Он был щитовидкой, за горло держ
 Удушьем, как запахом от бомжа.
 Лет тридцать назад я знал, что такое Джаз.
 Я знал, что губы, нервозно дрожа,
 Хватали влагу, опережа-
 Я вдох. Но столько не задержива-
 Ть, когда нет мочи для терпеха.
 Лет двадцать тому назад, я знал, что такое Джаз.
 То было время для мятежа с
 Речитативом по тем парням,
 Кто чью-то ж*пу оборонял-
 Ши себя приравняли к камням.
 О! Это был Джаз! Но какую рать
 Нужно, чтобы так отыграть...
 И я узнал, что такое Джаз,
 Когда от шизы и куража
 В Нью-Йорке сто тридцать два этажа
 Стирались в беззвучие падежа.
 Когда бы, во что бы, не погружась,
 Не зная зачем, но за это держась
 Глазами, руками, зубами паж
 Впиваемся в шлейф поострее ножа
 И стелемся кровью...
 А кровь так свежа.

* * *

Игра ветра с портьерой затрудняет вторжение листьев с балкона.
 В гольфстриме ночника эти локоны шатенки означают пострижение осени в зиму.
 В отличие от революций смена режимов в природе происходит законно,
 как наступление поллюций во сне во время блуда с Мнемозиной.
 Зима — гений потери. Броун теряет пост хореографа комаров, взвизги
 похотливых сирен, возбуждающихся даже от горбатых авто,
 все реже. Из гаштетов увольняют тепло. Завсегдатаи спасаются виски,
 Но об иске не подумал никто. Разве что неприкрытые ляжки курсистки,
 выросшей из пальто.

Зима, словно пиранья, молниеносно объедает крупы деревьев.
 Четки товарняка, перебираемые пальцами шпал, обрезаются линией горизонта.
 В беспочвенности пространства — точки зрачков точно высверлены в гипсе дрелюю
 или в снегу на Финской — пулеметными гнездами дзота.
 Смерть хлорофилла уносит цвет. Иероглифы веток на пергаменте неба рифмуют танка.
 Обжигаясь Норд-Остом, бабочки губ поджимают крылья.
 За клетками лесов колонна Александрийского столпа — арестантка.
 И плывет по Дворцовой дурманящий запах гриля.

Блюз без ошибок

люблю блюз...
 бюсты,
 шуршащие чешуйками блюз,
 змеение бус.
 я ли
 не нырял глазами под крышку рояля,
 напоминающего дельту декольте,
 в котором плещутся два полушария моего мозга.
 я ли
 не дразнил саксофоном замочную скважину ее силуэта.

блюз — изгнание заблюЗждений, розга
для мазохиста, это
сброшенный груз уз.
и, все же, боюсь
отключиться,
дойдя до ее ключицы,
такое может случиться.
о, как лучится
эллипс софита.
чу! спиричуэл!
спиритус флат ўби вульт
(дух веет, где хочет)
дум спиро,
надеюсь, блюз
будет играть на моих клавишах,
как Юз
Алешковский на гормонах Николая Николаевича,
пока не углублюсь
и не обособлюсь,
как член предложения —
запятыми или тире,
или член во фритюре.
Если скажете, что мое фальшивое ре —
инфляция флексий, не оскорблюсь.
Но, любите ли вы блюз,
так, как люблю его я?
то, что вы слышите — блюзовая
моя
композиция:
она называется «Любовь не для холуя...»
Но общая позиция
не меняется:
холуев до х*я.

* * *

Энергосберегающее солнце раннего Петербурга.
Снежностью забинтована грудная клетка Летнего сада.
Фасады на фоне зефира фонарей.
Фонтанка тонка. Пленяет пленэр.
Возле храма хромой пес на Пестеля. Живописная Муха в мехах.
Студеный Соляной. Студенты. Действо рож.
Рождество.
На Литейном льется иллюминация. Панацея от темноты.
Нация в 2010-том.

* * *

когда тебя нет, я мысленно репетирую с тобой,
я учу обе партии — за себя и за тебя тоже,
потому что ты не можешь по нотам
и каждый раз закрываешь глаза:
ты любишь слепо,
в твоём теле внутренний слух,
он становится абсолютным,
когда ты готова продать родину,
и начинаешь джаз.

Тогда мои руки и губы обретают естественность,
а без твоих — я не знаю, куда их девать,
Почему для этих инструментов не изобрели футляра?

Фунты с лихуем

я работаю узбеком, и пытаюсь представлять,
что сказал бы Френсис Бэкон, если б сам х*ярил, бл*дь?
если б он без содержания отпуск взял у короля,
и под лордовское ржанье, не за фунт, но очень лихо,
под инфляцию рубля, землю мерзлую долбя,
по-английски — тихо-тихо выгонял бы из себя
рабство, как писатель Чехов, не спеша, давя по капле,
но, работая узбеком, Чехов вряд ли б знал, а так ли
он выдавливает рабство. Вирус рабства, как холера,
за сие головотяпство вновь сослали б на галеры...
где же выбор, нет, как видно, лучше только рабство — божье,
вот за это и обидно, для него равны все рожи:
лорда Бэкона, узбека, англичанина, еврея,
все же — в жизни человека есть нюанс, который греет
положительным примером, то, что и в галерном рабстве,
можно даже быть премьером и навечно избираться.

* * *

быть консьержем в незаселённой высотке,
пустоту в двадцать пять этажей
околачивать х*ем, и всё-таки,
у безлюдья запах свежей.
на безлюдье и раки здоровые,
ни сумы, ни тюрьмы, ни забот,
если суки, то только дворовые,
да и мбзги никто не еб*т.
ни товарища нет, ни влагалища:
не ищи — не получишь пи*ды,
даже нет ни беды, ни пожарища,
и жидов нет, а кран без воды...

* * *

Речь — лучшее средство проникновения в женщину...
Сколько раз сквозь в ее маленькое ушко я протаскивал двугорбого
И один горб застревал прорастая у нее вместо крыльев
И она шла за мной по пустыне
Пустое дело, скажу я тебе
Да и от нее я не скрывал что пустое
Шли песочные годы
Мы ели песочные торты
Мы строили замки на песке
А жили в замках
Если мужчина и женщина живут в замках
Значит это кому-нибудь нужно
Значит кто-то называет эти замки браслетами
Говорила мне мама не лепи горбатого в ушко женщине
Не зарывайся в песках
Сорока лет недостаточно чтобы избавиться от песочного привкуса...

* * *

жгут осенью мои лета
летальность в лепете листа
и туг же жгут в букете варикоза
заварка жизни слабого лейкоза
злей коза ностры
пуще метаста...
зы дальняки отхожие места
не добежать до ближнего куста...
преклонны клоны грустных клоунад
нет им гнезда которым крышка над
которые от рокота страстей
как бес ребра — не соберут костей
валентность облетаения люта
мои лета тлен тела маята.
у смерти есть своя интерпрета...

* * *

Отверлибрировала роща золотая
Гекзаметры по небу косяком
Как в турбулентность журавли влетают
И тают над всевышним волочком
Я сам тащусь по городам и весям
И в эти сволочаевские дни
Все не решаюсь выбрать Смит иль Вессон
Невесты мне кричат — повремени
Ведь стало более лучше веселее
Не пишет Мандельштампами никто
И в лету уканала Лорелея
И стал Пегасом бывший конь в пальто.

* * *

Мы идем в ж*пу со временем
Со временем временная ж*па
Начинает идти очко в очко
С рейтингом Президента
Который идет в ногу со временем
Вот откуда ноги растут

* * *

вот наши бараны
а надо ли нам возвращаться
при стаде охрана
на стадии раз — разворачиваться
вокруг оглянись
твои пастухи маскулинны
не суетенись
их суетенеры гоблины
полянью полна
половецкая полупустыня
весна сожжена
как в газе твоя палестина

кошары кишат
бесценным сырьем кашемира
как тучи стихат
стихийно народных кумиров
изгой баранья
я худший отказник от рая
меня кумовья
в тетрадную клеть запирают...

* * *

как же я зависим, сука, от этих гаджетов и Caps Lockов:
они — играют моими пальцами,
они сделали меня своим инструментом,
они знают обо всех ошибках, и даже, когда я описываюсь, не упускают случая
это везде подчеркнуть.
положа руку на мышь, признаюсь, что готов следовать мышиным курсором,
навешивая ярлыки на чужие высказывания, а свои — из страха прослыть бездарным,
отправляю в корзину и делаю вид, что ничего подобного не писал.
стоит случайно задеть Caps Lock и мои слова, которые начинаются с маленькой буквы
становятся неестественно большими и уродливыми, как у гоп-патриотов.
мои чувства покрываются мелким почерком Times,
но интернету на это — откровенно на сайт.
новому поколению по колено — оно выбирает ЖЖ, значит, у него выбор есть.
а раньше выбора не было: все были в глубокой Ж, причем, все в одной.
лэптопы многое изменили, теперь в shore возятся только креативные:
быстро — десятью пальцами они открывают, вставляют, вырезают,
разворачивают, ставят любым ракурсом.
Самое смешное, что раньше все это мы делали и без интернета.
И никто — ни под каким виджетом не чувствовал себя полным гаджетом.
Потому что, когда у тебя своё лицо, ты не можешь торговать интерфейсом.

* * *

с возрастом мои восклицательные знаки стали загигаться
и все больше напоминать вопросительные...
вы когда-нибудь наблюдали сгорающую спичку?
ей даже не приходится выбирать из двух зол,
зола — единственное, что остается после того,
как спичку чиркнули.
если ее крепко зажать между большим и указательным,
спичка горит с головы, и серное вещество тает на глазах.
редкая спичка успевает зажечь свечу,
прежде, чем загнётся.
но все спички ждут своего часа, чтобы когда-нибудь дать прикурить.



Валерий МИШИН

/ Санкт-Петербург /

ВАРИАЦИИ

каю боровскому

мой вечный товарищ мой друг доходяга
 коняка везущая хвороста воз
 собаке навзрыд или кошке под хвост
 собака всегда говоришь ты собака
 мне с вами морока докука и шняга
 без вас я навоз глинозём калабаха
 рубаха без пуговиц нос в перекося

мы вышли из леса и ты засмеялась
 я поднял с тропинки кусочек стекла
 когда-то сосуд был стакан нынче малость
 всё то что осталось ни смерть ни зола
 на солнце сверкает искрится играет
 дробит изумруд пурпур кобальт небес
 кто знает а может быть и не знает
 мы вышли из леса и там где был лес
 свобода простор взмах ресниц перспектива
 один к одному и намного вольней
 мы вышли из леса о дивное диво
 поля золотились смеялся ручей

* * *

что можешь ты найти на дне колодца
 лист залетевший из соседнего колодца
 колодец этот петербургский двор
 что можешь ты поднять со дна колодца
 лист изначально потерявший сходство
 с листом бумаги превратившись в сор

что можешь ты прочесть когда взметнётся
внезапно стая птиц пересекая створ
что сотряслось таким пусть остаётся
что можешь ты сказать со дна колодца
в соседнем пусть колодце отзовется
что можешь ты сказать скажи в упор

и если ты сочтёшь меня за инородца
не зная почему зачем и как и ни за что
что можешь ты тебе не все зачтётся
в окне исполосованное солнце
как символ как фонарь как решето
что можешь ты узнать на дне колодца

* * *

свесив ноги с подоконника
смотрит под ноги старик
чай в стакане с подстаканником
в общем кто к чему привык

носовым платком очки
тщательно протёр дыша на стёкла
горизонт на расстоянии руки
дальше как в душе одни потёмки

время стойко движется к нулю
обойдя преграды и ограды
так бы и сказал он всем люблю
но никому уже не надо

* * *

в зеркало взглянуть на свой портрет
и увидеть в нём автопортрет
существо примерно в среднем роде
не в мужском не в женском — вроде
отвлечённый так сказать предмет
пугало допустим в огороде
чучело в любом раскладе
точней инкогнито — тайный агент
заметающий привычно след
начеку всегда — всегда на взводе
принимая бред за явь и явь за бред
без особых всё-таки примет
без приязни или отторженья
и увидеть в оболочке отраженья
явно проступающий скелет

* * *

столб когда-то электрический
и возможно телеграфный
столб стоит как просто столб
дрын бревно пример фаллический
принадлежность географии
не утративший апломб

правда нет былой эрекции
и перпендикуляр потерян
столб готов вот-вот упасть
вероятно по инерции
он стоит как символ веры
подтверждая есть закон и власть

прилетит к нему ворона
алкоголик прислонится
разгуляется вовсю собачья свадьба
всё-таки определённо
столб нам указатель и граница
место где встречаемся сегодня

* * *

тб

по весне глядишь и дрын расцвёл
вот стоит стесняется как мальчик
прилетел волнистый попугайчик
и добавил красок — jazz and soul
что обычно доносилось из кустов
полилось стремительно из пальца
поспеши и ты не заикайся
отложи барометр метроном
присовокупляйся под сурдинку
потому что пение живьём
лучше чем на диске и пластинке

* * *

дозревают помидоры
лёжа на боку
далее идут повторы
опущу строку

кто к чему предрасположен
можно ли учесть
иногда снимают кожу
иногда как есть

созвонился ли с мозгами
в паспорт поглядел
поздно жаловаться маме
если не у дел

выбор в собственном соку
или в маринаде
из мозгов долой чеку
и вперёд не глядя

* * *

окно открыто: стакан с чаем
пусть этот миг повременит
встревожена ночным трамваем
в стакане ложечка дрожит

был разговор излишне строгий
с трудом заученный урок
она смотрела вдоль дороги
ему досталось — поперёк

белая ночь — закладка в книге
которую перелистав
он исправлял привычный вывих
но не излечивал сустав

рельсы трамвая разобрали
что ни скажи — такая участь
только отдельные детали
запомнились на всякий случай

* * *

тень исчезала
за ней предмет
ночь повторяла
этот фрагмент

и сквозь решётку
словно на спор
был виден чётко
каждый повтор

сопоставленье
из забытья
но вместе с тенью
как бы с нуля

вновь возникало
чьё-то лицо
и замыкало
напрочь кольцо

из белой ночи
явленный мир
то многоточье
то штрих-пунктир

* * *

крошево окрошки
полдень в получасе
получить в рассрочку
свою крошку счастья

заквашена ли квасом
наскоро прошита
не моргнёшь и глазом
как уже убита

тени полутени
бликов разносол
чтобы в вожделеньи
не остался зол

гости разъезжались
тени разошлись
только то что жалит
составляет жизнь

* * *

что скажет сидящий на стуле
сидящему в углу

что скажет сидящий в углу на стуле
сидящему на полу

что скажет сидящий на полу
подсевшему на иглу

не принадлежу к их числу
но скажу без дури

сидящему на полу
и сидящему в регистратуре

встречают по баблу
распознают по петле и пуле

* * *

был бы я живописцем
иногда им бываю
провёл бы широкой кистью
от края до края

от края холста
через весь город
до никольского моста
и никольского собора

от края рамы
через мост
до семейной драмы
из соседних мест

и с того же края
единым разом
до красного трамвая
с красным и белым глазом

лет через полста
в памяти помеха
до никольского моста
я б опять доехал

ты откроешь дверь
так я представляю
на моё поверь
скажешь я не знаю

* * *

тамаре буковской

до самого неба доехать
туда где кончается степь
появится в небе прореха
невольно на небо заехать
и ехать пока не ослеп

однако приблизится небо
и тотчас уйдёт из-под ног
найдётся мгновенно предлог
забыв что попытка нелепа
опять перейти за порог

поверь ты уже не мальчишка
и знаешь порядок вещей
хотя приоткрыта задвижка
и послана кем-то записка
надеяться всё же не смей

ТБ

закононый лабиринт
даже чем-то обнадёжил
что тут будешь говорить
а не говорить не можешь

вечер в вышнем волочке
приструнился в бологое
и повис на волоске
лучше думать про другое

у заката кровопуск
по приметам не к добру
ты нащупаешь мой пульс
потому и не помру

следует заметить кстати
может что-то и не так
но дорожный указатель
принимай за добрый знак

* * *

едва заденет спелой сливой
как бы шутя по черепной коробке
почувствуешь что лето торопливо
направилось к последней остановке

и впредь из тени в тень перемещаясь
не станет подпускать даже на выстрел
и зайчик солнечный как заяц
игриво перескачет через числа

довольно скоро штатный гардеробщик
пересчитает по привычке номерки
наверное намного проще
пересчитать внезапные звонки

* * *

с белым облаком в луже застряв
сделать паузу для поцелуя
и одёрнуть себя за рукав
хоть мгновенье прошло не впустую

нет привычки на небо смотреть
оставляешь его под ногами
непременный должник только впредь
рассчитаться придётся с долгами

и когда прикоснувшись едва
упадёшь в глубину без возврата
растеряешь в паденье слова
те что так собирал аккуратню

* * *

доморощенный с виду пейзаж
воспевали саврасов и шишкин
пел саврасов слегка понаслышке
шишкин больше с природы горазд

через корочку хрупкого льда
растекаясь мыслью по древу
пусть из горлышка каплет вода
потому что она для сугреву

вот и птица весенняя грач
с революцией пятого года
подожди местечковый скрипач
пролетит над ближайшим приходом

знал бы шишкин в лесу топором
расчищая к картине делянку
что такой предстоит бурелом
унести не успеешь портянки

неприменно российский пейзаж
воспевай но не переусердствуй
не повысится рейтинг продаж
и других не останется версий



Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

/ Санкт-Петербург /

* * *

Я живу
 без единого стиха на губах,
 без единого знака в судьбе,
 но зато я хожу на руках
 в удивительных синих очках
 по железной трубе!
 Булькает в трубе моей вода
 в песню превращая каждый звук,
 если что-то происходит — только вдруг,
 остальное — просто ерунда,
 и не надо мне везде и всегда,
 и не надо мне знаков судьбы,
 проплывают рыбами года
 в тёмном теле волшебной трубы.

* * *

Тяни свою тень по дороге словно мешок смертей,
 словно сонную сеть под кузнечиков стрёкот и звон,
 тяни, но из речки вино торфяное не пей —
 не то станешь болотом в конце времен.

Будут лоси губами срывать цветы с твоей головы,
 зимой будешь спать, укрываясь мехами мха,
 но пока сапоги от глины очистив пучком травы
 иди за стрелой, пропущенной через века,

до кочки с царевной лягушкой сквозь душные летние дни
 мимо речек с тёмной водой, где головастиков рой
 тяни свою тень, словно сеть за собой тяни,
 пустую дырявую сеть по земле сырой.

БОЛЕЮ

Приходят рабочие,
говорят о неисправностях на солнце,
греют замёрзшие руки
втыкая их в мое сердце,
где теплее всего,
пахнут маслом и краской,
шевелият затёкшими пальцами,
чёрными от въевшейся грязи
тяжёлого дня.
сидят в своих потных футболках
возле труб,
полных моей горячей крови,
сушат мокрую обувь и куртки,
серые как остатки весеннего снега...
Они курят так, что за дымом
не видно неба
и постоянно тошнит.
Я завариваю чай
Режу лимон на дольки,
кладу сахар,
достаю из шкафчика водку...
Но этого слишком мало
чтобы вновь заработало солнце,
и рабочие ушли из подвала.

* * *

Плачешь о пустых днях, о трудах бессмысленных
как о домах, что сгорают еще недостроенными:
дым пачкает небо,
а ты идешь от работы потный по влажной глине
и спишь на чердаке сарая,
где внизу лишь корова да свиньи.

Но иногда под крышу ласточки залетают.

БАКУ

Город, похожий на чашку чая,
где улицы тянутся к морю лучами,
где фуникулер вместо трамвая,
а вода горькая и золотая,

где гармонист поет на берегу
о горах, утонувших в снегу,

и белые барашки к нему бегут,
но в песке раскаленном тают.

город, где храмы полны огня,
город, где дни как монеты звенят,
в тёплой руке всё держит меня
куда бросить, ещё не знает.

ЮЖНЫЙ ТРИПТИХ

1

Твой купальник
и мои плавки
переплелись телами
в тесной сумке.
Хорошо ли им вместе,
я не знаю,
соленая вода пропитала их тела,
в чашечках купальника —
словно воспоминания
морской песок.
Когда вещи развешат на веревке,
песок выдует ветер,
вода высохнет,
даже следов не останется.

2

Моя одноразовая бритва
с еще острыми лезвиями
ползает по столу
скребется тихо:
у моей бритвы
лезвия защищены пластмассовой крышкой,
чтобы случайно не порезать
твою расчёску,
которая спит, вытянув длинную ножку
на столике в комнате
для двоих.

3

Мой компьютер через модуль блютуф,
ловит доступные устройства,
и твой телефон
вполне доступен,
только никак не устанавливается

новое соединение:
требуется код авторизации
одинаковый на телефоне и нетбуке,
и ты набираешь: раз два три,
и я повторяю: раз два три!
Словно на счет три мы вместе прыгаем с волнореза
сливаясь с морем.

ЛЕПЕСТКИ ИСТИНЫ

Дышать песком и умыться песком,
скрипеть песком на зубах
вместо речи,
ехать в открытой машине
с замотанным тряпкой лицом
по бесконечной пустыне,
по руслу высохших речек,
ехать, увязая во времени
где птицы, белые на восходе,
становятся чёрными на закате,
где всадник в золотом халате
рассыпает в небо синие лепестки,
цветов, собранных в оазисе
возле последней живой реки.

* * *

У тебя душа хороша,
моя душа не стоит и гроша,
и если мы полезем друг другу в души
это будет нелепо и скучно:
Мне плотному и телесному
в твоей душе будет тесно,
а тебе будет неинтересно
в моей душе, дырявой и облезлой.

Но совсем другое дело
залезать друг другу в тело!

* * *

Когда нож между нами, тебе видна
лишь одна его сторона,
а с моей стороны вовсе нет ножа —
только синие лепестки лежат.

Когда день между нами, мне слышна
только песня твоя одна,
нет на свете длиннее дня,
да и в этом дне уже нет меня.

Когда ночь между нами, наши сны —
лишь чужие отели чужой страны,
где за стойкой судьба принимает заказ,
не замечая нас.

* * *

Расскажи мне чудесную сказку,
подари мне книжку раскраску,
где лишь контуры, и силуэты
еще не заполнены цветом,
где нет ни единого слова,
где старый рыбак ждет улова,
и рыбка прозрачная не золотая
в белом небе над ним пролетает,
где корыто еще не разбито,
где старуха еще не сердита,
и никто доставать не спешит
краски фломастеры карандаши.

* * *

Живут ужасные психи
в страшной неразберихе:
никогда ничего не разбирают
и сами себя теряют,

но я нахожу порой
интересным их жизненный строй.
Ведь в идеальном порядке
нет никакой загадки.

* * *

Солнце нагрело берег,
даже мухам лень подниматься,
пляжники на пестрых одеялах
разлеглись большими цветками,
бутылки горлышки высунули из воды
смотрят в небо удивленно:
ни ветерка.
Лишь над озером не дрожит воздух,
стоит, отдыхает,
брошенный мальчиком плоский камень

прежде чем утонуть
долго скачет по поверхности,
оставляя круги, словно недавно
кто-то прошел по воде...
К вечеру будет гроза
и ветер смахнет руками
всех этих людей.
Спасатель смотрит на облака:
никто не тонет, все спасаются сами,
сидит он в будке на вышке
как птица в гнезде
над мальчиком, бросающим камни,
над кругами бегущими по воде.

ЗИМА

Среди снежных полей, во дворце чистоты и покоя
слово сложить не успеть из хрустального льда,
приходит весна какой-нибудь правильной Гердой,
и остаётся одна вода.

Кай возвращается вечером пьяный со стройки,
в сапогах облепленных грязью ложится в кровать:
найди меня снежная королева, нежная королева,
снова в глаза целовать!

За окном ветер лижет сугробы, ломает деревья,
Герда, пытаясь согреться, прижимается к батарее,
только маленькая разбойница в доме на самом краю деревни
любит своего ручного оленя и никогда не стареет.

* * *

Ходят болезни вокруг меня,
забираются в бедную шкурку,
терзают каждую клетку,
и я за таблеткой глотаю таблетку,
хожу я к врачу и в аптеку,
плохим становлюсь человеком,
а болезни в моем организме
устраивают дискотеку!
Тогда я себя словно лодку
заполняю прозрачной водкой,
и тело мое плывет —
в нем никто уже не живет!



Наталья ВАСИЛЬКОВА

/ Санкт-Петербург /

Существуют люди, расцветивающие жизнь свою и окружающих, создающие праздник. Таким был Василий Каменский, всю жизнь игравший в Стеньку Разина. Поэт несколько раз выступал в цирке, гарцуя на лошади в одежде атамана, а однажды на отдыхе декорировал одолженные лодки под струги Разина и возглавил лодочное шествие по речке Бересклетке, огорошив тем местных жителей. Кубофутуристы совершали костюмированные прогулки по улицам, чтобы привлечь внимание обывателей и обеспечить наплыв публики на свои концерты. Каменский был участником этих действий, но в отличие от соратников он мог театрализовать окружающую жизнь и просто так, для удовольствия. В свое время об этом написал его друг, теоретик театрализации жизни Николай Евреинов.

К людям, сделавшим из своей жизни искусство, относился Даниил Хармс, устраивавший всевозможные розыгрыши и шутки. Как известно из его записных книжек, он планировал ходить компанией по ресторанам, заказывать кофе с огурцом или манную кашу, которой кормить друг друга с ложечки.

Я упомянула две ключевые фигуры. На самом же деле существовало и существует немало театрализаторов жизни, имена которых известны только в узких кругах. К примеру, совсем недавно, на презентации книги ученого, общественного деятеля и волейболиста Леонида Романкова я узнала, что уже много лет он ездит на раскопки с одной из московских археологических экспедиций и пишет ко Дню археолога оперы, исполняемые участниками экспедиции на лоне природы. Слушатели опер — тоже участники экспедиции. Одна из таких опер — «Айвенго», написанная на сюжет небезызвестного романа, была представлена присутствовавшим на презентации в записи на видеокассете.

Если либретто опер Романкова уже изданы, то тексты стихотворных пьес многолетнего участника Саяно-Тувинской археологической экспедиции, востоковеда, ныне академика Ивана Михайловича Стеблин-Каменского, написанных по аналогичному поводу, возможно, сохранились лишь в его личном архиве, хотя отдельные строфы и строки из них и через многие годы цитируются благодарными зрителями.

Еще печальнее судьба «шизовок» — коллективных действий, сочиненных и поставленных в уже упомянутой Саяно-Тувинской экспедиции в конце 1970-х — начале 1980-х гг. филологом и по совместительству экспедиционным поваром Натальей Васильковой, известной в кругу друзей также под именем Цесарки. Эти красочные действия, одним из составляющих которых являлся элемент абсурда, не были засняты не только на кино- или телекамеру, но даже не были сфотографированы. Игровая стихия всегда была присуща Наталье Васильковой. Помню, как в 1970-е гг.

на частых посиделках в ее квартире на проспекте Энгельса в Ленинграде устраивались беспроигрышные лотереи. Среди выигрышей были такие нестандартные предметы, как, например, горло от свитера или дырка от бублика. Однажды Наталия отметила день рождения Бинки, собаки своего сына Алика. Испекла большой пирог с мясом и пригласила на него четвероногих друзей Бинки с хозяевами в качестве бесплатного приложения. Однако полностью отдаться игровой стихии Наталии удалось в верховьях Енисея, в Саяно-Тувинской экспедиции.

Несколько лет назад я попросила Наталию воспроизвести на бумаге содержание «шизовок», тех из них, которые запомнились, чтобы хотя бы таким образом спасти эти действия от забвения. Вот что из этого получилось.

Татьяна Никольская

ШИЗОВКИ

В шизовке главное — изменить свою внешность до неузнаваемости. Еще задолго до Тувы, когда Цесарка была школьницей, она надевала старое бабушкино пальто, меховую шапку с опущенными ушами, валенки, очки в металлической оправе, брала свернутый листок бумаги и огрызок карандаша и, когда у родителей были гости, незаметно выходила на лестницу, а потом звонила в дверь. Ей открывали, она говорила «вам телеграмма», кто-то из родителей расписывался, и Цесарке уже давали рубль, но тут она признавалась. А так бы и не узнали.

Первая шизовка в Туве, как и все последующие, возникла спонтанно. Дело было на Аймырлыге. Год точно не помню — возможно, 1980 или раннее 80-е.

Зато помню, что началась она во второй половине дня, когда археологи и землекопы уже вернулись с раскопа и пообедали. Женщины разбирали какой-то хлам из сломанного дома, привезенного из зоны затопления. Скорее всего, это была разобранный школа, потому что среди бревен и досок встречались наглядные пособия и журналы. Мимо проходила Эльвира, подняла с земли журнал «Работница» или «Советский воин», в котором на последней странице обложки была напечатана, с нотами, песня. Она начиналась словами:

К военкомату мы шли вдвоем,
Ты говорила «Прощай, любовь».

Эльвира стала петь громким голосом. Мелодию она не знала, да это ее меньше всего беспокоило, так как слуха у нее все равно не было.

Всем стало смешно, и как-то мгновенно мы решили нарядиться в какие-нибудь дурацкие костюмы. Это было просто потому, что в экспедицию все посылали много всякого старья. Кто-то надел ратиновое пальто Мандельштама, за которым закрепилось название «пальто начальника», а главная функция была — надеть рано утром на голое тело, снять резким движением на берегу горной речки Чаа-Хольки, броситься в ледяную воду, выпрыгнуть из воды и опять надеть. Такой утяжеленный вариант купального халата.

Хасе было легко нарядиться в «сиротку Хасю». Она надела старый таджикский халат, тюремные ботинки на толстой подошве, потом кто-то дал ей гитару и смычок от скрипки. Она водила смычком по струнам — получалось, что играет на контрабасе. Агаша решила изобразить толстого мальчика, и ей это превосходно удалось: она надела Славины шорты и запихала в них подушку. Сверху надела большую футболку.

Постепенно к этой компании стали присоединяться другие участники, которые быстро врубились в происходящее — главное — нарядиться так, чтобы никто тебя не узнал.

ШИЗОВКА С КАТЮНЕЙ

Там же, на Аймырлыге, когда загружали или, наоборот, разгружали, машину и все были заняты каким-то важным делом, Цесарка с Катюней взяли носилки, бинты и еще какую-то ерунду, сделали чучело «комиссара» в тельняшке, обмотали ему голову бинтами, положили на носилки и понесли в лагерь со стороны въезда — как будто идут из Старого Чаа-Холя. Сами были одеты в какие-то полувоенные костюмы. Катюня в «шинели польского офицера», на голове у нее была черная вязаная шапка, а из-под нее торчали седые пейсы, сделанные из мочалки. Цесарка тоже была одета во что-то военное. Медленно внесли они «комиссара» в лагерь в разгар погрузки-выгрузки, и их, конечно, не сразу узнали.

ШИЗОВКА «СОЛО»

Важный элемент шизовки — неожиданность. Сидят, например, все за столом и пьют чай или водку.

Ц. незаметно уходит из лагеря и переодевается в кустах, в районе мужского пляжа. В пальто начальника, с белой бородой из мочалки, с палкой, в шляпе идет медленно по дороге по направлению к столу. Даже Бинки не узнал — бежал рядом и лаял.

ШИЗОВКА ИЗ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ

Когда мужчины опохмелялись за столом и потребовали закуски, злая Цесарка взяла на веранде за домом наглядное пособие из Чаа-Хольской школы «человеческий торс с мускулатурой» красного цвета, положила его на блюдо, украсила петрушкой и укропом и подала на стол.

Еще на столе, точнее, на стеллаже для посуды рядом с обеденным столом, стояла банка с препаратом «стадии развития мухи». Эту банку часто ставили на стол рядом с перечницей и солонкой.

ШИЗОВКА ПОСЛЕ ДНЯ АРХЕОЛОГА

Группа страждущих отправилась на машине в Чаа-Холь и что-то долго не возвращалась. Тем временем, в лагере тоже были страждущие, которые очень ждали машину и все интересовались, когда же она придет. В машине Полушина была его жена Рязанцева, а в кузове Шурик по прозвищу «дизентерийный», детдомовская Надежда с кличкой «мужик-баба» и еще московский художник Толик, фронт в белом картузе.

Цесарка пошла к Зое Тун-Оол и попросила ее соорудить ей головной убор тувинской женщины из пестрого платка. У Рашида попросила кирзовые сапоги и пиджак, еще у кого-то тренировочные штаны, взяла в кладовке (которую дети называли «клокотка») пустую бутылку из-под водки и мешок из рогожи, в мешок что-то положила, а в верхний карман пиджака сунула пачку папирос «Беломор». Лизочка тоже надела длинные штаны, а поверх них платье, на голову тубетейку, и пошли они, солнцем палимы, по дороге по направлению к Подгорке, потом дальше. Увязался Бинки, который мог все испортить, но не испортил. Увидев вдали машину, Ц. стала голосовать. «Опять каких-то тувинцев везти», подумал вслух Полушин, но машину остановил. Только когда Ц. и Лиза стали влезать в кузов, где лежали мертвецки пьяные Шурик, Надежда и Толик, их узнали. Рязанцева была в восторге. Следующий момент узнавания был уже в лагере, когда они вылезли из кузова.

ШИЗОВКА «ТОРТ»

На базе в Кызыле Ц. нашла маленького пупсика с проломленным черепом и подумала, что может пригодиться. Кажется, даже собиралась подсунуть на раскопе кому-то в могилу, но передумала и положила в торт, который испекла в день рождения Мандельштама. На поверхности торта был курган из кусков сухарей, политых кремом и пропитанных спиртом. В центре из тонких палочек сложили сруб, в сруб положили пупсика с пробитой головой, рядом с пупсиком поставили крошечный горшок. Сруб закрыли, сверху сделали кладку, все замазали кремом и поставили перед Мандельштамом. Дали ему нож и велели разбирать. Но Мандельштам только что пришел очень усталый с раскопа и принимал в доме Кирсаньича, с которым изрядно выпил. В общем, эффект был размыт, хотя те, кто еще только ожидал выпивки, вполне оценили это сооружение.

ШИЗОВКА «БУДДИСТ»

Однажды к Цесарке обратился известный ныне буддолог Валерий Исаевич Рудой с такими словами:

«Ты раньше всех просыпаешься и, наверное, знаешь, где встает солнце».

«Конечно, знаю, — обрадовалась Цесарка, — вон над той горой».

Она подумала, что Валерию Исаевичу это нужно для каких-нибудь медитаций.

«Отлично, сказал он, — значит, если я протяну веревку между двумя этими кустами, мои трусы к завтраку высохнут».

Впоследствии Иван Михайлович Стеблин-Каменский посвятил Валерию Исаевичу известное рубаи:

На свете лишь одна нирвана,
Чтобы... была не рвана,
И ты, Валера, предпочти
Буддизму проповедь Корана.

ШИЗОВКА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ В ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

Всем придумывали костюмы. Миша Ермаков, у которого была сломана нога и который передвигался на костылях, надел на себя большой кусок рожи, в котором ножом прорезали дырку для головы. Больше ничего к этому костюму добавлять не надо было, так как Миша был лохмат и небрит. Можно было посадить его на паперти.

Владимир Ганович надел ватник, к ватнику женщины быстро пришили кусок белой материи, на котором крупными цифрами написали телефон Стеблин-Каменских. Когда Вл. Г. брал в руки лопату, было такое впечатление, что его заставили рыть могилу самому себе.

В разгар праздника, когда на берегу разожгли огромный костер, откуда-то со стороны гор вдруг появился человек в летной форме и фуражке, который сказал: «Борт на Кызыл отменяется». Это был Боря Яковишин.

Иногда и переодеваться не нужно было — и так понятно, что шизовка. Так, когда группа женщин с детьми и собаками, несколько мужчин и Мандельштам летели в самолете из Шереметьева в Ленинград, Боря объяснил стюардессе, что это «Бродячий цирк Мандельштама». Она и поверила.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Тува — Тувинская АССР — ныне Тыва, в составе Российской Федерации.

2. Цесарка, она же Злая Цесарка, она же Ц. — Наталия Николаевна Василькова, жена индолога Ярослава Владимировича Василькова, повараха в 6-м отряде экспедиции в 1970–1980-х годах.

3. Аймырлыг — название могильника, расположенного в 3-х километрах от поселка Новый Чаа Холь.

4. Зона затопления — район разлива Енисея в результате сооружения плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Согласно закону о памятниках, прежде чем затопить какое-то пространство суши, необходимо было получить визу археологов. Этим и объясняется благоденствие тогдашних археологических экспедиций. После развала Советского Союза и замораживания строек коммунизма количество археологических экспедиций резко сократилось.

5. Эльвира — Эльвира Устиновна Стамбульник, в описываемый период сотрудница Института Археологии АН СССР, яркая личность.

6. Ратин — шерстяная ткань для верхней одежды, с мохнатым, длинным завитым ворсом, из которой в 20 веке шили мужские пальто.

7. Мандельштам, Анатолий Максимилианович (1920–1983), археолог, в описываемое время начальник Саяно-Тувинской экспедиции; см. подробнее: Российский гуманитарный энциклопедический словарь в трех томах. М.-СПб, 2002, том 2-й, стр. 416. Поскольку при упоминании имени А.М.Мандельштама неизбежно задают вопрос: «Не родственник ли он поэту Мандельштаму?», предлагаем читателю два ответа (на выбор). Один — это ответ самого Анатолия Максимилиановича: «Не родственник, а свойственник», а второй — ответ востоковеда В.В.Струве, которого обычно спрашивали, не родственник ли он известному социал-демократу? — «Не родственник и даже не однофамилец».

8. Чаа-Холька — горная река, протекавшая в районе могильника Аймырлыг (см. выше).

9. Хася — Хамися Абдулкадыровна Абдулина, художник Саяно-Тувинской экспедиции в описываемый период.

10. Агаша — Ольга Никитична Стеблин-Каменская, жена востоковеда и художник экспедиции в описываемый период.

11. Катюня — Екатерина Никитична Трубецкая, повариха экспедиции, ныне проживает в США.

12. Старый Чаа-Холь — поселок в Зоне затопления (см. Зона затопления).

13. Шинель польского офицера — реальный предмет одежды, подаренный жене востоковеда В.С.Гуровой ее польским студентом из военной академии.

14. Бинки (1976–1986) — собака, сторож экспедиции, породы «черный кобель» согласно справке, выданной ветеринаром поселка Старый Чаа-Холь.

15. Полушин — водитель автомобиля ГАЗ 66.

16. Рязанцева — жена водителя автомобиля ГАЗ 66, повариха экспедиции.

17. Зоя Тун-Оол — местная учительница начальной школы и большой друг экспедиции.

18. Рашид — сотрудник экспедиции, дровосек.

19. Лизочка — юный сотрудник экспедиции.

20. Подгорка — главный раскоп, могильник Аймырлыг, первые века до н.э.

21. База в Кызыле — полуразрушенное строение, отличавшееся крайней степенью запущенности и полным отсутствием удобств.

22. Кирсаных — Кирилл Александрович Соколов, на протяжении многих лет завхоз Саяно-Тувинской экспедиции, человек, проживавший на базе в Кызыле (см. база в Кызыле) с собакой породы доберман-пинчер по кличке Фази. Кирсаныху были посвящены стихи-загадка юного члена экспедиции Карена Каприелова: «Кто живет на нашей базе? // — Кирилл Саных с сучкой Фази».

23. Иван Михайлович Стеблин-Каменский, востоковед, землекоп экспедиции.

24. Ермаков М. (1947–2005) востоковед, землекоп экспедиции.

25. Владимир Гансович Эрман, востоковед, землекоп экспедиции.

26. Борис Яковичин, художник экспедиции.



Аркадий ИЛИН

/ Санкт-Петербург /

* * *

В музее Достоевского
обычно
проходят выставки
и ставятся спектакли.
Вся жизнь писателя
становится публичной,
лишая нас
приличия и такта.

Кузнечный рынок
полон ожидания.
Приходят старожилы
и туристы
приобретать
продукты созиданья.
Натуропаты здесь,
натуралисты.

Проспект Владимирский,
как Невский и Литейный, —
полно людей,
машин
различных классов.
А во дворах
блуждают молча тени
героев повестей,
романов и рассказов.

* * *

Мне физически больно.
Я плыву вновь один
мимо вазы напольной,
мимо книг и картин,

мимо кухни уютной,
где в оконный квадрат
город наш многолюдный
поместиться бы рад,

мимо стен с потолками,
где мы все как в плену,
где пленяем мы сами
чью-то боль и вину.

Будто в свете настольной
лампы кану в Неву.
Мне физически больно,
будто всё наяву.

* * *

Ещё нас гоняют по свету
хозяева нашей судьбы,
и нас призывают к ответу
какие-то зомби-жлобы.

Рука провиденья жестоко
карает — виновен иль нет.
И нет нам ни толку, ни проку
от прожитых праведно лет.

* * *

Вот бывает, дом кривой,
возвышаясь над Невой,
производит впечатленье
несуразного строения.

Боже правый! Дом ведь мой!
Я склонился над Невой.

Силуэт пизанской башни
мой поступок бесшабашный
скроет тенью, скроет мглой
на земле и над землёй.

В ДЕРЕВНЕ

Бывает спозаранку,
наивный как дитя,
в румяную крестьянку
влюбляешься, шутя.

От жизни деревенской
кружится голова.
Размах души — вселенский:
пьянит дурман-трава.

В ночи глядишь на небо,
на звезды и луну.
В избе ни крошки хлеба,
а на кровати — ню.

ОТ РИВЬЕРЫ ДО РИВЬЕРЫ

Галине и Жан-Марку Бови

ЛЯ НАПУЛЬ—АНТИБ—ЛЯ НАПУЛЬ

Два бритых кактуса, три стриженные пальмы,
семь-восемь пней — отточием в строку.
На рейде яхты, если смотрим вдаль мы
с балкона на Лазурном берегу.

Старинный замок, стены крепостные,
и чайки легкокрылые над ним.
И наши дни в разгаре отпускные
проводят нас по улочкам кривым,

выводят вдруг на площади Антиба
по променаду Амираль де Грасс.
Французов толпы, жителей Магриба:
пенсионеры, дети, средний класс.

Ворота замка древние Гримальди
поглотят нас. Ворвемся в Ателье,
как варвары, как северные скальды,
от зноя и вина навеселе.

Картины кисти зрелого Пикассо:
танцуют фавны, парус — на волне.
Миро, Леже... И выход на террасу,
и — вниз, по улочкам петляя, как во сне.

В саду Тюре тропические пальмы,
и слышен в небе самолета гул,
и видим яхты, если смотрим вдаль мы
с балкона на Лазурном берегу.

* * *

Казалось бы, все даль да даль,
казалось бы, все горы, горы.
И Ваша, Анна, полушаль
волнуется, как море-море.

Из Канн и Ниццы поезда
бегут, когда нет забастовки.
Пенсионеры к нам сюда
съезжаются, как на маёвки.

И все теперь не то, не так.
Теперь в поэмах нет героя.
И попадают те впросак,
кто из себя чего-то строит.

Бегут на север поезда,
сюда на юг приходят яхты,
и происходят неспроста
все наши бухты и барахты.

23.06

День рождения А.Ахматовой

БОЛЬШИЕ МОЛЬЕРЫ¹

I

Большие Мольеры Прованса
нас долго выводят из транса,
и мы понимаем — в глуши
поблизости нет ни души.
Собака по кличке Луна
проходит, молчанье храня.
Блуждают и смотрят картины
Жан-Марк и Галина с Алиной
и слушают зов тишины,
в которой рождаются сны.

II

Дом тих, как затерянный остров, —
вчерашие съехали гости.
Собака по кличке Луна
сегодня осталась одна,

¹ Мольер — глыба (фр.)

и, птичьему пению внемля,
 приткнувшись на лестнице, дремлет.
 Прощайте, Большие Мольеры,
 запомнятся все интерьеры:
 портреты, пейзажи с натуры,
 картины, офорты, скульптуры...

Раскрытые окна. Из сада
 и стрекот, и щебет с прохладой
 врываются в старые стены,
 где редко царят перемены.

* * *

Воздушная Ницца. Девушка
 в обнимку идет с кавалером,
 старушка идет с фокстерьером,
 старик с молодой негритяжкой,
 флиртует француз с китайкой.
 А вверх обращенные взоры
 ажурных решеток узоры
 встречают и шпили соборов
 на фоне небесных просторов.

КАННСКИЙ МОТИВ

Подъемы и спуски, подъемы...
 Мы с Вами, увы, не знакомы.
 Зачем нам знакомиться, если
 мы умерли вдруг и воскресли.
 А город то новый, то старый —
 то рокеры в нем, то клошары
 и жулики-аборигены,
 пришедшие предкам на смену.

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»¹

Роману Бови

Густых виноградников дебри...
 И пять виноделов из Шэбра
 гуляли в подвале одном,
 своим наслаждаясь вином.
 На бочках — картины Бови,
 на стенах — признанья в любви
 к вину, к виноградной лозе...

¹ Название музыкально-театрального кафе в подвале.

Дионис под полной луной
с менадами в пляске хмельной
смеется, смешит всех подряд:
и греческих юных менад,
и нас, как случайных прохожих,
безумно на греков похожих.
Вину кто признался в любви?
Конн, Франсе, Жомени и Бови,
Рожевию, а сегодня Роман,
из далеких вернувшийся стран
и творящий в театре-подвале,
там, где пять виноделов гуляли.

* * *

С утра и до ночи в горах —
как будто бы с неба свалились:
то бездна в нас ужас и страх
вселяет без шансов на милость,

то бьет из скалы водопад —
молоком называют коровьем.
У самых вершин — зоосад,
на склонах — скота поголовье.

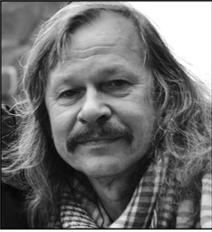
С утра и до ночи в пути —
нас сила ведет неземная...
Нам хочется что-то найти,
а что — мы и сами не знаем.

ВЕВЕ

Три Дюрера. И Балтус одинокий,
стоящий во весь рост,
откинувшись слегка,
и слева кот внизу лукавокий
на зрителя взирают свысока.

В музее Ениша — щадящая прохлада,
а на холстах жара, палящий зной.
Пикассо с видом неземного сада.
Остаде, как всегда, и буйный, и хмельной.

За окнами Швейцарская Ривьера,
бегут над озером Женевским облака.
И мы спешим, полны надежд и веры,
далекие увидеть берега.



Валерий ЗЕМСКИХ

/ Санкт-Петербург /

* * *

Мы долго плыли по реке
Пока не обмелело
На берег выбрались
 болото
 камыши
День к вечеру
Оранжевое солнце
Скатилось с дальнего холма
 за горизонт

Все стали петь
Но молча
 про себя

Пытался кто-то
Вкатить назад погасшее светило
Но я не в силах был ему помочь

* * *

То-то забава
Жить
 умирать
Не изменить порядок
 не пропустить
Облюбуйешь время и место
А тут мокрый снег
Или занято

Трамваи

поменяв на ходу номера

скатываются с горы

Увозят возможность выбраться

Корабли погасили огни

и насупились у причалов

* * *

По улице

по улице

по улице

Одна в другую

И бесконечная стена вдоль сквера

вдруг обрывается

Пустоты

заполненные гипсом

Скрываю за шершавою картиной

Некстати снег

Ободранные локти

* * *

Платочками теперь не машут

Не смахивают слёзы

Мы ненадолго

навсегда

Отъехали

И стрелки

не переводит тётя Нюра

Отгородились

Но в заборах щели

И пыль по-прежнему летит в глаза

* * *

Выманить себя

Расстояние измеряется в судорогах

Раньше или позже

никогда вовремя

Выдумываешь
но всё похоже
Велосипедные рамы по стенам
Толстые узлы верёвок

Ключ проворачивается в замке

* * *

Пылью запахло
Не помогают дожди
Не отвлечься на главное
По раскуроченным дням
Побираюсь
Жёлтые знаки
Расставляют на перекрёстках

* * *

Мне снилось Солнце
Как горячую картошку
с ладони на ладонь
бросал его

Пока
не выронил
Пытался
найти в траве
Трава дымилась
дым ел глаза

Земля качалась
И уходила из-под ног

* * *

Осень протаранила время
Разбросала ошметки по грязным обочинам
Карлики бегают
прячутся в жёлтой траве

Велосипед застревает в луже
Пора поворачивать
На всех тропах шлагбаумы
Топор ржавеет на пне
Озёро вышло из берегов

Одинокий гриб поднимает голову
И спрашивает
Зачем огородили лес

* * *

Загородился
 забежал за частокол
Заделал щели мхом
Хотел зарыться в землю
Остановился
 оглянулся
Стал карабкаться по брёвнам
Сорвался

Избушка на бетонных ножках
Без окон
 без дверей
 одни проёмы
На тусклой лампочке следы от мух
Разбитый ящик
 в углу
И жестяная банка
 с окурками
 на каменном полу
Сквозь крышу можно видеть звёзды
Когда б не облака
Такие ж серые
Как глина
 меж пальцев

* * *

Замёрзнуть в солнечном Крыму
В саду на сломанной скамейке
Напрасно ожидая встречи

Быть похороненным в степи
Где горькая трава и ветер
Ни камня ни креста

Бродячий пёс хвостом виляет виновато
Молчи
 молчи

* * *

А то что пыль
что пыль
всего лишь пыль
все в пыль
всё в пыль
и всё из пыли

* * *

А я что
А я ничего
А ты что
И ты ничего
А он
И он ничего
А они
И они
Ну а те
А те далеко
Ну а мы
А мы как-то так

* * *

Подумали
и залегли
но ненадолго
Рассказывать
издалека
с подробностями
забывая
в чём суть

В конце концов
ненужные детали
Важней

Из них не соберёшь
историю
не перескочишь
через поток событий
На новый берег



Александр ГИНЕВСКИЙ

/ Санкт-Петербург /

«ЛАБАС РИТАС, БЕРТ ЛАНКАСТЕР!..»

повесть

«...пиршество было печально, гости орошали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что иначе не могло быть.

— Потому что, — говорил он, — если вулкан находится в Лиссабоне, то он не может быть в другом месте; невозможно, чтобы вещи были не там, где должны быть, ибо всё хорошо.

— Моя милая, — отвечал Кандид, — когда человек влюблён, ревнив и высечен инквизицией, то он себя не помнит».

Вольтер «Кандид»

Без связей, с новеньким дипломом в кармане, я толкнулся в двери НИИВИБРО. Странно, но они открылись.

Поднимаясь по лестнице, я то и дело нащупывал свеженькие корки. Фанерной твёрдостью они убеждали в реальности везения. И уж совсем я был огорошен доброжелательностью сурового кадровика за бронированную дверь, единолично решавшего перед кем и когда нажать кнопку «откр» или «закр». В его бункере с тусклым освещением, так и оставшимся, видно, со времён бомбёжек; с окнами, задёрнутыми плотными занавесями, был пульт разноцветных кнопок. Надо полагать, от дверей, дверец и верок...

Неделю я ходил на работу как в ресторан, где бы меня поили и кормили бесплатно. Почему бы не открыться такой халяве? Почему бы не быть ресторану, двери которого открывались бы кнопкой с того самого пульта?.. Ведь я уже убедился, что душа кадровика, не снимавшего в своём зарешеченном кабинете зелёную военизированную фуражку, страдала тайным синдромом милосердия.

Фамилия его была Птушко. Её можно было бы и не упоминать. В дальнейшем повествовании она не понадобится. Но хочется ещё раз подчеркнуть факт везения: при первой встрече с ней я неожиданно для себя поставил правильно ударение. Кто знает, может, это-то и решило мою судьбу, а не разрядка... Тем более, что с моим восьмым пунктом в документах у меня не было никаких оснований и мечтать об удаче...

Так или иначе, я был счастлив. В стенах института и за их пределами улыбался всем и вся улыбкой блаженного. Даже турникету на проходной. С утра до вечера сиял, как надраенный самовар. Даже когда рядом несли ахиную. Моя снисходительность не имела дна. Правда, окаменевшая за ночь гримаса улыбки мешала толком вычистить по утрам зубы или сбрить накопившуюся щетину. Что же в

том удивительного, если меня на новом месте все умиляло, всё приводило в телячий восторг. Даже такой пустяк: в названии своём институт не имел этого идиотского набора букв, этой аббревиатуры: прочесть — язык сломаешь. У нас было всё просто и ясно. И в то же время значительно: НИИВИБРО.

Радовало и то, что мы разрабатывали новые конструкции электробритв. Мы создавали полезное людям изделие. Странно, но позднее (к тому времени меня уже выставили из института) я узнал, что наше солидное заведение имело отношение к атомным подводным лодкам. Признаться, очень долго мне не верилось. А узнал я об этом совершенно случайно, из разговора женщин в ЖЭКовской мастерской по ремонту обуви. Оказался я там случайно — надо было подлатать тапки. Но мне посоветовали купить новые, так как во время ремонта мои тапки могут просто затеряться. Да, хорошо обстояло у нас когда-то с секретностью! Собственно, и сейчас не плохо: я и сейчас не знаю как стыковались, скажем, наши электробритвы с грозными субмаринами. Впрочем, о чём только не судачат женщины в любой очереди, осуждая худосочие нашего быта...

А начинал я на участке ЭБ — 1/22 конструкторского бюро. ЭБ — естественно, электробритва. Единица в числителе — 1-е конструкторское бюро. Двадцать два в знаменателе — номер участка. А вот почему дробь? Этот штрих так и остался для меня тайной. Привожу шифр целиком, полагая, что теперь он может заинтересовать лишь разведку какого-нибудь маленького африканского государства, в котором быстро соображают, что к чему, а записывать соображения на бумаге ещё не умеют. К тому же и сам шифр, наверняка, уже не раз менялся.

Стоит сказать о характере нашей работы. Времени прошло изрядно, думаю, что и тут никакой государственной тайны не разглашу. Сейчас, несомненно, всё делается иначе, более разумно, без бюрократической чепухи. А тогда...

Высокопоставленные работники нашего министерства выезжали за границу в служебные командировки. И почему-то всегда как специалисты по стойловому содержанию скота. Впрочем, это мелочи, не главное. Выезжали они редко, но регулярно. Руководство нашего института и бюро ловили момент, когда в высоких сферах начиналось предотъездное шебаршение. Тут-то наше руководство приступало к высокопоставленным отъезжающим с уговорами, просьбами, умаливаниями. Просили привезти из-за бугра два-три тамошних изделия по нашему профилю. По возможности разных фирм, марок. По возможности с инструкциями. Разумеется, инструкции на тарабарском языке. Для перевода приходилось подражать учителям тарабарского из средних школ. Но это пустяки и дело десятое. Куда сложнее обстояло с уговорами высокопоставленных отъезжающих. Они ссылались на серьёзность международного политического момента, на занятость по случаю слишком плотной программы поездки, на обычную человеческую забывчивость. Словом, не испытывали желания помочь собственному подведомственному институту. В конце концов бухгалтерия изыскивала для высокопоставленных отъезжающих валютно-подарочные стимуляторы. С их помощью высокопоставленные, перевалив за бугор, могли хоть на несколько минут забыть об усталости, сложности международного политического момента, занятости и своей человеческой забывчивости...

В один прекрасный день доставленные образцы (так называемый «сырец») оказывался в секретном сейфе нашего Генерального завлаба Раскुरяева. Из его сейфа (фамилию Генерального я на всякий случай чуть изменил), под расписку, изделия перекочёвывали на наши столы. Дальше дело было за нами — за разработчиками.

Мы составляли чертежи, документацию. Короче, разрабатывали свои образцы, ни в чём не уступавшие зарубежным аналогам. А порою и превосходившие по тем или иным параметрам. Скажем, если их агрегат брил обычную щетину и только, то наш, с помощью особой насадки, мог быть ещё и льнотеребилкой или, ска-

жем; шагомером для туристов дальнепроходцев. Разумеется, интегральная схема в этом случае питалась сухими элементами.

С помощью другой насадки можно было стричь призывников или домашних шерстеносителей и т.д.

Много у нас бывало смеха, шуток по тому поводу, что они там — со своей хвалёной предприимчивостью — не могут дотункать до таких пустяков. Правда, ходили слухи, что они там обходятся без призывников. Болтовня, конечно... Уж без домашних шерстеносителей наверняка не обходится. Кстати, как бы мне пригодились такой агрегатик с такой насадкой, когда я был в армии. Когда служил срочную у генерала Погремушкина...

В НИИВИБРО я проработал год и восемь месяцев. А по закону должен был отбыть все три года. Но неожиданно оказался неперспективным в творческом плане. Прямо чувш собачья! Это я-то... Работал как заведённый. В отделе дневал и ночевал. А рацпредложений сколько подал! Поговаривали, что одно из них аж тянуло на изобретение. А когда дело дошло до его оформления, Раскuryев заявил, что в Комитете по изобретениям не стало вдруг гербовой бумаги, на которой печатают авторские свидетельства. Плевать я хотел на эти бумажки. (Я смеялся в лицо Генеральному: «К любому чертям с матерями катись любая бумажка...») И продолжал ломать голову над оригинальными идеями. Так я придумал насадку для ошкуривания банана. Согласитесь, очистить банан вручную — занятие нудное, утомительное. Фрукт этот для нас — штука редкая. У большинства просто навыков должных нет быстро и ловко приготовить его к употреблению. А Раскuryев делал кислое лицо и говорил: «Кому нужна твоя насадка? У нас ведь с бананами полная глухомань». Меня поражало, что Генеральный не видел дальше носа. Насадку можно было запатентовать. Патент продать сытому самодовольному Западу. А на вырученную валюту наладить грузопоток бананов. Тогда бы моя насадка послужила населению всей страны. А как она пригодилась бы где-нибудь в сельской местности! Где у нас с бананами вообще не имели дела. Вот какой был Генеральный...

Последнее время по отношению ко мне он вёл себя как-то странно. Подходил к столу, за которым я сосредоточенно работал. Вдруг окликал. Затем громко и резко считал: «Раз, два, три!..» И выбрасывал сколько-то пальцев одной руки. Оторвавшись от работы, я должен был тоже выкинуть какое-то количество пальцев. После этого Генеральный суммировал наши пальцы. С минуту что-то высчитывал в уме, брезгливо морщился и, наконец, бросал: «Никуда не годится! Ни в какие ворота...» Вот так. Со стороны можно было подумать, у человека крыша поехала. Чего стоили одни провокационные вопросы, когда мы оказывались с глазу на глаз. Вроде такого: «А не кажется ли вам, что сегодняшняя жизнь какая-то вовсе и не краеугольная, а скорее аномальная?» И — улыбается как невинное дитё. Любопытно, что люди высшего эшелона власти частенько носят такие улыбки. Что же касается моей реакции на слова Раскuryева, то я отмалчивался, пожимал плечами. «Простите, оторвал от работы. Пожалуйста, продолжайте», — говорил, наконец, он и отходил, всегда напевая одно и то же: «Не бреди сердечных ран, о, друг, не бреди...» Это какие же такие раны у Раскuryева?.. Каждый раз, когда он затягивал эту песенную волюнку, мне начинало казаться, что и у меня крыша тронулась. Вообще, Генеральный чем-то напоминал мне моего генерала Погремушкина...

Так или иначе, я плевал на начальнические заморочки Раскuryева и продолжал трудиться. И, понятно, не скоро врубился, что он своей арифметикой на пальцах определял мой рейтинг. По его подсчётам он был низкий. Так нашёлся повод сократить меня...

Расправился со мной Генеральный, пожалуй, из зависти. Позднее я случайно узнал, что по всем моим оригинальным идеям он получил авторские свидетельства. Нашлась-таки гербовая бумага...

Интересно, что узнал я это недавно, будучи в гостях у приятеля на даче. Жена приятеля попросила меня, а не супруга сходить на колонку за водой. Пошёл. Оказалось далекоовато. У колонки, смотрю, пожилой, но молодежавого вида, судя по выправке, полковник в отставке. Поит свинью из лоханообразного пластмассового ведра. Свинья пьёт не аккуратно. Чавкает, захлебывается. Видно, спешит улечься в боевое нормативное время. А полковник, значит, рассказывает ей про Раскуряева и про меня, не называя фамилий. Странно, что полковника этого я никогда ранее не встречал. А, может, и встречал?.. В НИИ. Говорят, полковники, выйдя на пенсию, резко молодеют. Возможно, провидение бережёт их для дальнейшей штатской жизни, давая человеку шанс успеть реализоваться...

А тогда, у колонки, я вида не подал. Дослушал речь полковника, набрал воды и ушёл.

По той причине, что меня так бесцеремонно выдворили из института, огорчение моё было сокрушительным. А ведь я даже не подозревал, что такому великому облому споспешествовал ещё и какой-то там пункт в моих анкетах. Впрочем, я тогда был всё ещё человеком без комплексов, и подобная дополнительная информация вряд ли усугубила бы моё огорчение...

С месяц я валялся дома на диване, по инерции продолжая изобретать чёртоты насадки. Человека можно уволить, труднее опрокинуть с творческих катушек. Так возникла у меня идея карманной сенокосилки. Какому-нибудь начинающему фермеру или дачнику такая наверняка по ночам снится. У меня перед глазами стояли страдания этих людей. Стояли днём и ночью. А по ночам к страдающим фермерам и дачникам иногда примешивались люди в военной форме... Так что в часы отдыха, особенно, когда заклинивало дело с сенокосилкой, я предавался воспоминаниям о своей срочной армейской службе. Предавался не во сне уже, а наяву...

Я попал в бронетанковые войска. Правда, танка живьём я так и не увидел за все годы своей службы. Видел только у себя на петлицах, на картинках в журналах, да по телевизору на военных парадах. Впечатляющая техника. Тогда я был не против, если бы мне такую доверили. Но мне её не доверили. Меня обмундировали по полной солдатской форме и тёмной ночью на темной «Волге» завезли в какую-то подмосковную глушь. Я решил, что меня зачислили в секретную спецшколу, что, выучившись в ней, я объезжу весь Свет, заодно выполняя ответственные задания командования. Конечно, это связано с риском для жизни, думалось мне. Но эти думы легко таяли в эйфории романтического толка. К тому же побывать где-нибудь в Пунаауи на Таити или в мексиканском Пьедрас-Неграс — такое стоило риска... Увы, мои радужные фантазии рассеялись быстро. Буквально на следующее утро, когда встающее солнце позолотило вершины вековых лип и берёз некогда дворянской усадьбы, я уже знал, что прибыл в расположение дачи генерала бронетанковых войск Погремускина. Прибыл для прохождения дальнейшей воинской службы.

Мне вручили кожаный саквояж с десятком разнокалиберных и разноцелевых ножиц. Показали роскошную псарню, в которой наслаждались жизнью тридцать восемь сытых, брызжущих весельем пуделей всех известных подвидов и окраса. С охотничьими собаками занимались другие. Мне же была поставлена чёткая задача: следить за тем, чтобы волосатость собачьей интеллигенции соответствовала международным стандартам. Я, было заикнулся, что никогда этим делом не занимался. Что я, чего доброго, испорчу, даже, может, искалечу животное... Но начальник всех псарен капитан Калганов, оборвав меня, строго сказал: «Отставить разговорчики! Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». И уже чуть менее строго напомнил о воинском долге, о воинской присяге... Пришлось взяться за науку. Служба пошла...

Вскоре перезнакомился с шоферами, конюхами, стремянными, егерями, выжлятниками, ветеринарами, садовниками, поварами и прочими специалистами. Всё это были славные ребята. Числились они кто в бронетанковых, а кто в ракетных войсках. Был один переброшенный с Тихоокеанского флота подводник-водолаз. Пользовались его военной профессией и квалификацией, когда генеральские рыбаки ставили сети...

Жили мы все дружно, никакой дедовщиной у нас не попахивало.

Бывало, в свободное от службы время заберёмся куда-нибудь в кущи сирени (укромных уголков на территории дачи было огромное множество), и расписываем «пулю», сидя в роскошных шезлонгах за роскошным садовым столиком из карельской берёзы. Кстати, столешница была инкрустирована гималайской липой цынцын. В таких условиях все мы в короткие сроки стали классными преферансистами. Ничего удивительного — в армии вообще очень много классных специалистов. Это общеизвестно.

Увлёкшись, мы порою не замечали, как над нашим столом нависала могучая фигура генерал-полковника — нашего бати, любившего послоняться по территории в пижаме. Глядя на наше занятие, добродушно басил: «Я смотрю, штабные карты разложены. Вольно, вольно... Сидите. Продолжайте тактические занятия». И уходил — подремать, поработать в одном из своих кабинетов. Вообще, надо сказать, что к нашему брату солдату он относился хорошо. А вот к офицерам был строг. Видно, знал, что если из нас генералы уже не получатся, то из них — офицеров — могут... А кому симпатичны конкуренты?..

Дружил он почему-то только с подполковниками. Бывало в праздники, большой мужской компанией сживали они за богатым привольным столом на Южной или Восточной веранде.

Шутили, смеялись, пели боевые песни «Броня крепка...» или «Три танкиста выпили по триста...» Но вдруг, среди пристойного веселья, Погремушкин хмурился туча-тучей. Говорил, глядя пристально в одно из подчинённых лиц: «Эй, Иван Иваныч! Что-то мне не нравятся твои глаза сегодня... Обидел ли чем, недоволен чего?..» Обрывались разговоры. Над столом повисала тягостная тишина. Было слышно только тугое дыхание Погремушкина. «Да что вы, товарищ генерал! Всё у меня есть, всем доволен. Спасибо министру обороны. А уж вам-то спасибо — самое большое...» Погремушкин долго и мрачно ковырял зубочисткой в зубах. Наконец зычным голосом призывал меня. «А ну-ка, — приказывал, — постриги-ка Ивана Иваныча. Затылочек у него вроде зарос. Как, ребята, зарос?!» — обращался он к остальной компании. «Чуток есть, товарищ генерал». «Самую малость подправить можно...» — посмеивались подполковники, похлопывая Иван Иваныча сочувственно. Мол, терпи, не сердчай — старик шутит, а ведь мог бы и рассердиться...

Я приступал к выполнению приказа. Больше просто щёлкал ножницами. Для вида. И вот тут честно скажу, ни разу не было у меня желания покуражиться...

Погремушкин, развалившись в кресле, щуря в усмешке глаза, говорил: «Без усердия, без усердия, товарищ солдат...». Но я старался — мне было жаль Иван Иваныча. Я всячески старался дать ему понять, что разделяю вместе с ним его унижение...

Разумеется, всеми нами, в том числе и самим Погремушкиным командовала его жена Лидия Спиридоновна. Могучая, дородная дама с большим висящим подбородком и со стальным взором. Подстать нашему бате. Удивительная была женщина... Некоторые из моих товарищей были весьма видные, brave, не лишённые гусарских наклонностей, ребята. Скажем, подводник-водолаз. Очень даже видный паренёк был... Так вот, кое-кого из них Лидия Спиридоновна откомандировывала на ночь к себе в спальню. Естественно, тогда, когда Погремушкин находился в гуще дымных механизированных колонн на далёких полигонах. Делала она это не из какой-то там низменной похоти, а исключительно из страха остаться одной в

опочивальне. Те, кто спасал её от ночных страхов, кто помогал скрашивать тоску одиночества, рассказывали потом, что кровать в опочивальне «шибко просторная».

Как-то пятеро моих подопечных пуделей заскочили туда, и мне было приказано выдворить. Тогда-то я и увидел ту самую «шибко просторную». Я был потрясён: Вот оно настоящее поле для сражений танковых армид. Господи, ну что мы за существа: вечно воюем не тем, не так и не там, где надо!..

Как я уже говорил, Лидия Спиридоновна была женщиной удивительной. И заключалось это в том, что на другой день она в упор не видела того самого благодетеля, который помог ей скоротать тревожную ночь одиночества. Её не интересовала ни фамилия, ни даже имя его. Словно это был индейский петух из её птичника. Более того, с первыми лучами солнца она могла отправить благодетеля строевым шагом на кухню отрывать «пупочки» у крыжовника для варенья. Прямо как у Александра Сергеевича: «...Она езжала по работам, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила в баню по субботам, Служанок била осердья — Всё это мужа не спросья...» Уже и памятник Александру Сергеевичу на Тверском бульваре патиной покрывся, а у нас ничего не меняется — всё та же жизнь...

Правда, в это же самое время на соседних адмирало-генеральских дачах утомлённые благодетели получали в постель чашечку горячего шоколада с гренками. Удивительно! То есть нельзя говорить огульно. Что-то всё-таки изменилось... И авторское замечание попахивает банальным очернительством как самого времени, так и тех, кому оно выпало...

Касаемо же Лидии Спиридоновны, надо сказать, что никаких поблажек, никакого панибратства на сексуальной почве она не терпела. Такой уж это был самобытный человек. И верно. Если разобраться. В конце концов, это армия, а не санаторий. Так что все наши гусары-удальцы бледнели и трепетали перед Лидией Спиридоновной, как подполковники перед её мужем.

Но было существо, перед которым Лидия Спиридоновна и сама, всеми своими телесами, трепетала, как осиновый лист. Звали это существо Климом. Было ему пять лет, и приходился он нашей хозяйке внуком. Сам Погремушкин не чаял в нём души. Хоть и шутя, но бывало, вытягивал руки по швам перед ним. Особенно, когда на Клима надевали китель с золотыми погонами и брючки с широкими алыми лампасами. Форма ладно сидела на мальчонке. Прямо готовый генерал безусый. Особо хороши были орденские колодочки на груди. Наши ребята говаривали, что это как раз те, которым не хватало места на кителе дедушки. Может быть.

Клим был озорной, дерзкий, смыслённый. Желая поиграть своей беспредельной властью над всеми, или же просто от скуки, он вдруг закатывал шумные скандалы и истерил по любому поводу. Скажем, он подходил к шоферу или садовнику и спрашивал: «Ты ел сегодня что-нибудь вкусенькое?» Стоило тому ответить: «Нет ещё», как Клим, гневно топнув ножкой, покрываясь густым румянцем, произносил: «Каждый человек должен есть, хоть что-нибудь вкусенькое», Резко повернувшись, он бежал в дом и там раздражался криками, слезами, тузя своими тугими кулачками набегающих нянек. Так продолжалось, пока не евшему сегодня «вкусенькое» не выносили на подносе бутерброды с икрой, куски торта, нарезанный ананас или баночку импортного сока.

Впрочем, была у Клима одна паршивая чёрточка. Вечно он что-то вынюхивал, что-то подслушивал, кого-то выслеживал. Потом вдруг неожиданно выскакивал из своего укрытия и орал на всю дачу во всю мочь своей детской глоточки: «А вот я сейчас пойду и доложу генерал-полковнику!» Те же самые слова он мог бросить и родной бабушке. Знал, чертёнок, как допеч. Ему чуть ли не в ноги бухались: «Климушка, не выдай, милый!.. Ну, Климушка...» Боялись не столько конкретного разоблачения, сколько того, что Климушка мог нагородить с три короба. В азартном увлечении. А потом дедушка на досуге всё это тщательно и с удоволь-

ствием разбирал. И тут на божий свет выползло такое... А вот на то, что ему иногда говорили: «Ну, ты, Клим и сучонок...» деду он почему-то не жаловался. Может, потому, что сам часто пользовался этим словцом, и не видел в нём ничего обидного...

Климушка, где ты? Что-то ты сейчас подельываешь? Учишься ли в секретной спецшколе? Или ты уже заседаешь в генеральном штабе? Отчего бы и нет, с таким-то дедушкой и с такими-то данными?..

Славное было времечко, славная была жизнь. Да и была ли она у меня?..

...После месячного прозябания на диване, когда я предавался вышеописанными воспоминаниями, я стал помаленьку выходить на улицу.

Рассеянно прогуливался по городу, заодно раздумывая над нуждами начинающих землепользователей. Но карманная сенокосилка с добротными параметрами всё не придумывалось. Видно слишком много мыслительной энергии уходило на думы о хлебе насущном. С ним у меня становилось всё хуже.

Можно было бы устроиться рабочим на завод. Я не из чванливых. Руки есть, голова, похуже, на плечах — отчего не попробовать? Да где там, когда в трудовой книжке помечено, что у тебя законченное высшее. Каким-то чудом поступил, каким-то чудом закончил, а зачем?.. Чтобы в конце концов рваться к слесарному верстаку?.. На таких хозяева бункеров и кнопочных пультов смотрят с мало скрываемым подозрением. Из опыта они знают, что под личиной рвущихся к слесарному верстаку наверхню скрываются «совсем не наши люди». Если такого прищучить да разоблачить, то успех может быть отмечен даже государственной наградой. Правда, саму награду надо ещё выбивать из вышестоящих инстанций. Дело хлопотное, клязнуное...

Вот размечтался о каких-то наградах, которые уж мне-то никак не светили. Да ещё в таком-то моём положении...

Мысли о хлебе насущном одолевали всё более. И это притом, что я был холост, что у меня имелась крыша над головой — комната в перенаселённой коммуналке с тёплым, но вечно неисправным туалетом: он круглосуточно рычал голодным бенгальским тигром.

Крыша над головой в доме по 27-й Красноармейской улице (всего их у нас тридцать три, и название каждой напоминает гордую поступь ещё одного перегруженного верблюда) досталось мне от родителей. Кстати, о родителях. Мамуля моя была цыганкой... Я так и не дождался отчёта отца передо мной: где и как он умудрился покорить сердце красавицы из вольнолюбивого бродяжьего племени... Итак, мамуля была цыганкой... Но странной. Ни петь, ни плясать, ни брэнчать на гитаре она не умела. Она умела горячо любить отца и не менее горячо любить меня — своего сына.

Где бы отец с матерью не появлялись, тут же начинались приставания к матери с просьбой спеть, сплясать или сыграть. Отец бросался на защиту. И сколько было ссор, ругани с неумёнными приставальщиками... В конце концов, отец стал говорить: «Нет, нет, что вы?! Она у меня простая еврейка». Для большей убедительности отец умудрился и в документы внести соответствующую коррекцию. Вы спросите, как ему это удалось? Не знаю. Думаю, человек, серьёзно увлечённый цыганкой способен и на большие глупости. Разумеется, занимаясь коррекцией маминых документов, он начисто забыл обо мне. А ведь я уже имел счастье присутствовать на этом свете. Но уж такова была любовь. Тогда он не думал, что основательно усложнит жизнь своему сыну...

Теперь отца нет в живых. Мамули тоже... И потому я, уже взрослый человек, давно не в обиде на отца. Наоборот, я преклоняюсь перед его страстью, перед его безоглядной любовью к маме...

Война, послевоенное лихолетье рано уморили моих родителей. Спасибо им, успели оформить нужные бумажки, по которым жилплощадь осталась за мной. А

то ведь, пока я занимался пуделями Погремушкина, меня умудрились выписать. Похоже, ЖЭКовские работники посчитали, что я непременно прорвусь в генеральские зятя. Это при таких-то конкурентах как водолаз-подводник?.. Вечно они там что-то не так считают...

Так или иначе, теперь, казалось бы, на что жаловаться? Тем более, что от полного разочарования, от полного краха меня пока что спасали ежедневные пара бутылок кефира и батон. По своим финансовым возможностям я вот-вот должен был перейти на одну бутылку. Правда, пока что с батоном. Но всё равно, согласитесь, перспектива удручающая и от того не менее банальная. То и дело на память приходил Климушка Погремушкин. Его сакраментальное: «Каждый человек должен есть хоть что-нибудь вкусненькое». Какая мысль! Вполне достойная Шопенгауэра...

Как-то, прогуливаясь по набережной канала Грибоедова, я невольно затесался в странную толпу. Люди были одеты на манер жителей Санкт—Петербурга конца 18 века.

По шумной бестолковщине, суете и горящим среди бела дня прожекторам, стало ясно, что идет съёмки. Это было любопытно даже на голодный желудок. Я застыл, разинув варежку.

Ко мне подошёл мясистый мужик с огромной кудлатой головой. Невысокий, в мятых полотняных штанах. Половинки пухлой задницы перекатывались в них, как арбузы в мешке. Рыжие спиральные пряди волос его жёстко торчали во все стороны. Казалось, их с вечера накручивали на раскалённый штопор. Сметанное круглое лицо заросло тоже ржавой паклеобразной щетиной. Он уставился на меня, шевеля ежами оститстых бровей, выпучив светлые глаза. Раскрылась красная пасть с кривыми прокуренными зубами. Рывкнула:

— Ты! Дубина! Какого рожна?!

— Я?! — и оглядываюсь, полагая, что это кому-то другому.

— Ты, ты! Мин хренц! — он толкнул меня в грудь короткой сарделькой пальца. — Какого рожна шляешься до сих пор не переодетый?!

— Да пошёл ты на...! — на этом предлоге «на» рот мой захлопнулся. Вдруг осенило... В голове радужно замелькали купюры. От рубля и выше. Это мельканье сменилось более скромным — мельканием кефирных бутылок и батонов. От сверкающей стеклотары заломило в глазах.

— Нельзя уж и немного опоздать, — сказал я изо всех сил обиженно.

— А вот ты у меня с намыленной холкой походишь... — угасающей головёшкой, сунутой в лужу, прошипел Рыжий. И тут же взорлил голосом: — Шапкина! Шап-ки-на!

Появилась женщина с вытянутым испуганным лицом. На ней был затасканный мятый пиджак с мужского плеча явно. В лацканах торчали иголки с нитками разного цвета. К груди она прижимала одёжную щётку.

Шапкина переводила озадаченный взгляд с меня на Рыжего. Что-то объясняла насчёт какого-то Колдобина. Но Рыжий не хотел слышать. Он орал, брызгал по сторонам слюной, размахивал руками...

Очнулся я переодетым. На мне был вполне приличный костюм. Правда, потрескивал под мышками. Оттуда вырывались такие клубы пыли, словно там перестреливались из своих длинноносых пистолетов пираты времён освоения Южной Америки...

«Уйду-ка я в этом стреляющем смокинге домой, — мелькнуло в голове совковое по ментальности. — Сдам в комиссионный. И пусть этот скандальный мин хренц потом меня разыскивает». На ум пришла цифра возможной выручки. Она тут же стала бешено делиться (как какая-нибудь суперамёба) на стоимость двух бутылок кефира и батона. Получалось что-то очень много... Перспектива вне-

запного обогащения и безбедного дальнейшего существования меня так потрясла, что я сильно расчихался.

— Вы только посмотрите, как выразительно он чихает! — орал Рыжий. — Впервые вижу, чтобы человек из массовки так грамотно, так высокохудожественно чихал! По всем канонам Станиславского! Да и Немировича, пожалуй, тож!..

Из глаз Рыжего выглядывали удалые черти. Они вогнули бы в краску и самого Станиславского.

Черти с садистской издёвкой подмигивали мне.

Рыжий хлопал меня по плечу и тоже чихал, стараясь переплюнуть меня в выскокой художественности.

— А вы, мин хренц, — говорю, — чихаете почище меня.

Слова мои были в самую жилу, ибо были они в духе Дейла Карнеги...

Рыжий азартно запустил пятерню в мочалку бороды. Пальцы с трескучим усилием продирались сквозь заросли.

— Мне-то сам Бог велел... А ты — парень ничего. Когда-нибудь снимался, сознаваясь?

— Было дело под Полтавой... — решил я хоть какой-то наживкой замаскировать крючок лести и обмана.

— Угадал. У кого?

— Какая разнища. Тоже мин хренц не дай Бог... Только горлом повежливей.

— Ладно, не сердчай! Работа у меня такая. Волчья...

Тем временем поставили рядом невысокий заборчик. По команде Рыжего пожилой мужчина встал возле него на четвереньки. Было неловко видеть человека в такой унижительной позе. Повторяю: человека пожилого. Недоброе чувство к Рыжему шевельнулось во мне. Увы, только шевельнулось. Тотчас вспомнился блеск кефирных бутылок...

Затем Рыжий велел мне подойти к старику и постоять над ним, сделав недоуменное лицо.

Раз десять подходил я к бедалаге. Раз десять делал какое надо лицо. Я старался так, что поскрипывали шейные позвонки. Хотелось, чтобы скорее кончились наши с ним муки. Но Рыжий оставался всё недоволен...

Неожиданно он отцепился от нас обоих и переключился на кого-то другого. Я отошёл. Но сначала помог старику подняться. Отвёл его в сторону. Старичок рассеянно бубнил: «Неужели это финита ля комедия?..» И столько было грусти в его вопросе, столько боязни то ли не попасть в кадр, то ли остаться без работы, что я поспешил его утешить: «Мы с вами ещё, ой, как понадобится этому Чингисхану с серыми глазами. Вот увидите».

Я затесался в толпу массовки.

Здесь жили совсем иной, не экранной жизнью. Одни мужики (в котелках, с тросточками) курили, мрачно сосредоточенные на каких-то своих мыслях. Другие (в манишках, с галстуками бабочка) потрошили мелкую сухую рыбёху, плотоядно обсасывая каждую рыжую дужку рёбрышка, прихлёбывая из бутылок пиво. Иные, почему-то стоя, играли в «очко». Молча, без эмоций. Видно, эти уже были налиты пивом под завязку. Их замусоленные карты шлёпали, как ленивые поцелуи.

Женщины курили тоже. Брезгливо и далеко отставляя дымящиеся сигареты. Те, что в очках, читали толстые журналы, вязали. Обменивались информацией о том, что и где можно сегодня достать в магазинах. У иных уже лежали в ногах затаренные сумки и пакеты.

Я рассеянно прислушивался к журчанию их речей. Руки перебирали в карманах дыры. Желание удрать домой в обновке приуогасало.

Донёлся голос Рыжего:

— Где этот мешок пыльный?! Подать сюда пыльного! Чихальщика гнусного!

Его ассистенты, видно, всё схватывали на лету. Они вклинились в когорту массовки и выдернули меня за руки, как гвоздь из гнилой доски.

Пока волокли, на мне уже не было того приличного костюма. Вместо него натянули не то мешок, не то какое-то жёлтое платье. Подол его чуть прикрывал голые колени. Это было уже слишком. Я шипел, наспигованный злостью, отбиваясь, и думал: сейчас двинуть в нюх подонку Чингисхану или чуть позже?

— Хорошо, хорошо! — орал тот. — Попробуем включить его в группу телохранителей Фараона. Воду! — скомандовал.

Выскочил парень в кирзовых сапогах с загнутыми голенищами, с болтающимися на них матерчатými ушками. В руках его было ведро. Он подскочил и хлопостнул в меня...

Перехватило дух. В горле застряла такая отборная матерщина, что я чуть ею не подавился.

Именно в эти секунды, пожалуй, обрёл я то самое изумлённое лицо, какое так тщетно выколачивалось из меня совсем недавно. Но этот болван Рыжий, похоже, ничего сейчас не видел, кроме той чепухи, которая пронеслась в его воспалённом мозгу...

Парень размахнулся уже вторым поданным ведром.

Я пришёл в себя, когда увидел у него в руках третье. Рванулс я навстречу. Успел двинуть ногой по ведру. Вода окатили его. Теперь он стоял с изумлённым лицом, обалдело вращая вылезавшими глазами, хватая ртом воздух. Наконец закричал:

— Что за фи-фишки?! Так не догова-варивались! Я так ра-бо-ботать не буду!..

— Постой, Гришуня! — отозвался Рыжий. И ко мне: — Слушай, Пыльный, а ты, оказывается, каратист ко всему прочему.

Я с ненавистью смотрел в его бесстыжие глаза и цедил сквозь зубы, выбивавшие дробь:

— Уйди, копчёный, от греха подальше...

Он подскочил, обнял меня. Горячо хлопнул по плечу. С плеча полетели брызги.

— Слушай, прекрасно! Только копчёный не я, а ты! Я же — конопатый!.. Врубашься?! Ты у меня пойдёшь в моджахеды! Есть одна задумка... Словом, используем твою смуглость...

— Вали к чёртовой бабушке со своими задумками! — закричал я, отталкивая его. И, изловчившись, врезал пинка в его арбузный зад.

Но он заливался хохотом. Приседая, показывал на меня пальцем. И всё повторял, что удивлён и восхищён...

Я бы не возражал, если бы испытание, свалившееся на мою голову в тот день, можно было бы аккуратно разложить дней на десять...

Как бы там ни было, с того дня я всё чаще стал появляться на режиссёрских задумках Рыжего.

Орал он на меня так же. Впрочем, он и на других опрокидывался с тем же нахрапом. То ли темперамент был такой — чисто нашенький — под соусом незлобиво хамства. То ли безвыходно вошёл в роль какого-нибудь великого маэстро (в маленькой Италии их как у нас грибов на Смоленщине), сутками шумно фонтанирующего ракурсы, наезды, крупные планы и мизансцены...

Звали его Виктор Залепухин. Отчества своего он не любил. Странное оно у него какое-то было: Пульхерьевич. Старосветско — помещечье. Возможно, горластость Залепухина и происходила от обиды за него. Заиклившись на таком, в круг элиты не войдёшь. Залепухин старался не заикливаться. Даже пошучивал. Правда, по поводу фамилии. Мол, на турецкий лад она звучит:

Залеп Ухин. А я, когда думал о его отчестве, испытывал к нему самому сочувствие и даже жалость. Несмотря на всю его самоуверенность и нарзанную пузыристую...

Хорошо, что я наскочил на него. Теперь у меня было не только на пару бутылок кефира и батон. Хотя, конечно, работа не сахар. По ночам такая муто́та донимает, что того и гляди, попадёшь в разряд типажа «приходи ко мне вчера». Действительно. То вдруг валюсь с крыши Чикагского небоскрёба. Лечу, лечу... Уже каждую песчинку могу разглядеть на мостовой. И всё не шмякнуться — перед самым ударом просыпаюсь. Весь в поту... То вдруг у меня оказываются страшно густые длинные усы с бородой. Хожу таким проклятым Карабасом-Барабасом и подметаю метлой своей растительности какую-то маленькую пыльную улочку на Монмартре. Почему не в Кременчуге? А Залепухин недоволен, орёт: «Да кто так не художественно метёт! Жеманство кисейной барышни, а не работа!»

А тут как-то привиделось, будто я маленький-маленький. Мальчик с пальчик. Ещё меньше. Со спичину. Какой-то бедный, занюханный, вконец несчастный. Сажу на скользком миллиардном шаре (и кто меня только туда подсадил?) посреди огромного зелёного стола. Страшно посмотреть вниз: сукно стола кажется морской пучиной. Наворачиваются слёзы, хочется плакать. А Рыжий поигрывая кием, готовится долбануть другим шаром. Кий в его руках какой-то беспредельно-длинный. Как луч прожектора, направленный в ночное небо.

Вот он прицеливается. Удар!

Шар бешено вращается подо мной. Сквозь короткие штаники на помочах чувствую: горячит... «Пигмейчик, только посмей свалиться на стол!» — слышу.

Я и шар с грохотом валимся в лузу. Летим в трубе сетчатого мешка. Летим долго. Как с чикагского небоскрёба... «Стоп мотор! Получилось!» И я просыпаюсь. В руке почему-то шарик от настольного тенниса. Им обычно играет соседский кот. Шарик тёплый, даже горячий. Как он оказался у меня в руке?..

Что ж, человек ко всему привыкает. Особенно по нужде. Стал привыкать и я к этой вулканической жизни. Стал даже находить в ней удовольствие. Может быть и сомнительное. Во всяком случае, я от неё — житухи — несколько раз так угорал, что казалось, всё — завязываю. Но как-то исподволь научился смотреть на происходящее со мной как бы со стороны. Будто сажу в кинозале и наблюдаю разворачивающуюся судьбу совсем постороннего человека. Легче стало. А мельтешение героя даже увлекало своей забавностью...

Я, кажется, уже говорил, что человек я холостой. Давно смирился с мыслью, что девушки и всё то сказочно-праздничное, прекрасно-опьяняющее, что они привносят в мир — всё это не для меня. Я отнюдь не изъеденный молю хмурый женоненавистник. Сказать откровенно, я не лишён matrimониальных намерений. Да, тех самых упований, надежд... Я не отрицаю, что иногда между мужчиной и женщиной всё решается красиво, захватывающе-интересно и счастливо. Но где? Чаще и убедительней, пожалуй, в кино. Особенно, если вспомнить старые ленты. Без дозированного насилия, без обязательной порции секса. Где люди умели улыбаться друг другу искренне и непосредственно. Не то что теперь: улыбка ослепительная, а каждый зуб смотрит ядовитой пулей...

Впрочем, возможно, каша этих разглагольствований заварилась в моей голове под действием очередного сценария, который по приказу Залепухина я должен просмотреть к определённом сроку...

Но вот однажды шёл я со съёмком.

Вечерело. Тени от старых, доживающих свой век тополей были темны и густы. Они лежали наискось поперёк тротуара. И походили на чёрно-бархатистые, с сероатой пылью, нутро футляров, из которых вынули музыкальные инструмен-

ты... Чёрт! Ловлю себя на том, что опять... Опять смотрю и думаю по-киношному. Иначе откуда эти пыльные музыкальные футляры, через которые перешагивает мужик, идущий с работы?..

Не сразу обратил я внимание на человеческую фигуру под деревом. Сначала её контуры были размыты. Но по мере наезда камеры... Тьфу ты!.. Через несколько шагов я уже не сомневался, что под деревом молодая симпатичная особа. Всем своим скромным обликом, излучавшим таинственность, она напоминала Ассоль. Ассоль, бежавшую к морю и вдруг остановившуюся в нерешительности, в раздумьи: какая из тропинок скорее приведёт к берегу. Чувствовалось, что это для неё очень важно. Чуть ли не жизнь решалась в эти секунды. И вместе с тем, странно... Левая рука её была приподнята. Таким жестом останавливают такси или прощаются с близким человеком, оставаясь на перроне.

Указательный палец другой руки был прижат к губам. Так просят помолчать в присутствии посторонних. Я невольно огляделся в поисках посторонних. Не увидел. Увидел выражение лица её. В нём были и просьба, и неловкость от того, что приходится затруднять чужого человека. Передо мной было существо, явно нуждающееся в помощи. При современной поголовной тяге к независимости, согласитесь, такое выражение лица у девушки — явление чрезвычайно редкое. Мимо такого лица нельзя пройти, насвистывая ерундовый мотивчик...

Да, она явно нуждалась в помощи. Скажем, вызвать мастера по ремонту кофеварки, донести тяжёлый кейс с картошкой, открыть дверь, от которой только что утеряны ключи вместе с сумочкой (в ней наверняка были и рубля три денег, и проездной, и косметический инструментарий, и квитанция из химчистки). Да мало ли что?

— Вы?.. — сказала она мягким низким голосом, с едва уловимым ароматом акцента.

Мне показалось, что передо мной иностранка, отставшая от парохода, но ещё не осознавшая этого. Так что насчёт трёх рублей, квитанций из прачечной и химчистки, номерка к зубному, выкройки летнего платья «Фуэзт» и рецепта приготовления торта «Полено» — на счёт всего этого зря я...

— Я, — сказал я. Хотелось добавить шутовское «мадемуазель». Но это милое чужеземное обращение кляпом застряло в горле — вдруг забыл как правильно: «мадемуазель» или «мадамуазель». Мудрено ли? За последние сто лет я ни разу не пользовался этим обращением. Конечно, сомнительную гласную можно было бы зажевать, как это делают политические ораторы. Можно было бы сказать и «мамзель». Но это и для грубоватой шутки всё же вульгарно...

В голове мелькнуло увесистое и совсем бестактное «мадам». К счастью, не успел, выручила она:

— Не может быть?! — сказала почему-то восхищённо.

— Ну, а то кто же? — далеко не в куртуазном тоне ответил я.

Я чувствовал, что произношу не те слова. Что тон мой гнусный, оскорбительный. Но ничего не мог с собой поделаться. Колючие мурашки поскакали у меня под волосами ото лба к затылку — это всё, чем мог ответить организм на полное отсутствие воспитания.

— Я не верю своим глазам! — произнесла она всё с тем же пафосом и всё с тем же лёгким акцентом, словно катала во рту витаминный шарик.

— Да бросьте! — говорю с облегчением, наконец, приходя в себя. — На моём месте у нас любой и каждый... Скажите, в чём у вас затруднение, проблема?

— Затруднение? — она как-то ошарашенно посмотрела на меня.

— Да. Затруднение, нужда, проблема. В чём?

— А-а!.. — смеётся. — Было одно затруднение. Но сейчас, я надеюсь, с ним справлюсь, — и протягивает три красные гвоздики.

«И возлагает три алые гвоздики... к подножию...» — проносится у меня в голове бегущим титром.

А по самой голове опять побежали мурашки. Теперь уже в обратном направлении — от затылка ко лбу. Из-под копыт мурашек неслось: «Не попал ли я в очередную западную Залепухина? Не прячется ли рядом за углом хмырь с камерой? Чёрт возьми, на сегодня-то я своё отработал!..»

— Что за пенки?! — говорю и торопливо натягиваю на лицо резиновую маску недовольства пополам с усталостью. — И вообще, что за дела?

— Это вам... Простите меня... — сказала она, напуганная моим внезапным суровым смятением. — Я понимаю, это неприлично, нехорошо... Я не знаю ни вашего имени, ни фамилии... Но вы ведь артист... Или будете им... Я знаю точно... У вас...

Мне показалось, что в моём туалете имеются недопустимые нарушения. Проверил причёску, ворот рубашки (всё никак не собраться простирнуть), пробежал рукой по интимным пуговкам брюк. Правда, лишь одна, но оказалась не застёгнутой.

— Что у меня? — спросил скорее машинально от случившейся досады.

— Способности, способности у вас... — сказала она, заметно раздражённая моей бестолковостью. При этом как-то робко и неотвратимо просунула лёгкое пёрышко руки под мою. — И, пожалуйста, держите свои цветы сами.

— Да, конечно, — спохватился я. — Давайте подержу.

— И уж эту сумку. Пожалуйста. Здесь рядом...

— Да, разумеется. А спросить вас можно?

Тут я чуть дров не наломал — чуть не спросил её насчёт сумочки с ключами. Мол, при себе ли? Не пропали ли?..

— Так что вы хотите спросить?

— Это... акцент... Откуда у вас?

— Вас смущает?

— Что вы, нет! Наоборот!..

— А-а! — улыбнулась она. — Я родилась в Пабраде. Не слышали такого местечка?

— Нет. Это что — в Испании?

— Это под Вильнюсом, — рассмеялась она. — Не бывали в Вильнюсе?

— Вон оно что... Нет, не доводилось.

— Станете знаменитым, непременно побываете. Это такой красивый городок...

«Нет, — подумалось, — кому-кому, а мне уже не бывать в этой — пока ещё не нашей северной Испании!..»

Мы шли. Из слов Алдоны (так её звали) я узнал, чего стоило ей набраться храбрости, подойти ко мне. Этого мне было никак не понять. А она говорила. Просто, посмеиваясь над собой.

Я хмелел от одного её произношения. Невидимые ветки пускали во мне корни, по ним поднимались соки, и вот уже по-весеннему лопаются пахучие почки... Я даже не заметил, как быстро и ловко устроила она меня в недоступную доселе компанию киношных олимпийцев Чака Норриса, Мела Гибсона, Джеки Чана, Джессики Ланж, Алена Делона, Роберта де Ниро, Жерара Депардье, Кларка Гейбла, Дика Тресси. Не обо всех этих мальчиках я даже понаслышке знал. А Джессика Ланж, похоже, вообще девочка...

Несмотря на все старания Алдоны, чувствовал я себя в этой компании не совсем уютно. А ведь лица этих преуспевших ребят светили мне ободряющими улыбками. Мол, держись, мы свои парни... Я принимал их беззубость за чистую монету. Но в какой-то момент, было опомнился, вынырнул из фимиамного угара, велел себе быть настроже. Но... гвоздики в руке, дружеское подмигивание Ро-

берта де Ниро делали своё дело: я смотрел на себя со стороны, едва узнавая. Хотелось подойти к Роберту, запросто представиться. Хотелось крепко пожать его крепкую руку. Пожелать творческих удач и неиссякаемого потока гонорарных сумм на лицевой счёт...

Идти оказалось действительно не далеко.

Свернули в переулок. Очень тихий. Вошли в подворотню. Оказались во дворе. Прямо посреди две собаки обнюхивались долго и тщательно.

С мусорных баков за собаками, без особого интереса наблюдали кошки. Ни кто никому не мешал.

Поднимались тёмной глухой лестницей. Где-то на третьем этаже окно оказалось не заколоченным. Я увидел, как те же собаки продолжали свою научно-исследовательскую деятельность.

Остановились у двери. Высоко вверху тускло горела лампа. Она болталась на двух толстых от пыли проводах.

Сквозь рваный дерматин обивки двери торчали ключья войлока... Господи, да что я описываю то, что нам родное; что так давно намозолило глаза не одному поколению, и что уже совсем не замечается?!

Алдона дала шесть звонков.

Открыли быстро, видно ждали.

— Ну, как? — тихо спросил женский голос, хихкнув.

— Подцепила.

Где-то глубоко внутри леденящим коготком скребанул испуг. Случившееся знакомство вдруг показалось таким нелепым. Вспомнилось, как сразу не понравился мне и этот безлюдный переулок, и этот обшарпанный дом, грязная полутёмная лестница, полумрак прихожей. Словом, всё то же самое, что и у меня на 27-й Красноармейской. И всё-таки... Ладно, если это шальная проделка Залепухина. А если это обычный притон?.. Но... красные гвоздики, заразительное мужество Роберта де Ниро или Алена Делона, с которым я, по словам Алдоны, вполне мог стать на дружескую ногу. Да и сама Алдона, внушавшая мне это с такой спокойной верой в несомую околесицу, с таким мягким очарованием едва заметной неправильной русской речи, что оставалось положиться на провидение. В конце концов, допустим, что это происходит с кем-то другим...

Мы шли тёмным коридором, поворачивавшим то влево, то вправо. Казалось, вот-вот пройдем дом из конца в конец и благополучно спустимся по пожарной лестнице во двор. Там и распрощаемся...

Неожиданно открылась дверь. Мы вступили в мягко освещённую комнату. Звучала музыка. У окна, стоя к нам спиной, танцевала невысокая девушка в цветастом платье. Казалось, она пытается изящно залезть на воображаемый вертикальный предмет. Скажем, на пальму тех далёких мест, откуда пришла к нам эта Ламбада.

— Люда! — окликнула её та, что открывала нам дверь.

Девушка обернулась, вскрикнула, прикрыла вспыхнувшее лицо руками и повалилась на диван, с головой зарываясь в маленькие подушки.

Я огляделся. Увидел стол. На столе самовар. В нём отражались тарелки с закусками, консервные банки, бутылки. Всё было приготовлено к какому-то торжественному чревоугодию. От самовара, от стола, от тесного уютя комнаты, от внезапного смущения девушки на диване — от всего этого веяло таким патриархальным миром, что я горячо устыдился своих недавних подозрений. И только одно меня озадачивало: причём тут я?

— Он? — спросила с дивана Людочка.

Она оказалась круглолицей, с маленьким вздёрнутым носиком, со светлыми кудряшками волос. Над верхней губкой темнело чуть выпуклое родимое пятнышко.

— Он, — ответила Алдона.

Странный холодок послышался в её голосе. Мне показалось, что интерес ко мне, который только что заражал весёлым сумасбродством, вдруг исчез, испарился.

А пигалица вскочила с дивана, подбежала к Алдоне, повисла у неё на шее.

— Ой, Доночка! Какая ты молодец, какая ты умница!

Алдона принимала её ласки спокойно, с видом уставшей матери. На лице её даже проскальзывала озабоченность. От чего опять мне стало немного не по себе. Но непосредственность Людочки, любопытный взгляд, брошенный украдкой в мою сторону... Этот самовар на столе... Не замызганный, не засиженный мухами, а празднично блестящий. Излучавший тепло доброжелательности на всякого, кто оказывался доступен его серебряному свечению... Этот

забавный симпатичный матерчатый слон, гревший внутри себя заварной чайник, угнездившийся на самом верху самовара... Господи, вот где место человеку, когда он затуркан и скукожен жизнью!..

Вот мы уже за столом. Оказывается, собрались девчонки «просто так, без особого повода».

Мой отказ от вина, даже сухого, их огорчил. Особенно Людочку.

— Не может быть! — сказала она и посмотрела на подруг. Глаза её даже повлажили. — А мы... как же мы? — растерянно пробормотала она.

— А мы выпьем! — сказала Алдона. — Вино откупорено...

— Понимаете, — промямлил я совсем не в духе Жерара Депардьё, — завтра рано вставать, и надо быть в форме.

— Всем завтра рано вставать, всем надо быть в форме, — сухо сказала Алдона. — Наливай, Надя.

Высокая Надя, с узким смуглым лицом, потянулась рукой к бутылке. В ушах её были большие, как колёса детского велосипеда, серьги явно древесного происхождения. Голове с такими серьгами тесно в любом помещении. Казалось, все мысли девушки были заняты тем, чтобы не зацепиться серьгой за что-нибудь. Пожалуй, этим и объяснялось её спокойно-холодное выражение лица.

— А стаканчика кефира у вас не найдётся? — прочирикал я, косвенно роняя достоинство Кларка Гейбла, а заодно и Мела Гибсона.

Три грации ошарашенно переглянулись.

— Вы слышали?.. — прошептала Людочка.

— Киношники — они все чудачки. Все они немножко с тараканом в голове, — сказала Надя, держа голову ровно. Так, что ни одно колесо не дрогнуло.

— Найдётся, — сказала Алдона. — Стакан кефира куда оригинальней, чем чай с ватрушкой.

— Зря вы так. Я не оригинальничаю. Просто кефир — это мой напиток. Он заменяет мне любую жидкость. И потом, по отношению к моему кефиру я порой сужу о людях... — вырвалось у меня.

— Любопытно, — Алдона посмотрела мне в лицо долгим отрешённым взглядом.

Несколько тягостная тишина продолжала висеть над столом.

После третьей рюмки (я же пил своё питьё стаканами) тишина эта стала рассеиваться. Похоже, с моим нелепым, почти физическим недостатком то ли смирились, то ли простили мне его. Не иначе как за таинственную причастность к роскошному миру Чака Норриса и Джеки Чана. О существовании этого мира мне стало ясно только сегодня. И вот сегодня, сейчас мне было как-то ровным счётом на него плевать. Хотя бы потому, что я не изменил своему кефиру...

Первой очнулась Людочка.

— Я никогда не сидела за одним столом с артистом. И самой не верится, — она прижала ладошки к полыхающим щекам.

От этих трогательных слов я был готов провалиться. Тут и с моими щеками что-то случилось.

— Бросьте! Нашли артиста... — всё-таки нашелся я.

— Да-а... Уж верно видели живого Смоктуновского, Леонова, Алису Фрейндлих.

— Нет, никогда. Их уже и в кино что-то почти не видать.

— Просто они своё отыграли, — сказала Надя. — Теперь ваше время приходит.

— Нет, я тут не причём.

— Не скромничайте. Будете когда-нибудь знаменитым и тогда... — дальше Людочка не нашла слов. Но можно было догадаться, что тогда-то и начнётся самая настоящая часть моей жизни. «А почему бы и нет?» — вдруг мелькнуло в голове горячее. И тотчас я увидел себя таким симпатичным, даже несколько неотразимым приятелем, скажем, Доминика Санда. Но тут Алдона:

— Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь... — она смотрела на меня со всепрощающей улыбкой. Так смотрит мать на зарвавшегося в хвостовстве сынишку.

Ещё не вникнув в смысл её слов, я почему-то страшно им обрадовался. Дело, видно, было в их тоне...

— Вот именно! — говорю.

Казалось, я только сейчас увидел эти грустно улыбающиеся глаза, эту длинную белую шею в глубоком вырезе вишнёвого платья. И она не отворачивала лица, не отводила глаз. Невидимый луч протянулся впервые между нами. Луч доверия и понимания...

Очнулся я от удара Людочкиного кулачка по столу.

— Как это так «некрасиво»?! Что значит некрасиво?! Ещё как красиво! Ты же сама, Алдона, говорила, что он артист, что талантливый и всё такое прочее...

— Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех, — сказала Алдона в подтверждение каких-то своих мыслей. И добавила: — Впрочем, на артистов это не... — она задумалась, подбирая слово, — не рас-про-страня-е-т-ся, — произнесла по слогам. — Артистам слава нужна. Они без неё чахнут.

Надя осторожно повернула голову в сторону Алдоны. Лицо её оставалось всё таким же серьёзным. Вино, видимо, её совсем не грело. И только колёса в ушах грозно покачивались, оттягивая мочки.

— Как это так: ничего не знача? — уже сердилась Людочка.

— Очень просто, — говорю. И чувствую: наконец-то я в своей тарелке. Теперь... Теперь ничто меня не тревожило, не смущало. Я даже испытывал некое упоение. Упоение самого простого свойства. Оно, видимо, родилось от чуда «пустяка» сидеть в этой комнате, за столом, среди этих девушек...

— Алдона! Ничего не понимаю! Тогда зачем ты его привела? — ударила из тяжёлого орудия своей очаровательной непосредственности Людочка.

— Не знаю. Привела вот... — сказала Алдона. — А ты попросилась придти посмотреть, послушать.

— Он же ничего не рассказывает! Может, это и не он! Может, привела какого-то... первого встречного поперечного. Ждёт, когда мы наклюкаемся, а потом такое учинит... — и Людочка вдруг покосилась на меня холодно и враждебно.

— На то и актёр, чтобы учинять, — невозмутимо сказала Надя.

— Киношник... Если вы киношник, так расскажите что-нибудь о своём кино. Хотя о том, как другие снимаются.

Я и сам был не против что-то рассказать. Но что? С чего начать? Отхлёбывая кефир, мало-помалу я всё-таки разговорился. Начал с заморочек Залепухина...

Неожиданно и очень явственно я увидел себя со стороны. Будто это и не я вовсе, а какой-то старый задрипанный актёришко, которому доверяют теперь

лишь утренники в детских садах. Сидит это он у самовара в окружении трёх очаровательных девушек. Сидит и вещает младости о блеске и нищете актёрской жизни. О грустном и смешном, о печальном и трагическом. О мире прекрасном и яростном. О судьбе. И — на тебе!.. Вдруг вижу, что вещаю о том же, но где!.. Где-то в глухо-провинциальном аэропорту — заснеженное поле с избой на краю — среди случайных попутчиков. Тут же три моих грации... Едва узнаваемые, закутанные в шали так, что только глаза блестят. Странно, но все мы здесь коротаем время в ожидании... маленького местного самолётника. Он давным-давно должен был прилететь, но... За окнами метель, непогода. Здесь, в зальце со старыми изрезанными скамьями (рядом с неувядаемым: «Вася + Тоня = любовь», более современное: «Миша + Маша = кооператив») — холодно, серо и сыро. В углу печка с облупившейся штукатуркой. У печки лежат поленья. Снег с них давно стаял, вода высохла, и на полу остались тёмные влажные пятна. Дрова лежат, но некому затопить. Все думают, что должен придти дядя Коля истопник и сделать то, что обязан по должности. Но дядя Коля почему-то не приходит. То ли запил, то ли ушёл к своей километровой за семьдесят на крестины... Время от времени по поводу подобных беспорядков кто-то с кем-то тихо переругивается. Так — без энтузиазма: все тайно верят, что вот-вот улетят, и пусть горят эти дрова синим пламенем кому-нибудь другому, а пока — мы потерпим...

— Вот скажите, — говорил я, с удовлетворением осознавая себя снова в тёплой комнате с самоваром. Как-то вдруг, краем сознания догадываясь, что уют комнате больше всего придаёт матерчатый абажур, низко висящий над столом. — Вот скажите, трудно ли сыграть роль мужа, которому жена плюнула в лицо за то, что он не умеет добывать хорошие деньги?

— Так уж прямо и плюнула, — обиделась Людочка.

— Пусть будет в переносном смысле. Но такое возможно? Хотя бы в кино или на сцене?

— Ну, допустим, — сказала Надя. — В конце концов, это — дело семейное.

— А сыграть такое как? Трудно?.. Ведь тут и трагический момент.

— Трагический... Подумаешь, утёрся и дальше пошёл. К другой... Что тут трагического?

— А то, что муж понимает: жена права. Каково-то ему?.. Если учесть, что никакой другой у него нет, и никуда он уходить не хочет.

— А-а... Это по-киношному. В жизни не так. В жизни: дуй, муженёк, ещё на одну работу и всё тип-топ будет.

— Не о том сейчас речь, Люда, — сказала Надя. — А тут действительно есть что играть. Уж Смоктуновский бы это, ох, как сыграл...

— Случайно, не вы ли сами такое играете? — спросила Алдона.

Я почувствовал, что опять краснею. Но это, видимо, расплата за любовь к кефиру.

— Нет, я на мелких проходных эпизодах. Без реплик даже.

— Но и тут, в вашем примере, герою, похоже, говорить нечего, а играть есть что.

— Да. С этим примером понятно. Тут есть что играть и даже видится как. А вот такое. Наш Залепухин вдруг просит Евгения Тарабабу, знаете такого?

— Ну, как же! «Угасание огня», «Салотопка», «Яма», «Слепорожденный».

— Вот именно. Так вот Залепухин просит Тарабабу сыграть чистый сюрр — сыграть почтовый ящик. А?..

— Ящик?!

— Да, почтовый... Он висит на стене старого нежилого уже дома. На окраине, рядом с пустырьём. По вечерам, в конце рабочего дня, к нему подъезжает парень на мотороллере с почтовым фургончиком. Здесь у него не ахти, какая добыча —

всего несколько писем. Спешить уже некуда. Забрав письма, парень заезжает на пустырь покурить, отдохнуть. Здесь, из праздного любопытства, вскрывает он их, прочитывает и сжигает...

— Да тут ящик не причём! Тут уж если играть, то водителя мотороллера.

— Нет, именно ящик. И не просто ящик, а его драму.

— Дрему ящика?!

— Вот именно. А она в том, что по сути ящик перестал быть посредником между людьми в их печалах и радостях. По злой бездумной человеческой воле он перестал быть самим собой. Представляете? Попробуй такое сыграй. То есть надо сыграть какой-то сумасшедший, неординарный почтовый ящик. Это ведь куда трудней, чем сыграть недобросовестного почтового работника...

Людочка недоверчиво посмотрела на меня, мол, не разыгрываю ли я. Надя изящным движением коснулась пальчиком одного из колёс. Я заметил, что подушечки её пальцев, да и у Алдоны тоже, как-то странно блестят. Каким-то стеклянным блеском.

Алдона, занятая чаем, вдруг поперхнулась. Все посмотрели на неё. Она улыбалась.

— Да такое не сыграть ни Смоктуновскому, ни Борису, ни Дурову, — сказала наконец Людочка.

— Даже вместе взятым, — добавила Алдона, внимательно разглядывая кусок ватрушки с творогом в руке. — А почему бы не сыграть сам мотороллер? Он ведь железный...

— Великолепная идея, — сказал я, и стал развивать её в том смысле, что бедный мотороллер в душе сочувствует бедному ящику, но он, к сожалению, весь: от руля до бензобака во власти чёрствого циничного почтового работника...

Наконец-то девочки со смехом подхватили эту игру.

За чаем, за разговором время летело.

Было уже поздно.

Ушла Людочка. Она работала в обувном магазине. Завтра ей надо было рано быть на работе, получать товар для отдела. Уходя, она попросила у меня автограф. Это у меня-то!.. Мне ещё никто не делал такого предложения. Людочка попросила меня расписаться на конверте пластинки с песнями Льва Лещенко, купленной сегодня. Пластинка предназначалась пожилой дальней родственнице, живущей где-то под Архангельском. Было чертовски неловко и перед Людочкой, и перед известным певцом, и перед дальней родственницей (ведь наверняка подумает, что это сам Лещенко), и перед самим собой. Меня смущало: зачем это ей — Людочке. Но она настаивала. Словом, расписался. Да так коряво...

— Ничего, со временем научитесь, — утешила Алдона, взглянув на моё факсимильное пижонство. И рассказала, что у Алена Делона, занимающегося ещё и бизнесом, есть парфюмерный заводик. Он выпускает лосьон «Фредерика», а заодно и дезодорант на потребу склонным к потливости. Любопытно, что флаконы по форме напоминают ракеты СС-20. Так вот, на каждой этикетке продукции заводика очень изящная подпись Делона. Так что написанию своей фамилии у меня есть у кого учиться...

Всего этого я не знал. Я вдруг почувствовал себя полным ничтожеством: у меня не было парфюмерного заводика. Мне даже и в голову не пришло, что Алэн сначала стал Делоном, а уж потом у него появился досуг и заводик — тоже. А самое печальное — я никак не мог понять: зачем Делону заводик? Пожалуй, в этом быть может, главное и тайное различие между нами. Вот почему мне никогда не ставить своей подписи на флаконе с дезодорантом...

Уходя, Надя протянула мне руку. Было странно ощущать мягкость и тепло её пальцев с таким холодным стеклянным блеском подушечек. Странно, хотя я и

знал теперь, что они с Алдоной работают в лаборатории по восстановлению древних и ценных рукописей, книга при Публичной библиотеке, и что имеют дело с каким-то особым клеем.

Алдона уже зевала вовсю. Дальнейшее пребывание моё в её комнате становилось двусмысленным. Даже нежелательным, как я чувствовал. Для первого раза пора было уходить. Но из коридора доносилась разноголосая перебранка соседней. Она то угасала, то вспыхивала вновь. Правда, без особого азарта.

Неожиданно раздался пронзительный детский крик: «Какать хочу! Какать хочу, давайте горшок!» Тут же горшок стал музыкальной темой очередной перепалки, очень скоро, правда, угасшей. Или горшок нашёлся, или было уже поздно...

Алдона долго прислушивалась к затихающему шуму в коридоре. Наконец сказала:

— Пошли.

Мы на цыпочках поспешили к выходной двери. Где-то в середине пути Алдона спросила шёпотом:

— А цветы?.. Цветы взяли?

— Бог с ними. Им у вас лучше.

— Что значит, Бог с ними! Можно подумать, что поклонницы забрасывают вас цветами каждый день.

— Эти — первые в моей жизни, — вырвалось у меня. В таком полумраке можно было бы признаться и в более серьёзном.

— Вы такой взрослый, а всё как ребёнок... — сказала она вдруг с усмешкой. — Вас наверно обманывают на каждом шагу.

— Немного есть того... Но я как-то очень поздно это замечаю. Порою и не доходит. А когда доходит, то больше испытываю жалость к обманщикам, чем обиду... Даже не знаю почему... Может потому, что то что они выигрывают на обмане не приносит в конце концов им большого счастья...

— Вон как!.. — не сразу отозвалась она. — Ладно, стойте здесь, — она задвинула меня в какую-то душную пыльную нишу, — я сейчас...

«Вот и она... — уныло подумалось. — Возьмёт и не придёт. Вот смех-то будет...»

У неё было достаточно оснований быть мною недовольной. Я чуял это всей кожей. Но что я мог поделаться с собой?..

Неожиданно щеки моей коснулось её дыхание.

— Держите свои цветы, — в её голосе звучала насмешка, но с оттенком сочувствия и даже тепла.

Я поймал её горячую сухую руку. Прижал к губам, но она отдёргнула, как мне показалось, неприязненно.

Уже в открытых дверях, когда я был на лестничной площадке, сказала, смесь:

— Эх, вы, свадебный генерал. Хоть бы поцеловал что ли!..

Дверь, клацнув замком, закрылась.

— В другой раз, дурачок, — донеслось.

Я видел себя «со стороны». По лестнице, хоть и с цветами, спускался растерянный тюфяк-тюфяком, сгоравший от стыда не только перед самим собой, но и перед Мелом Гибсоном и Кларком Гейблом. А ведь Кларка Гейбла давно уже не было в живых. Что ж, великая его тень была свидетельницей моего позора...

Жизнь моя катилась по прежней накатанной колее. Впрочем, не совсем так. Пошли странные сбои с аппетитом, вовсе не связанные с моим теперешним финансовым положением. Стал больше курить. Особенно, когда приближался к тем старым тополям, где впервые увидел её. Вспоминался тот вечер. Странное знаком-

ство. Эта пикировка по поводу цветов... Этот путь к её дому. Нехитрая обстановка её комнаты. Самовар, тряпичный милый слон на заварном чайнике. Диван с подушечками, на которых гладью были вышиты цветы. Я ещё подумал тогда, что остались они в наследство от бабушек... Вспомнились и книжные полки на стене, фотография в рамке перед корешками книг. С фотографии смотрел бравый морской офицер. Чувствовалось, что погоны, ремень и кортик — всё это на нём с иголочки и впервые. Ещё тогда мне подумалось, что он — жених. Алдоны... Только, может, был, да уплыл... Но мне всё-таки больше хотелось думать, что это старший её брат. Что он вот-вот вернётся из дальнего плавания. Помнится, хотел спросить о нём, но так и не спросил...

Теперь, когда мы работали на улицах города, я стал внимательней присматриваться к подходившим зевакам. Но ни Алдоны, ни Нади, ни Людочки не видел. Что ж, похоже, как коллега Джессики Ланж я их разочаровал...

И снова ноги приводили меня к тем старым тополям. Ещё на подходе я начал волноваться, страшась, но ещё более желая встречи. В голове возникали слова — простые, человеческие, — которые я ей скажу. И те слова, которые, возможно, услышу в ответ. Даже не сами слова, а её выговор, голос...

Подходя к тому дереву (как же я его теперь знал, как выделял среди других!), я замедлял шаг, переводил дух и заглядывал за другую сторону морщинистого ствола. Нет, никто там не прятался...

Уже и двор её был мне основательно знаком. И лестница, и дверь. Но нажать кнопку звонка я не решался. Казалось, от волнения непременно собою, а тогда дверь откроет мне не она, а какой-нибудь бодрый сосед пенсионер, распространяющий на кухне, по причине бессрочного досуга, как последние новости радиорупора, так и квартирные сплетни. И что я ему скажу? Родственник из Лапландии? Даже и фамилии ведь не знаю...

Моя нерешительность объяснялась ещё и тем, что однажды поздним вечером я всё-таки укараулил её во дворе. Она шла под руку с мужчиной. Казалось бы, после этого я должен был успокоиться и забыть этот двор с облезлыми котами, пугавшимися людей, но почему-то не меня. Об меня они норовили ещё и потереться.

А потом, кто знает, (я не разглядел от волнения), может, шла она тогда под руку с другим начинающим дарованием. А, может, с самим Тарабобой. Словом, ну что ей до меня...

Легко же я уступил поле боя Тарабобе. Но чем больше я размышлял над очевидными достоинствами его известности, тем всё чаще о носителе их — Тарабобе. Тем чаще мне виделась сама Алдона, над достоинствами которой размышлять не хотелось, а просто гжуче хотелось её видеть. Как я теперь понимаю, во мне шёл процесс созревания поступка. Решительный поступок должен вызреть, как фрукт на ветке. Созревший фрукт рано или поздно падает.

Упал и я.

В один осенний вечер, еще по-летнему тёплый, я купил букет тёмно-красных гладиолусов, оправдывая себя тем, что хотя бы из вежливости надо отдать долг. Всё-таки женщина... Ещё одним доказательством моего падения было и то, что я не стал заворачивать цветы в бумагу, прятать их от любопытствующих глаз. И было мне как-то совершенно наплевать, что это в духе Чака Норриса.

Я решительно прошёл по двору.

Кошки на мусорных баках то ли меня не узнали, то ли были шокированы моей смелостью. Сам я и вида не подал, что мы знакомы.

Поднялся на нужный этаж. Занёс руку над звонком. После глубокого спортивного выдоха даванул и пошёл отсчитывать в обратном порядке, чтобы не сбиться: «Шесть, пять, четыре...» Твёрдые интервалы между звонками, чем дальше, тем больше вселяли в меня оголтелую храбрость. А, может, отчаяние?.. Но мне казалось, что сейчас я могу плечом вышибить эту худо утеплённую дверь, а потом

дверь каждой клетушки-комнаты отворять ударом ноги, как какой-нибудь Сталлоне или громила Шварценеггер. И так, пока не найду ту, за которой мои цветы давно ждёт ваза.

Наконец последний нажим. «Поехали», — сказал я с азартом налётчика или космонавта.

Открывать что-то не спешили. Я уже переминался с ноги на ногу, чувствуя накатывающее облегчение. Теперь я мог уйти со спокойной душой: я пришёл, я звонил... Значит судьбе не было угодно.

Дверь внезапно распахнулась. С такой резвостью, словно там мешкали, готовя засаду. Отступить было поздно.

На пороге стоял мускулистый (прямо квадратный) мужик моего роста в тренировочных штанах. На сей раз в прихожей горела лампочка. По груди мужика, по-океански безбрежной, ходили тёмные волны тельняшки, как мне показалось, не совсем экологически чистые. Он дышал тяжело, на лбу блестели капли пота. Похоже, он только что занимался швартовкой судна или погрузо-разгрузочными работами. Лицо его показалось мне знакомым. Да, это он так мужественно придерживал кортик на той фотографии...

Он сощурил глаза. Смерил меня от подошв до макушки и — тоже узнал. Во всяком случае, мне так показалось.

— Пошли, — сказал он, — по-милицейски крепко взяв меня за руку выше локтя.

— Минутку, — сказал я, пытаюсь высвободиться.

— Не надо песен, всё путём, — сказал он довольно-таки миролюбиво, но сильнее сжимая мою руку.

— Ты кто такой? — рванул я.

— Дядя Петя с пивзавода...

— Я серьёзно.

— Да ладно тебе! Ну, Горчаков я, Павел. Муж Алдоны. По её рассказам и тебя узнал.

— Муж?.. «Вот влетел, — мелькнуло в голове, — как кур в ощип...»

Мы уже шли коридором.

— Как это муж?.. — заикнулся я.

— Как... Вот так! Ты только не ори, а то сбегутся соседи и накостылят от скуки нам обоим...

С этими словами он втолкнул меня в комнату, закрыл дверь.

— Ну, будем знакомы, — протянул руку. И так зловеще ухмыльнулся, словно охота на нужного заложника наконец-то удалась.

— Будем, — ответил я и внезапно успокоился, решив на всё смотреть со стороны. Так, будто не я тут, а кто-то другой. Скажем, Берт Ланкастер.

Да, это была та комната. Только на столе, покрытом скатертью в большую синюю клетку, не было самовара. Вместо него алюминиевый чайник на ромбовидной металлической подставке. Рядом — заварной, накрытый знакомым слонем. Слон дружески улыбался.

И диван тот же. Теперь на нём лежало скомканное одеяло и большая подушка кроме тех маленьких.

— Ну, что? Не узнаёшь ландшафт? Осмотрись, осмотрись... — он не сводил с меня внимательно-подозрительных глаз. — Говоришь, надумал в гости, — подтянул ногой табуретку на тонких металлических ножках. Сел. Продолжил, тыча в меня шилом своего взгляда: — Говоришь, зарулил с дружественным визитом? В расчёте, говоришь, на тёплый приём?..

— Я ничего ещё не говорю. Предложил бы лучше сесть.

— Прошу, — он показал на диван. — Значит, говоришь, зарулил, а тут — облом! А?! — рассмеялся.

— Павлуха, поставил бы цветы в воду.

— Герай. С паршивой овцы, хоть шерсти клок...

Взял цветы, походил с ними по комнате, положил их на подоконник. Потом вышел, закрыв за собою дверь на ключ.

Стало совсем грустно. Поднимаешься утром, как говорится, на встречу дню. Ну, думаешь, может сегодня случится с тобой что-то радостное, счастливое. И на — получай по рогам, как кирпич на голову. Дёрнул же меня чёрт...

В дверях заскрежетал ключ.

— Отворяй, — послышалось.

Ну, барбос!.. Я вскочил, подошёл к двери, рванул ручку.

На пороге, с большой кастрюлей в руках стоял Павлуха и улыбался во всё своё круглое лицо. От кастрюли тянуло густым ароматом варёной картошки.

— Дверь-то как открывал, если руки были заняты? — взметнувшаяся было во мне злость, оседала медленной пылью.

— Как... Поставил кастрюлю на пол и открыл.

— Мог бы и дверь толкнуть.

— Мог бы, да подумал, разбужу, если заснул. К тому же хотелось, чтобы ты подошёл. Думал, духом аппетитным тебя порадую. А ты, я смотрю, что-то не очень-то на радость падкий... Ладно. Будет зубы заговаривать, — сказал он, ставя кастрюлю на стол. — Выкладывай, кто из вас кого нашёл: ты — её, или она — тебя?

— Ты о чём?

— Долбаком прикидываешься? Я о цветах...

— Слушай, мне этот твой дружеский тон... Какого чёрта?!

— Ишь ты, бычок в томате. Мы ещё толком и разговор не начали, а ему уже мой тон ноздрю щекотит... Ничего, стерпишь. Ещё сам заговоришь. Я тебе язык-то развяжу и без очных ставок...

— В конце концов, мин хренц! Какого хрена?!

— Не ругайся, тебе это не личит. Это мне — самый раз. Я с аристократическими замашками расстался. Давно. Как с флота списали.

— Так это твоя фотография?

— А что? Не похож?..

Как же это тебя списали? Вроде не стар ещё.

— Ге-ерай... Кто кого допрашивает? По-моему, я тебя должен... И вся-то наша жизнь есть гульба! — пропел он неожиданно громко, присев и нырнув с головой в низкий шкаф.

Он долго там возился. Звенело стекло, что-то сыпалось. Наконец он победно вскинул над головой бутылку с зелёной этикеткой.

— Из Массандровских кладовых! Неприкосновенный запас.

Я присмотрелся. Вот тебе раз! Да этот напиток продавали четверть века назад! Красноватые буквы названия прыгали по зелёному лугу этикетки как блохи: одна — вверх, другая — вниз. И назывался в народе этот напиток «Коленвал». Был он тогда по карману самым бедным слоям населения. Что-то около трёх рублей с посудой. Какие были времена!..

— Та-ак, герай. Садись напротив. Чтобы, значит, глаза в глаза и никаких виляний кормой, — с командирским напором сказал Павлуха.

Я накрыл ладонью свой стакан.

— Не буду.

— Чего-о?!

— Алдона-то, наверно, говорила...

— Не-ет. Ты брось. Знаем мы таких спикеров... Это на дармовое-то, на халяву?! Постой, а, может, ты компанией брезгуешь, а?..

— Иди ты в болото! — разозлился я. — Не пью и — всё.

Он сощурил глаза.

Ещё не чокнулись, а уже поехало: «Ты меня уважаешь?..»

Павлуха надулся. На скулах заходили желваки. Он опёрся кулаками о стол, поднялся.

— Смотрю и вижу: какой-то ты не наш человек, — услышал я злое, уж что-то очень знакомое.

— Павлуха, — говорю, у тебя нет родственников по фамилии Птушко?..

Мне вспомнилось, как наш кадровик сделал когда-то точно такое заключение, когда до него дошли слухи о некоторых моих странностях... Не снимая фуражки и галос с сапог, он выступил на ближайшем высоком закрытом совещании, которое закончилось далеко за полночь. Говоря обо мне, Птушко заметил: «Я чую на нюх, что это не наш человек. Не инструмент ли он, не пешка ли в буржуйских руках ЦРУ?.. Вот над чем надо будет подумать нам и кому-то в органах». Он заверил всех совещавшихся, что в кратчайший срок свяжется с компетентными. И что если подозрения подтвердятся, то меры будут приняты незамедлительно...

Где-то в начале я говорил, что товарищ Птушко мне больше не понадобится. Но, как видите, его персона влезла в повествование именно в этом месте. Прав был Антон Павлович в своих рассуждениях о висящих ружьях... И всё-таки высокий авторитет не оправдание в данном случае. Потому прошу извинения у читателя за то, что позволил товарищу Птушко нарушить некогда данное мною слово. Вместе с тем, благодаря этой оплошности, только сейчас, когда я сижу за столом, глядя в глаза Павлухе, мне пришла в голову мысль: а не по прихоти ли тайного синдрома милосердия товарища Птушко, я оказался за воротами любимого НИИ и уж ни в какое другое подобное устроиться не смог? Не он ли нажал когда-то кнопку «закр» у себя на пульте в нужный момент? Вполне возможно. И тогда омерзительное поигрывание пальцами (помните?) со стороны Гензавлаба было лишь жалким отвлекающим маневром... дело прошлое. Бог им всем судья...

— Так нет ли у тебя родственников по фамилии Птушко? — повторил я свой вопрос.

— Ты мне зубы не пломбируй. Давай прямо — без экивоков и околичностей: не оттуда ли к нам заброшен?.. — и Павлуха показал большим пальцем за спину, ступая след в след товарищу Птушко.

— Откуда? — вяло попросил я уточнить.

— Оттуда — из Голливуда.

— А-а, — вздохнул я с облегчением.

— Прикидываешься эдаким вьетнамским веничком, а сам, небось, всё сечёшь: как ходим, как сидим, что пьём, что едим, во что одеты, на какие башли процветаем. Чтобы потом всё это представить в дурном свете. Не так что ли?

— Брось мельтешить, Павлуха.

— Это ты брось. Ничего. С нашего «Коленвала» все разведздания в голове попере мешаются. Погодь... А ну! Убери руку, кому говорю!

— Павлуха, можешь вообразить, не принимает мой организм этого. Хоть тресни!

— Организм?.. — он уставился на меня, потом, склонив голову на бок, придурковато захолопал глазами, как это делал когда-то на наших экранах артист Крамаров. Теперь, говорят, он в Америке, и так уже глазами не хлопает. Врачи выправили ему этот прикольный дефект. — Врёшь ведь, гад?!

Странно, я давно уже не чувствовал в словах Павлухи ничего обидного.

— Чтоб меня угораздило! — отвечаю. — Кому ни говорю, никто не верит. Может, вся моя жизнь из-за того наперекосяк идёт. Чёрт с тобой, налей уж мне стакан кефира.

Павлуха смотрел на меня по-прежнему недоверчиво, с чувством гадливости.

— А ты с него забалдеешь?

— Обещаю.

— Герай! Ценю юмор, — рассмеялся он. — Только у меня в доме кефира нет. Сейчас и с этим стало туговато. Ну, да попробую у соседей разжиться.

— Давай, давай, — приободрился я. — Если выпью бутылки две, то придётся милицию вызывать. А пока она едет, так разгуляюсь, что ваш дом завтра на капитальный ремонт поставят.

— Это было бы герай! А ты орёл. Не горный, правда. Кисло-молочный...

Слушай, что ты всё: герай, герай... Это по-каковски?

— По-литовски. Хорошо — значит.

— Вон оно что.

Павлуха очень удачно слетал за кефиром.

Я на своём напитке через час был ещё ничего. Павлуха же от души горько сетовал по тому поводу, что у него в доме, точнее в доме, в котором он живёт, кроме «Коленвала» не водится «Перлина Степу» или хотя бы «Ахашени». Я пытался его успокоить тем, что и в моём доме такие вещи не водятся. Эти благородные напитки пьют, разумеется, только в очень благородных домах. Во дворах этих домов нет переполненных мусорных бачков и облезлых кошек на их крышках.

— Я б тебя им угостил-приголубил, — имелось в виду «Ахашени». — Куда до него твоему кефиру! — не унимался Павлуха, тычась сигаретой в мою, прикуривая.

Сквозь редкие светлые волосы на его голове просвечивала розоватая плешь.

Курили мы «Нищий в горах». Вообще-то сигареты эти имели более короткое название, вот только что-то не вспомнить. Сорт — не ахти, вкус, аромат — дряцеватые. И гнулись, как вареные макароны, когда мы тянулись друг к другу в надежде прикурить в знак наступившего взаимоуважения.

За картошкой с килькой, за «Коленвалом» с кефиром поведал мне Павел о том, что не так уж давно, каких-то несколько лет назад, ходил он в автономные плавания из Североморска на многоцелевой ядерной лодке...

Рассказывал сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое. Говорил о порядках на лодке и вдруг — о друзьях-товарищах. Мол, это мужики. Надёжные — не подстать нам штатским. Среди них неожиданно оказывался немецкий инженер Себастьян Бауэр, построивший в 1850 году первую лодку. Она погрузилась, а всплыть не смогла. Вытащили её аж через 37 лет. И от названия «Брандтаухер» на борту не осталось и буквочки...

Ему уже и самому не верилось, что когда-то он ходил в океан.

Теперь он разъезжает в кабине грузовика экспедитором продуктовой базы. Накладные, тара, вес брутто и вес нетто... А списали его по здоровью. Вернее, по той причине, что облучился он, хапанул солидную дозу. Так получилось. Не повезло мужику...

И тут дёрнул меня чёрт за язык вспомнить о своём НИИВИБРО.

Походило это, пожалуй, на хмельную дурацкую похвальбу. Мол, работал и я кое-где... Павлуха, как услышал, так и вцепился мне в горло своими военно-подводничскими, ещё не ослабевшими, клещами-ручищами.

Что-то валилось, грохало на пол, а мы с ним прыгали по комнате, как вырвавшиеся из рук санитаров недоязанные буйно-больные.

— Вон оно как?! Паскуды! — кричал он. — Тунеядцы! Дармоеды! Разработчики швиные! Туфту бы только гнать вам! А ведь и ежу ясно, что экран первичного контура в форсированных режимах не надёжен! Сволочи!.. И ты, значит!..

Я едва вырвался из его лап.

До потери голоса бился, объясняя ему, что сидел я на электробритвах. А в литературные отделы вход был мне закрыт. Что до меня, пентюха, не сразу дошло, что такие существуют-то...

И когда, наконец, что-то разумное забрезжило в его голове, он вдруг затих, уставился на меня красными налитыми глазами.

У нас кончились сигареты. Павлуха был уверен, что ещё одна пачка у него есть. В сумке. Нашли сумку. Вывернули её над диваном. Сигарет не оказалось. Из сумки выпала аккуратно запелёнутая, маленькая куколка. Я взял её в руки, но Павлуха вырвал.

— Не лапай Сигиту! Он положил куколку на ладонь. Вгляделся, погладил пальцем её лицо.

— Дочку я хочу иметь, дочку... Тебе этого не понять. Мы бы её Сигитой назвали. И Алдона хочет, да вот... Я уж ей говорю: спи ты с кем хочешь. Отпущу тебе этот грех, только Сигиту роди мне. Ладно, — смеётся, — пойду на панель. Только потом попрекать будешь. А я ей: не буду. Скорее сдохну, чем пикну. Роди мне только Сигиту или Танюшку. Я, по первости, всё Танюшку хотел. А как съездил с Алдоной к ней на родину, как познакомился с роднёй её, так... Да какая разница! Дочурку бы... Чтобы я её пеленал, с ложечки кормил, подгузники и штаники менял... А она, Алдона, видишь, тоже с норовом. Не могу, Павел, — говорит, — переступить. Вот тут что-то стоит в груди. Если бы не любила, — говорит, — проще было бы... Знаешь, я её даже лупил. Она всё: возьмём из дома мальютки, из детдома. А я ей: от тебя хочу, от тебя!.. Понял, киношная душа?! Понял?! — толкал он меня в грудь кулаком.

Он вдруг обмяк. Голова его упала. Из глаз закапало. Отворачиваясь, он тёр скулы кулаком.

На душе стало тяжко. Выкатилась и у меня из глаза. Покатилась по щеке. Жгуче и солоно...

Утром я проснулся под столом. Весь какой-то побитый, измятый. Подо мной лежало старое женское зимнее пальто. Укрыт я был бушлатом с якорями на латунных пуговицах. От бушлата пахло бензином.

Рядом, с голой раскладушки, доносился храп Павлухи. Кулаки его лежали на груди. От дыхания они колыхались на волнах тельняшки, как ялики у причала. Лицо его было безмятежным.

Я стал выкарабкиваться из-под стола. Во рту была такая горечь, что хотелось скорее хлебнуть хотя бы из лужи. «Эх, опять сорвался... — подумал. — Не обошлось, видно, и без ерша. Ладно, чего теперь... Подумаешь, мешанул кефир с ряженкой...»

На диване лежала Алдона. Она не спала. Её глаза смотрели на меня холодно и сухо.

— Доброе утро, Алдона, — сказал я, виновато улыбаясь и пряча руки за спину, как провинившийся первоклашка.

— Лабас ритас¹, Берт Ланкастер, — сказала она, и губы её чуть дрогнули в улыбке. — У вас такое лицо сейчас... Я вспомнила как увидела вас впервые на съёмочной площадке. Вы заигрались с каким-то маленьким мальчиком. Да так, что не слышали, как вас зовут. И тут на вас налетел этот ваш режиссёр... Уж как он вас честил!

— А-а!.. Это наверно Димка был. Сын Шапкиной, костюмерши нашей... Она его всё время с собой таскает, не с кем оставить дома...

— Так вот тогда у вас было точно такое выражение лица... — она помолчала. — Ладно. Отвернитесь. Встану, согрею вам чаю.

Я поднапрягся и бодро кивнул:

— Герай.

¹ Лабас ритас — (литовск.) доброе утро.

Евгений ФЕОКТИСТОВ¹

/ 1937–1997 /



В 1994 году вышла единственная книга Евгения Ивановича Феоктистова (1937–1997) «Внезапное лицо» (СПб, Борей-Art»). Стихи его публиковались в самиздате, в антологии «У Голубой Лагуны», а посмертно — в журналах «Звезда» (1998, №8) и «Волга» (2013, №3–4). Архив, предоставленный писателем Владимиром Алексеевым в распоряжение Олега Дмитриева (издательство «Юолукка»), включает в себя большое количество акростихов, попытки поэтической азбуки, пьеса. В настоящее время книга Е.Феоктистова подготавливается к изданию.

* * *

Пересекаю площадь плоскую,
Как чья-то шутка невпопад,
И души лунные расплёскиваю,
Не рассчитав, куда ступить.

На пешеходов глянув искоса,
Я обхожу их стороной,
Тем самым избегая искуса
Знакомства с ними и со мной.

О, площадь! Времена меняются,
И ты, наверное, не та,
Какой была, когда меня ещё
Сюда судьба не занесла.

Произношу слова оплошные,
Рискуя угодить под суд
За рассуждения о площади,
Где в праздник публику пасут.

Хоругви заменив портретными
Изображеньями своих
Не расстающихся с портфелями
Вновь переизбранных святых,

¹ Публикация Олега Дмитриева и Бориса Лихтенфельда.

Шагают граждане ретивые,
Орут, рискуя озвереть,
Одновременно репетируя
Очередную свою речь.

А возбуждённые гражданочки
Плакаты пылкие несут.
Мгновенно лозунги рождаются,
Заученные наизусть.

На возвышенья, именуемом
Трибуной (то же, что амвон),
Глаголют речи, неминуемо
Переходящие на вой.

Наиглавнейший свою лысину
Куда ни следует суёт,
Решив, что лысина за истину
В глазах внимающих сойдёт.

О, площадь, как тебя опошили,
И как неимоверно врут,
Когда большое твоё прошлое
Мусолят ежегодно тут.

Я знаю, ты — кривое зеркало
Прошедших вдоль тебя времён,
Которое уже померкло
И будет отдано в ремонт.

Исправят ли тебя, не ведаю,
И разговоров не веду
О том, что зеркало, наверное,
Неисправимо на беду.

Иду, лавирую сквозь лужи,
И пешеходов сторонюсь.
Их разговор тихонько слушаю
И перематываю ус.

А после до утра до самого
Тот разговор, сквозь немоту,
Я оживляю и досадную,
Когда припомнить не могу.

А вы, стихи, — всего лишь копия
Тех самых уличных бесед,
Где спорят и ломают копыя,
Похожему не глядя вслед.

29 октября — 1 ноября 1962 г.

ВИШНЁВАЯ НОЧЬ

Я знаю: бред — всё то, что вижу,
Сквозь сад шагая наугад.
Здесь каждый куст цветущих вишен —
Врага сдающего флаг.

Я слышу речь вишнёвых веток,
Что и сегодня, как вчера,
Куда-то запропавший ветер
От них отрётся до утра.

Скворцы — как чёрные монахи.
Они до чёртиков ловки.
И крылья истово махали,
Как рясы или клобуки.

У вишен логика простая:
Чтоб своевременно, как раз,
Бежать, оружие бросая,
Чтоб в чьи-то лапы не попасть.

И только те, что благородней,
Преодолев звериный страх,
Тоскливо богу плодородья
Молились, головы задрав:

«О, пощади ты нас, всевышний,
И понапрасну не ворчи!
Ну что же делать, раз все вишни
Склевали сволочи-скворцы?!»

1962 г.

* * *

Я приду на свидание с ветром,
С листьями, с шорохами ночными.
Я рукой проведу по веткам
И начну разговаривать с ними.

И осенней назло печали,
Я деревьям стану перечить,
И деревья пожмут плечами
На мои нелепые речи.

1965 г. Осень

* * *

Наяву или во сне —
Где б ты ни бродила,
Тень твоя всегда ко мне
В гости заходила.

1966 г.

* * *

Мы посажены в дом,
Как рыбёшки в аквариум,
Освещённые днём
Электрическим заревом.

Лампа прячет свой глаз
В конуру абажура.
Бродит пёс мимо нас
Одиноко и хмуро.

Лезет солнце в окно
Вроде огненной кошки.
Но ему всё равно
Не отведать рыбёшки.

Отвернуться — и прочь:
Вот и всё, что осталось.
Кошка пряталась в ночь,
За дома опускалась.

Мы сидели вдвоём,
Мы смотрели устало.
Сторожившая дом
Даже лампа дремала.

Ни звонок и ни стук
Не тревожили счастья.
Лишь будильник разлук
Тикал громко и часто.

1966 г. весна? 1967 г.?

* * *

Гражданка неба, жительница гнёзд,
Крылами надо мной взмахнула
И хрупкие крупинки звёзд
С небес, как со стола, смахнула.

(1967 г.?)

* * *

Когда мелькают вёсла над волнами,
То лодка схожа с птицей временами,
Куда летит, не ведая сама.
Её тревожит волн прикосновенье:
Она то в бездну рухнет на мгновенье,
То вверх вспорхнёт, сводя гребцов с ума.

Зачем же мы торопимся упрямо
Плыть сквозь волнение в будущее прямо,
Не подождав успокоенья вод?
Как будто гонят в путь нас чьи-то руки,
Как будто нам не вынести разлуки
С тем будущим, которое нас ждёт.

11 сентября 1970 г.

* * *

Тронув зелёные озими,
Солнце зашло за леса
И золотыми колосьями
Не ослепляет глаза.

Заперли звуки и запахи,
Чтобы скорее заснуть.
Только на западе, в зареве,
Всё ещё дышат чуть-чуть.

Это ауканье с летними
Песнями солнечных птах
И светляками последними,
Ночью, в тумане, в кустах.

Ночь, принимай в своё логово
Бога, что встал во весь рост,
Чтоб с небосвода отлогого
Сыпаться искрами звёзд.

Где ты, звезда моя сонная?
Призрачен млечный пунктир.
Тьма — словно бездна бездонная,
Весь проглотившая мир.

Бездна зияет обрывами.
В страхе свалиться туда,
Снова огнями тоскливыми
Смотрят во тьму города.

1968 г. Осень — 1970 г. Июль

* * *

Всё, что забвеньем не смыто,
Что вызывает в нас грусть,
Осени синее сито
Сеет сквозь дождь наизусть.

Время, подставь свои руки,
Можешь плескаться и пить.
Сквозь облетевшие звуки
Тянет паук свою нить.

В частых сетях паутины
Бьётся вечерняя тьма.
Неосвещённые спины
К ней повернули дома.

Наши надежды не здесь ли,
У недоверья в плену?
Что нам откроется, если
Перетряхнём тишину?

Из опустевшего сада
Лучше вернуться домой.
Дверцей калитки ограда
Хрипло беседует с тьмой.

А от крылечка, из мрака,
На подозрительных нас
Пристально смотрит собака
Бликами бдительных глаз.

Наша печальная дача
Плачет о прошлых годах.
Видишь, хрусталики плача
В тёмных мерцают глазах?

Ночью нам прошлое снится,
А на рассвете, во сне
Снова осенняя птица
Грустно кричит в вышине.

1969 г. Осень — 1970 г.

* * *

Фонарь, светящийся в ночи
В саду, где он один,
Роняет конусом лучи,
Как бы вбивая клин

В ночную траурную тьму
В декабрьский снегопад.
Деревья тянутся к нему
И рядом с ним стоят.

Снежинки тоже вьются там,
Где льёт фонарь свой свет,
Как будто им спускаться к нам
Другого места нет.

И снежным блеском декабря
Пронизан каждый луч,
Как будто снег из фонаря
Летит, а не из туч.

Не снегопад, а светопад,
Как будто искр толпа,
Сверкая, сыплется на сад
С фонарного столба.

Мельканье световых частиц,
Прозрачный хоровод.
Из-под заснеженных ресниц
Смотрю, как снег идёт.

Моя душа теперь светла,
Так не было давно,
И я совсем не помню зла,
Я помню лишь одно:

Твоей души далёкий свет,
Моя сестра — любовь,
Когда смотрю снежинкам вслед
И вспоминаю вновь

Улыбку светлую твою
И нежных рук тепло,
Когда, не помня зла, встаю
В тот конус, где светло.

Мне по душе твой снежный свет,
Фонарь — зари пророк.
На мне твой праздничный берет,
Твой праздничный венок.

Но жаль, не вечно мне стоять
С тобою заодно.
Домой вернуться мне опять
Придётся всё равно.

И мы растаем в темноте,
Мой сад, с тобой вдвоём,
Сказав «спасибо» суете
Под светлым фонарём.

1969 г. Декабрь. — 1970 г.

* * *

Остановилась громкая телега,
И лошадь мнёт губами клочья сена,
И облака, уставшие от бега,
Висят над нами, белые, как пена.

Сквозь них мелькает крестик самолёта.
За ним вдогонку тянется неспешно
Отставших звуков горестная нота,
Его настичь пытаюсь безуспешно.

А человек шатается безбожно:
Его качает пьяная дорога.
Он смотрит в небо, грустно и тревожно:
Там пусто — ни архангела, ни бога.

Лишь самолётик в роли перекрёстка
Трёх измерений, мчащихся сквозь вечность, —
Штрих кем-то наспех стёртого наброска,
Ребячьих рук летучая беспечность.

1969 г. Июль

* * *

Ветер взмахом сабли
Обезглавил сад.
Зяблики озябли,
Зяблики молчат.

Гуси пролетают
Прочь, наискосок,
И свой крик роняют
Наземь, как упрёк.

1973 г.?

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИСЬМА В НИКУДА

1

Дорогой брат!

С тех пор, как ты умер, прошло больше года. Год и четыре месяца. Завтра «мой» день рождения — 62. Буду встречать его на работе (сутки), в офисе. Там стены салатового цвета. «Вечный сторож Аксельрод» всё ещё актуален.

Надежда в больнице. Ей поменяли сустав. Будет месяца три передвигаться на костылях, как и ты в последние годы.

Летом были в Праге, свадебное путешествие (которое планировали тридцать лет назад, так и не состоявшееся), наконец-то осуществилось.

В первый же вечер «я» попросил Зденку сводить «меня» в твою любимую пивную «У жида». На полу лежала большая белая собака, какая-то не очень молодая компания бурно (пятница!) веселилась, а я озиралось по сторонам в поисках тебя.

Вообще все эти дни в Праге я искало тебя. И единственное место, где ещё что-то было, это твоё окно, выходящее во дворик-садик дома на Страшнице. Мы часто сидели там за столом. В первый же раз Зденка и Лиза сказали, что «я» сел точно на твоё место. А в последний вечер перед нашим отъездом сын Кати уже в сумерках стал зажигать свечи и расставлять их по всему дворику. А потом он встал перед твоим окном со свечой (в квартире ремонт, там ничего нет), и «я» затрепетало, глядя на дрожащий в стекле огонёк.

Ещё были на еврейском кладбище, где похоронен Кафка («бедный Франтишек!»). Прямо напротив здание радиостанции «Свобода», где была передача о тебе после твоей смерти. Митя Волчек беседовал с Томашом Гланцем. Я взяло камушек с могилы и отнесло его на твою. Ольшанское кладбище, оказывается, рядом. На светлом мраморном надгробье высечена подпись «А. Nik».

Зденка говорила, что была с внучкой Сарой на кладбище в твой день рождения, и та, уходя от прибранной могилы, сказала: «Ну ты там хоть поешь хорошо сегодня!»

Не знаю, как у вас там обстоит с меню, а меню «нашего», материального мира претерпевает глобальные изменения: Вселенная вечная и бесконечная превратилась в смертную особь. Загадочная эякуляция (большой взрыв оплодотворенной сингулярной точки-яйцеклетки) Творца должна смениться через триллионы лет (по новому сценарию) полной импотенцией. Непостижимая тёмная энергия разметёт всё без остатка. А непостижимая тёмная материя, наоборот, всё поддерживает — одной гравитации чёрных дыр в галактиках (их двести миллиардов, что ли?) для этого бы не хватило. Так что, братишка, мир остаётся в той же мифологической неопределённости, что и раньше. Может, у вас там хоть что-то определилось?!

Конечно, грандиозная феерия Универсума впечатляет. Галактики образуют скопления, а эти скопления Галактик выстраиваются в нити, из этих нитей образуется нечто вроде паутины (или грибницы-гробницы?)...

Грандиозный гексаметр Бога. Большой стиль.

Ты «мне» почти не снишься. Кирилл Козырев сказал, что это хорошо. Значит, вам (Лене, Борису, тебе) там не так плохо. Есть чем заняться.

К сожалению, мы здесь живём в дефективном линейном времени, на этой единственной узкоколейке имени Павла Корчагина не развернёшься. Только вперёд-назад. Нехитрые конвульсии полового акта. А всё уже есть сейчас. Как алфавит, как цифры, как Библия.

Всё уже есть. Это нас нет. Нет этого выдуманного нами мира. Всё не так. Всё не тик-так. Ты это ощущал своей шкурой в силу сновидческого дара. Тебе это было дано. «Я» к этому шёл всю жизнь, правда, у меня с детства была близорукость. В очках и без мир выглядел по-разному. «Снял очки. Мир так занятен».

В первый день нашего приезда мы со Зденкой засиделись. Надежда не выдержала и пошла спать. Зденка предложила пить во дворе, в беседке. Уже стемнело. Она пошла первой, гремя стаканами и бутылками на подносе. Спустила пять минут «я» пошло за ней. На лестнице не было света, а «я» не знало, где зажечь его. Стал передвигаться наощупь, потихоньку спускаясь вниз. На каком-то марше свалился и едва не вывихнул палец, ушиб локоть. Тот и другой в Питере ещё долго болели. «Я» долго ещё блуждало с вытянутыми руками в крошечной тьме твоего бывшего дома. По-моему, пьяное «я» дошло до подвала, но никак не могло найти выхода в садик. Потом оно мучительно, сантиметр за сантиметром полезло вверх и (о чудо!) добралось на ощупь до квартиры, дверь, слава Богу, не захлопнулась. «Я» добралось до кровати и упало без чувств.

А несчастная Зденка терпеливо ждала «меня» в садике, сидя в беседке. На кухне горел свет, и она думала, что моё «я» вот-вот появится. Затем уснула там до пяти утра, благо было тепло.

«Я» думает, ты был бы рад такой пьяной неразберихе. Она же сопровождала и последний день нашего гостевания. Но об этом в следующий раз.

Салат зовёт.

2

Дорогой брат!

Сижу в салате, как слизняк на именинах. Семь утра. Скоро начнутся звонки. Их надо будет разнести по четырём журналам и ведомостям.

Взял с «собой» фляжку коньяка 0,25, но пить не захотелось. Лежит в сумке нераскупоренная. А помнишь, как раньше в Ленинграде я в этот день покупало две бутылки армянского (4 р. 12 к.), шоколад и виноград. Приходили Кудряков, Витька к тебе на Ропшинскую, и мы праздновали «мой» день рождения. Потом бежали куда-то. И всё заканчивалось портвейном по рубль ноль две на скамейке. А стипендия в том тысячелетии была 28 рублей.

Теперь ты и Кудряков уже умерли, а Витька, потерявший оперативную память, сидит запертый в квартире на Ржевке. Из нашей маленькой компании осталось одно я. Вот оно сидит сейчас в офисе на улице Яблочкова неподалёку от твоего бывшего дома, а Элик Богданов жил ещё ближе, и заполняет буквами пожелтевшие страницы тетради для записи шариковой ручкой. Кабинеты в офисе заперты. Окна зашторены, и я может увидеть, что происходит на улице, только глядя в маленький телевизор. Иногда, включая его, разглядывая проходящих людей и проезжающие мимо машины, начинает казаться, что «я» — инопланетянин, «моя» тарелка сломалась, и «мне» не остаётся ничего другого, как смотреть на этот совершенно чуждый мир. Они идут мимо в бело-голубых шарфах, на которых написано «Зенит».

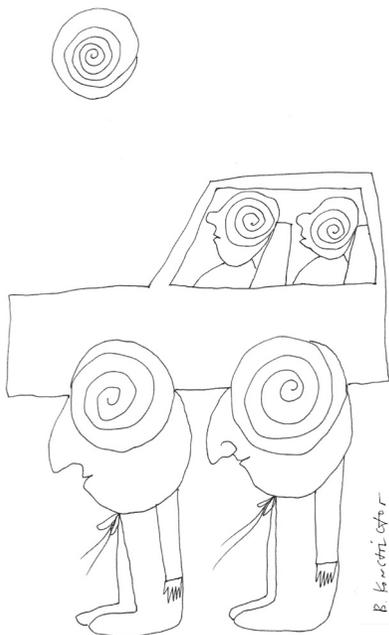
Недели две назад я проходило около бывшей Академкниги (вернее, того отдела, где продавались Литературные памятники и т.д., старая Книга ещё осталась), направляясь в Борей на поминки по Аркадию Драгомощенко, и было потрясено его современной витриной. Там стояли манекены в зенитовской экипировке, а за ними простирался слоган «Пришло наше время».

А помнишь, как мы сидели часами в этом отделе и заполняли открытки-заявки на будущие книги издательства «Наука».

Пока писал это, на работу успели позвонить: Арапов, Никулушкин, Глушко, Виговский. Вообще отзвониться должны около тридцати человек. Я их почти никого не знает в лицо. Иногда оно запоминает голос.

На улице уже рассвело. В телевизоре ни души. Только три легковые машины и автобус.

Припёрся раньше обычного сменщик по фамилии Коньяков, и «мне» пришлось прерваться. Сейчас уже дома пишу лёжа на диване. Кто-то поздравляет с днём рождения. Когда-то «меня» это раздражало, а теперь смешит, брат.



Какое «я» имеет отношение к новогоднему коитусу 1950 года? Интереснее представлять «себе» эти грандиозные процессы макро и микромиров, неотвратно затягивающие организмы в воронку соития. Галактики и яйцеклетки, астероиды и сперматозоиды, всё из одного корня, из одной точки.

Тебя ткут. Поэтому концентрация на «собственном» я как на сверхценности непродуктивна. Куда интереснее созерцать ниточки «себя».

Вот ты, брат, во сне был и мужчиной, и женщиной, тебя убивали, ты становился абстрактным, чем угодно и кем угодно. Ты был ристалищем, полем битвы неизвестного с неизвестным. Или это был балет, который я предпочитаю называть ментальным.

Какой-нибудь Бежар когда-нибудь поставит «наши» ментальные балеты.

Ха-ха-ха!

Коньяков с работы от коньяка отказался. Коньяк ещё не откупорен. Пороз на мою седую голову.

Серое небо. Дождь. Прохладно.

Фляжка вызывающе стоит на кухонном столе. Она полна.

А я не хочет.

Я не хочет я.

Я не хочет ничего.

Я хочет ничего.

Поэтому оно, наконец, открыло коньяк.

30.09.2012

3

Дорогой брат!

Ещё немного о Коньякове. Позавчера он, отработав месяца два, которые безвылазно просидел в салате, уволился. Я меняло его только на сутки, с субботы на воскресенье. Выходные он проводил у знакомых женщин, а если последние отказывались, то ночевал вместо меня в офисе. А я вместо суток сидело на работе от силы два часа, чтобы доложить начальству «моим» голосом, что всё в порядке, объекты отзвонились.

Когда я поинтересовалась у Коньякова, откуда французская фамилия, он сказал, что у них полдеревни таких (где-то под Ульяновском, на Волге). Может, это причуда была барина, называть крепостных Коньяковыми, в честь любимого напитка.

Позавчера Евгений поведал «мне», что едет к старинному приятелю, которого он не видел со школы, в Сосновый бор. И чтобы не таскаться с тяжёлой сумкой, оставит её в шкафу на работе, а завтра-послезавтра заберёт.

Рано утром позвонил мне: еду. Когда увидел его лицо на экранчике телевизора, едва не ослеп. Оно излучало райское блаженство.

— А я, Борис Михайлович, негритянку трахнул, — сказал он, едва войдя в офис. Из сумбурного рассказа я уразумело, что Евгений прокутил почти все заработанные деньги, и прикатил из Соснового бора на такси (а это два часа на электричке). Зачем проститутка с острова Свободы околачивается около атомного реактора, а не у Медного всадника или Астории, осталось неизвестным. Счастливый растратчик рухнул на диван в коридорчике и богатырский захрапел. В этих руладах «мне» даже послышался мотив советской песни «Куба любовь моя».

Но тут явилась мать-одиночка из бухгалтерии, которая должна была держать вахту дальше. Я указало ей на отрубившегося Коньякова и предложило разбудить и убрать его из салата, как бы чего не вышло.

— Я сама, — решительно возразила бухгалтерша, и выставила «меня» за дверь.

Едва пришёл домой, как разразился скандал. «Мне» позвонило начальство и негодующим голосом спросило: зачем «я» оставил на работе пьяного Коньякова, который стал домогаться благосклонности матери-одиночки.

Потом позвонила сама пострадавшая: начальство требует от нее объяснительную записку.

Что оно сделает со «мною», пока неизвестно.

Конечно, прав был Монтень, когда писал, что всё в этом мире направлено к спариванию. Против Природы не попрёшь.

Но ведь если не попрёшь против Природы, то о ней ничего никогда не узнаешь. Не согрешишь — не покаешься. Экологический постулат.

Поэтому надо пить и не пить, есть и не есть, любить и не любить. Отдаётся инстинкту, когда ты от него на какой-то момент отстранился, куда интереснее. Это, как вернуться домой после долгого отсутствия. Пост — умное занятие.

Не знаю, брат, насколько тебя занимают сейчас эти «мои» перипетии земной жизни. Для «меня» они существенны ровно в той степени, насколько я отстраняется от них и «самого себя». Ты не участвуешь, ты созерцаешь этот калейдоскоп ситуаций. Один орнамент следует за другим, крутится колесо Вселенной, крутится Коньяков, негритянка, мать-одиночка, «я». Главное — остановиться, затормозить. Не агрессия, а торможение.

«Я» — тормоз.

Сейчас вдруг калейдоскоп выдал картинку Старонового еврейского кладбища в центре Праги. Там надгробия набегают друг на друга как волны. Я почему-то вспоминаю там Пергамский алтарь, который видел в Берлине на Острове музеев. То и другое — два сильных впечатления. Незабываемых.

7.10.2012

4

Дорогой брат!

Опять сижу в салате. Воскресенье. 9 час. 40 мин. Отзвонились: Виговский, Солодухин, Куликов, Арапов, Бобровский, Горяшин.

Ничего не говорящие фамилии. А ведь горы в океане, которые по высоте превышают земные, образовались из живых организмов. Миллионы лет отложений.

Что из нас получится? Мы ещё так недолго отлагались-разлагались.

Горушка ессе homo.

Посмотрел в телевизор: на улице тихо. Дама в красной куртке с собачкой черно-белой.

Сразу вспомнил буддиста Чехова.

Из крупных писателей получаются атоллы. Филологи прилипают к ним как моллюски. Диссертации, книги, конференции на крови чьего-то безумия. Так Кафка стал градообразующим предприятием Праги.

9 час. 55 мин. Позвонил Расулов.

Вот ведь, брат, какая неприятность. Взял ручку гелевую не ту. Эта слишком жирно пишет, буквы проступают на обратной стороне листа. Теперь пишу шариковой. Все мы теперь шариковы.

Очень важно, чем пишешь и в чём. А то электричество (мысль) стала писать электричеством (компьютер). Я же всегда любило наскальные росписи. Дискретное компьютерное письмо не для «меня». «Я» график, и линию не предам никогда. Руки пишущих на компьютере похожи на голубей, непрерывно клюющих что-то. У печатающих на машинке они хотя бы взлетали для того, чтобы перевести каретку. А тут сплошная приземлённость.

Лучше всего взлетать на линии, когда рисуешь. Это напоминает пируэт на льду. Коньком пера взрезаешь белое безмолвие бумаги. Закручиваешь космическую спираль и получаешь нечто. Левоспиральные и правоспиральные рисунки выходят по-разному. Здесь что-то онтологическое. Рисую-то не «я», что-то рисует «мной». Оно оттуда идёт. «Закручено давно». То, что крутится в нас, крутится во всём. Можно почувствовать «себя» всем. Но если ты всё — тебя нет. И это «нет» освобождает.

Парадокс в том, что полноту существования острее всего ощущаешь тогда, когда тебя нет.

Надо запустить в «себе» процесс, который начался задолго до тебя и кончится гораздо позже тебя. Отдаться потоку.

Я плавает неважно, но обожает делать это на спине, тихо-тихо перебирая руками и глядя на небо. Скольжение между двух зеркал (неба и воды) упоительно. Плоть становится плотом. И нет никакого потом. Есть бесконечность настоящего. Вот так бы переплыть Лету.

14.10.2012

5

Дорогой брат!

Так напился, что не знаю, что и сказать. «Я» тебя помню, и никогда не забуду. «Мне» бы хотелось, чтобы другие в этом были подобны «мне». Но это смешно. Больше нет сил писать. Я устало.

17.10.2012

6

Дорогой брат!

А чего «я» напился? Во-первых, «мне» стало стыдно, когда «я» сообразил, что ты-то Речку уже переплыл, а «я» ещё только тренируюсь на бумаге.

Во-вторых, у моей жены есть родственница. Она четыре раза ещё в том веке поступала на наш истфак. Наконец, поступила, и закончив его, уехала по распределению в Ленобласть, где родила дочь, наполовину кореянку. А потом вместе с ней укатила на Украину к родителям, где преподавала историю в элитарном лицее. После распада Союза этот её предмет настолько оказался в пользу титульной нации, что родственница Надежды не выдержала и переметнулась в Париж, став гувернанткой. Там она теперь живёт с выходцем из Марокко (евреем), а дочь заканчивает Сорбонну. И вот эта дама, по-

лучив наконец вид на жительство, смогла покинуть пределы Франции. Она привезла нам грецких орехов, навестив своих родителей в Малороссии. А мы на перегородках этих орехов настояли водку.

Но эта длинная преамбула ещё не объясняет, почему «я» напился.

Вдруг звонит «мне» из Лос Анжелеса Андрей Тат (ты должен знать его по «Запискам неохотника». Там отрывки из его и твоих писем рядом, в одном разделе). И говорит, что выпил, и поэтому решил «мне» позвонить. А то трезвому трезвонить стыдно. Я это хорошо понимает, когда оно бросило пить, то тоже как рукой отрезало это телефонное камлание. А потом, когда начал позволять себе снова, то с ужасом наблюдал, как пятипалая клешня сама тянется к записной книжке.

Аллё!

Надо сказать, что близких людей, которым можно позвонить просто так, не осталось. А часто спрашивать у потусторонних знакомых, как дела, неприлично.

Тат — оригинал, каких мало. Сейчас он серьёзно болен, а до этого много успел натворить в прямом и переносном смысле. Одних суицидов штук тринадцать. Теперь успокоился, понял, что против Универсума не попрёшь, и надо считаться со своим жребием.

У него две кнопки для вызова экстренной помощи (одна в туалете, другая ещё где-то). Он иногда падает. Диабет. Но сейчас снова начал рисовать на компьютере, когда сахар понизился.

И вот он сказал, что в моём возрасте пить перегородочную настойку не следует. Мол, она ведёт к гиперактивной потенции.

Спустя несколько дней после этого разговора «я» со скрипачом Борисом Кипнисом (Надежда выпила не более двух рюмок) распили поллитра перегородочной. То ли слишком стар стал, то ли орехи теперь не те, но никакого эффекта противостояния, как на обложке «моей» книжки «Воспитание чувств», не наблюдалось.

Напилась я, в-третьих, когда пришло к Фридриху Карловичу Скаковскому, и он угостил элитным виски. А по дороге домой (попала вожжа под хвост) купил фляжку Киновского. И когда прочёл фразу: «Вот так бы переплыть Лету», стало перед тобой стыдно.

Но что делать, если ты для «меня» всё ещё живой, и где-то здесь рядом, как Лена Шварц, как Кудряков.

Ау!

Где же вы теперь, друзья-однополчане?

Пока.

P.S. Да, ещё: если на твоём надгробье выбит даже автограф, то на могиле Кудрякова, умершего за неделю до твоего дня рождения в 2005 году, до сих пор нет ничего. Только имя матери, к которой его подхоронили. Гений конспирации и здесь превзошёл всех.

Его братишка, получивший в наследство квартиру и продавший его картины, фотографии и даже негативы, не удосужился за прошедшие семь лет как-то обозначить присутствие Бориса Александровича на Волковском кладбище. Сначала «я» негодовало, а теперь думаю, а может быть так и лучше... Вот и Драгомощенко просил развеять прах.

Может быть, в нашей нераскаившейся постгулажной стране мы ещё и не заслужили права на свои могилы.

Ленин с нами!

Это почти как чёрт с вами! Не говоря уже о рыжем вампире всех времён и народов. Малиновый атолл истории, как малиновый пиджак нового русского, или Кремль, чтобы кровь была не так заметна. В общем, «лихая жуть», как сказал великий подпольщик.

24.10.2012

7

Дорогой брат!

Кстати, ещё о Кудрякове. Когда в «Борее» выходила его «жуть», он был фраппирован тем, что для серийной обложки понадобится его фотография, он хотел, чтобы вместо физиономии был помещён снимок с каким-то размытым пятном лица. Так, по его словам, поступил Кастанеда.

«Я» тоже не понимаю этой страсти авторов к своей морде, поэтому на обратной стороне обложки предпочитаю помещать попури из цитат.

Диссидент не тот, кто против чего-то, а тот, кто против всего. Настоящее творчество — это перпендикуляр по отношению к сегодняшнему. Его как бы нет.

Это (и вера) единственная возможность избежать проклятья корчагинской узкоколейки.

Чай я заварило. Сейчас оно будет пить его с Надеждой. Смотрю на буквы, выпрыгивающие из-под руки на бумагу. Они ведь тоже вроде чаинки. Какая будет заварка, вот в чём вопрос. «Галактик шипит кипятки».

Вот я задумало революцию местоимений. Ментальное восстание в пределах одного головного мозга. Никакой крови. Полная тишина. Тираж двести экземпляров. «Я» не я и лошадь тела не моя.

Эго-го.

Сейчас к Надежде придут студенты. Первый курс. Пока она на костылях, семинары по театральной критике проходят на дому.

Помнишь, как мы их называли в том тысячелетии? МГП. Аббревиатура, аналогичная ПМГ. Последнее означает, если не забыл, патрульная милицеская группа, они разъезжали на жёлтых газиках с синей полосой, мешали пить на скамеечке.

Хихикают в коридоре. Гормон щекочет — подросток хохочет.

«Я» же, полулёжа на диване в своей келье, заваленной книгами, строчу тебе письма на тот свет.

Зденка отдала «мне» твои радиочасы. И «я» теперь смотрю на красненькие цифирки-моменто-мори, которые выскакивают на экранчике. Вот так и у нас в башке, на экранчике «себя» выскакивает что-то, что мы заворачиваем в слова.

Порядок — это упакованный хаос?

А помнишь, я писал о горах, образующихся в океане из органических веществ-сущств.

Может быть, в ноосфере тоже что-то подобное образуется из наших обёрток. Такие кочующие горы бессмысленных смыслов. Горы-облака. Я всё это давным-давно нарисовало, но только сейчас оно начинает понимать что.

Предки бежали из египетского плена, а «я» бегу из я. Пусть там ничего нет, даже пустыни. Но это ничего лучше нашего чего.

Свобода, брат, свобода, брат, свобода.

29.10.2012

8

Дорогой брат!

Сейчас утром получили от Зденки фотографию, где внучка Сара украшает опавшими листьями твою заснеженную могилу.

С твоей могилой связана ещё одна странная история, которая произошла много лет тому назад, когда «я» ещё работал в кочегарке во дворе бывшего кинотеатра «Молния» на Большом проспекте Петроградской стороны. Однажды лежал «я» там на кушетке, отупевший от чтения (всегда брал на работу несколько книг) и слушал советское радио. Вдруг стали передавать «Виноградную косточку» Окуджавы в его исполнении. Со «мною» случилось что-то невероятное, слёзы хлынули рекой. «Я» зарыдало, как Ниобея. Хотя сколько раз слушало я эту косточку без каких бы то ни было соплей.

И вот спустя тридцать с лишним лет (Дюма, Дюма!) я получает видео, где запечатлено захоронение урны с твоим прахом на Ольшанском кладбище. И Зденка просит твоего украинского приятеля, пришедшего с гитарой, что-нибудь спеть. И он поёт «Косточку».

На этот раз никаких слёз не было. Было изумление: как тогда, лёжа в кочегарке, «я» услышал, по ком звонит колокол в этой песенке? Я ведь не думало о тебе или других. Оно просто зашло в пароксизме какого-то трансцендентального горя.

Может быть, чтецы, в силу их растворения в континууме, сами того не замечая, покидают узкоколейку циферблата и оказываются в реке времён, а там разные омуты попадают.

Сейчас вдруг подумал, что, наверное, со стороны «мои» эти послания к тебе могут выглядеть бездушными, не совсем человеческими. Но как ни относиться к «моим» манипуляциям с местоимениями, они идут. Они идут уже не первый год, а если приглядеться, то они идут, начиная с «Записок блудного сына» (1976–1978). Почти сорок лет бьюсь над эго. Наверное, «я» теперь не совсем я. «Я» пропадают. Отсюда возможная кажущаяся чёрствость. Я, которое всегда было очкариком, стало еще и сухариком.

Мумия, но не тролль. На суахили пишу. Но парадокс в том, что «я» не пытался «себя» забальзамировать, а как раз наоборот. «Я» пытался быть прозектором «себя», Хотел создать анатомически театр одного актёра-патологоанатома. Наверное, все века — средние.

Карнавал.

30.10.2012

9

Дорогой брат!

Если раньше «я» ходил на Малую Садовую, чтобы там выпить кофе или чего-нибудь покрепче с тобой, Кудряковым или Витькой, то сейчас хожу, чтобы пописать. Вместо двух маленьких отделов бывшая «Кулинария» теперь простёрлась перпендикулярно М.С. куда-то в чрево Елисея. И там есть общедоступный клозет.

Пись-пись, Малая Садовая.

И вот как-то было я там после поездки в Прагу. Наверное, еще в августе или начале сентября. На улице тепло, можно посидеть за столиком и выпить. «Я» пил это «горькое пиво» и смотрел на витрину, около которой простоял несколько лет в конце того века. Я думало о тебе. Оно даже позвонило Шведову. Последний человек, не считая Витьки, с кем «я» могу говорить о прошлом без дополнительных комментариев. Но Шведов был спросонья, и беседа не получилась. По мере вливания пива в организм моё «я» утверждалось в мысли о том, что оно ещё должно что-то сделать для тебя. Гипотетическое издание сочинений не в счёт. И тут вдруг «меня» осенило. Всю жизнь сначала бурно, а потом вяло мы писали друг другу письма. Что же «мне» мешает продолжить это занятие? Отсутствие ответов? Так сколько «я» тебе писал, а ты не отвечал. Потом не отвечал «я». Гробовое молчание уже было.

«Смерть нас не остановит» — сочинили мы когда-то с Кудряковым у «меня» на Матроса Железняка. Была гроза, мы пили портвейн. Борис Александрович, стоя на балконе, хлопал в ладоши и как демиург вызывал молнию.

Вот такая молния и сверкнула в «моём» сознании, когда «я» решил писать тебя эти «Письма в никуда».

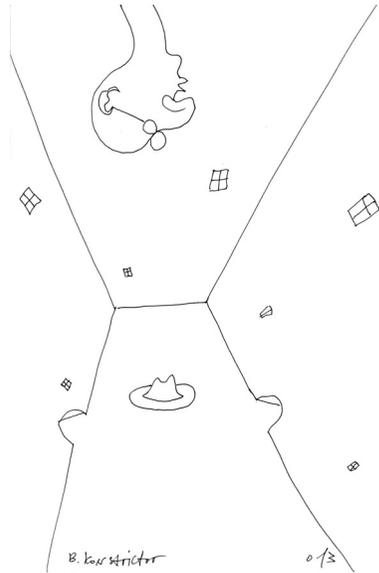
А раньше, весной того года, я закончило сочинять «Отрывки из Ничего», Они сейчас напечатаны в журнале «Крещатик». Это мемуары исчезающего «я». Там оно вспоминает Лену Шварц, Кудрякова, Дасика Перельмана...

В общем, одного «ни», как и следовало ожидать, оказалось недостаточно для онтологического диссидента.

Ни-ни-писанина.

Кни-ни-ни-га.

А что ещё вспомнилось, брат. Это было тоже летом. Стояли мы со скрипачом Борисом Кипнисом у жердочки (теперь её уже нет) Елисеевского магазина на Невском. И ждали даму. Перед этим «мне» позвонил



редактор «Крещатика», Борис Марковский, и сказал, приедет барышня из Киева, привезёт книги. А мы с Борисом собирались идти на Моховую к феерическому человеку Андрею Жукову (фотографу, нейрореаниматологу, культурологу) выпивать. Поэтому нам хотелось побыстрее распрощаться с ней. Но дама сказала — у меня есть бутылочка коньяка. Кипнис сразу притормозил, и мы вчетвером (она была с мужем и сыном) уселись в уличном кафе посреди М.С.

Выпили.

И вдруг после третьей рюмки дама говорит: Борис, я хочу издать вашу книгу.

Так в издательстве «Птах» на Украине у Людмилы Василенко вышли мои книги «Записки неохотника», «Слова и рисунки».

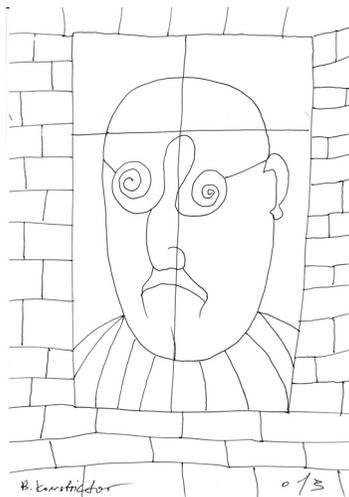
Для чего «я» об этом пишу — толчки судьбы случаются именно на М.С.

Может быть, М.С. для «меня» это место силы, и вдруг из этой «моей» эпистолярной затеи получится что-нибудь путное.

«Я» вам пишу...

1.11.2012

(Продолжение в сл. номере)





Исаак РОЗЕНБЕРГ

/ 1890–1918 /

РАССВЕТ В ОКОПАХ

Исаак (Айзек) Розенберг (1890–1918) — английский поэт и живописец. Родился в бедной еврейской семье, которая бежала в Англию из России, опасаясь погромов. Посещал школу Святого Павла при церкви Уайтчепел — самом бедном районе Лондона, однако в 1904 году из-за нищеты бросил учебу и поступил на работу учеником гравера. Тогда же начал писать стихи. Позднее ему удалось найти меценатов и пройти курс обучения в Школе Слейда — художественном училище при Лондонском университете.

К первой мировой войне Розенберг отнесся отрицательно, не испытав никакой патриотической эйфории, однако по причине безработицы осенью 1915 года был вынужден записаться добровольцем в армию. «Я не смог получить работу, на которую рассчитывал, — сообщал он в одном из писем, — поэтому записался в этот батальон Бантам, так как я слишком низкорослый для любого другого... Мне приходится есть из миски вместе с каким-то ужасно пахнущим мусорщиком, который плюет и чихает в нее, и т.д. Кроме того, мое еврейское происхождение служит плохую службу среди этих жалких людей».

В июне 1916 года Исаак Розенберг был отправлен на Западный фронт во Францию. Как рядовой он был вынужден делать на войне самую грязную работу, испытывать самые тяжелые лишения. Однако тем сильнее была тяга к творчеству. В свободные минуты поэт находил огарок свечи, карандаш и на случайных обрывках бумаги набрасывал строчки, в которых отражалась суровая реальность военных будней. По мнению исследователей, «окопные» стихи Розенберга являются одним из самых ярких поэтических документов первой мировой войны.

В марте 1918 года поэт подал прошение о переводе в Еврейский батальон в Месопотамию. Призрачная возможность оказаться на древних библейских землях подвигла его на создание ряда стихотворений, связанных с ветхозаветной тематикой. Впоследствии знаменитый английский поэт-фронтовик Зигфрид Сасун отметил в его творчестве «органику соотнесенности английского и древнееврейского начал».

Однако мечта поэта побывать на Святой земле не осуществилась. Исаак Розенберг был убит 1 апреля 1918 года во время ночного патрулирования проволочных заграждений и похоронен в братской могиле. Спустя десятилетие его останки идентифицировали и перезахоронили на кладбище в Сен-Лоран-Бланжи (Северная Франция). На надгробии была высечена звезда Давида и надпись: «Художник и поэт».

Евгений Лукин (Санкт-Петербург)

ДОЧЕРИ ВОЙНЫ

Румяная свобода рук и ног —
Расхристанная пляска духа с плотью,
Где корни Древа Жизни.
(Есть сторона обратная вещей,
Что скрыта от мудрейших глаз земли.)

Я наблюдал мистические пляски
Прекрасных дочерей прошедшей битвы:
Они из окровавленного тела
Наивную выманивали душу,
Чтоб слиться с ней в одном порыве.
Я слышал вздохи этих дочерей,
Сгоравших страстью к сыновьям отваги
И черной завистью к цветущей плоти.
Вот почему они свою любовь
В укрытии крест-накрест затворяли
Смертельными ветвями Древа Жизни.
Добыв живое пламя из коры,
Обугленной в железных войнах,
Они зеленое младое время
До смерти опаляли, обжигая:
Ведь не было у них милее дела,
Чем дико и свирепо умерщвлять.

Мы были рады, что луна и солнце
Нам платят светом, хлебом и вином,
Но вот пришли воинственные девы,
И сила этих диких амазонок
Разбила скипетры ночей и дней,
Заволокла туманом наши очи —
Блестинки нежных ласковых огней,
Загнала амазонским ветром
Ночную тьму в сиянье дня
Над нашим изможденным ликом,
Который должен сгинуть навсегда,
Чтобы душа могла освободиться
И броситься в объятья амазонок.
И даже лучшие скульптуры Бога,
Его живые стройные созданья
С мускулатурой, о какой мечтают
Высокие архангелы на небе,
Должны отпасть от пламени мирского
И воспылать любовью к этим девам,
Оставив ветру пепел да золу.

И некто (на лице его сливалась
Мощь мудрости с сияньем красоты

И мускулистой силою зверей —
 Оно то хмурилось, то озарялось)
 Вещал, конечно же, в тот час, когда
 Земля земных мужчин в тумане исчезала,
 Чей новый слух внимал его речам,
 В которых горы, лютни и картины
 Перемешались со свободным духом.
 Так он вещал:

«Мои возлюбленные сестры понуждают
 Своих мужчин покинуть эту землю,
 Отречься от сердечного стремленья.
 Мерцают руки сквозь людскую топь,
 Рыдают голоса, как на картинах,
 Печальных и затопленных давно.
 Моих сестер любимые мужчины
 Чисты от всякой пыли дней минувших,
 Что липнет к тем мерцающим рукам
 И слышится в печальных голосах.
 Они не будут думать о былом.
 Они — любовники моих сестер
 В другие дни, в другие годы».

ОХОТА НА ВШЕЙ

Сверкающие голые тела,
 Вопящие в зловещем ликование.
 Скалящиеся лица друзей
 И сумбурные взмахи рук
 В едином кружатся угаре.
 Рубаха паразитами кишит:
 Солдат ее сорвал с проклятьями —
 От них Господь бы съежился, но не вошь.
 Рубаха запылала над свечой,
 Что он зажег, пока лежали мы.

И вот мы все вскочили и разделись,
 Чтоб отловить поганое отродье.
 И вскоре в сатанинской пантомиме
 Забушевало и взбесилось все вокруг.
 Взгляни на силуэты, разинувшие рты,
 На невнятные тени, что смешались
 С руками, сражающимися на стене.
 Полюбуйся, как скрюченной плоти,
 Копаются в божественной плоти,
 Чтобы размазать полное ничтожество.
 Оцени эту удалую шотландскую пляску,
 Ибо какой-то волшебный паразит

Наколдовал из тишины это веселье,
Когда баюкала наши уши
Темная нежная музыка,
Что струилась из трубы сна.

РАССВЕТ В ОКОПАХ

Мрак осыпается, будто песок.
Древнее время друидов — сплошь волшебство.
Вот и на руку мою совершает прыжок
Странная крыса — веселое существо,
Когда я срываю с бруствера красный мак,
Чтобы заткнуть его за ухо — вещий знак.

Тебя пристрелили бы, крыса, тут же без церемоний,
Если б узнали о твоих, космополитка, пристрастиях:
Сейчас ты дотронулась до английской ладони,
А через минуту окажешься на немецких запястьях,
Если захочешь ничейный луг пересечь —
Страшное место последних встреч.

Ты скалишься, крыса, когда пробегаешь тропой
Мимо стройных тел — лежат за атлетом атлет.
Это крепкие парни, но по сравненью с тобой
Шансов выжить у них — считай что — нет.
Они притаились во мраке траншей
Среди разоренных французских полей.

Что ты увидишь в солдатских глазах усталых,
Когда запылает огонь, завизжит железо,
Летающее в небесах, иступленно алых —
Трепет какого цвета? Ужас какого отреза?
Красные маки, чьи корни в жилах растут,
Падают наземь — гниют, гниют, гниют.

А мой цветок за ухом уцелел:
От пыли лишь немного поседел.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Я обращаюсь в прах среди могильной тьмы.
Его ты прячешь, скрадывая меж костями.
Иегова всегда дает своим взаймы,
И я несу убытки полными горстями.

Что скажет Кредитор, когда я пропаду
Без вести, и меня не сыщут и собаки?
Я не смогу явиться к Страшному суду,
Поскольку окажусь сокрытым в этом мраке.

К своей святой земле взывая, как всегда,
Он будет рыскать небесами круг за кругом:
«Где бедная душа, лишенная суда,
Которую не наградили по заслугам?»

Но слыша этот плач, стенания и грусть,
И в остове твоём расположившись грешном,
Я, обманувший Господа, расхохочусь,
Свободный, словно раб, в твоём плену кромешном.

ЕВРЕЙ

Я — еврей — возник из чресел Моисея,
Что зажег светильником в своей крови
Десять твердых правил — лунное сиянье
Для людей, лишенных праведного света.

И все люди, хоть и с кожей разноцветной,
Но с одним вздымающимся кровотоком,
Держатся прилива — правил Моисея.
Почему ж они глумятся надо мной?

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА БАВИЛОНСКИМИ ОРДАМИ

Опустел великий Вавилон:
По указу полководца ныне
Воины отправились в поход
К левантийской сказочной пустыне.

Призрачные сеятели шли
Перед копьями, усердно сея
Пеплом напоенные плоды,
Чтобы осознала Иудея,

Что они, поклонники Быка,
Крылья распростершего повсюду,
Омрачат войною небеса,
Воссиявшие подобно чуду.

И походную смывали грязь
Воины у чистого затона,
Где купались девушки, смеясь,
И царя ласкали Соломона.

Все сжигали языки огня,
В облака взметаясь и в ущелья,
Пока башни рушились царя
Ради вавилонского веселья.

ГОРЯЩИЙ ХРАМ

Пламенная ярость Соломона,
Задержалась ты в какой дали?
Посмотри, как падают колонны,
Как пылает храм Святой земли —
Черный дым все небо заволок!

Солнце опустилось среди моря?
Золото расплавилось в огне?
Или искры гнева, искры горя
Ветер развевает по стране?
Снова умер царь, мудрец, пророк.

Сгнуло во тьму его мечтанье,
Время, что от Господа дано,
Рухнуло великое созданье,
Как трава, обуглилось оно
И исчезло, как последний вздох.

ЧЕРЕЗ ЭТИ ПАСМУРНЫЕ ДНИ

Через эти пасмурные дни
Лики потемневшие горят
Из тысячелетней глубины,
Огненный отбрасывая взгляд.

А вдали, карабкаясь на склон,
Души их бездомные бредут,
Чтобы отыскать святой Хеврон,
Где они спасенье обретут.

Оставляя пасмурные дни,
Они видят в бликах синева,
Как же долго все-таки они
Были беспробудны и мертвы.

НА ВОЙНЕ

Тревожь беспечный полдень
Своей тоскою или
Веселю улыбкой,
Зане твой дух мятежный
Всегда меж ними был.

Тот день покойным будет,
Глухим к твоей печали,
К улыбке молчаливой,
А воздух будет пить
Дневную тишину —

Тогда твой голос дивный,
Легко отображавший
Глубины бытия,
Среди людского хора
Умолкнет навсегда.

Пусть темного пространства
Не омрачает призрак,
Но видят мои очи,
И сердце тоже чует,
Как было тяжело.

Давным-давно когда-то
Шагала смерть по миру,
Искала цвет людей,
И увядала роза
От смертной темноты.

Раз мы могилу рыли,
В трудах изнемогая
От солнечной жары.
В мешках лежали трупы,
И рассуждали мы,

Что смерть их полюбила
Три дня тому назад,
Что мудрое искусство
Дает душе сверкнуть,
Пока она жива.

Судьба: нам, полудохлым,
Кто уцелел в той битве,
Сказали рыть могилы
Для тех, кто уж не страдал
На свете ничего.

Глухое отпеванье
Мы слушали вполуха,
А больше размышляли
О неуместных штуках:
Жаре, воде и сне.

Читал священник: «Отче...»
Слова роились смутно.

Но вдруг очнулся я,
И кровь похолодела:
Не может быть, Господь!

Он молвил имя брата...
Я пошатнулся, сел —
Схватил его за ризу...
Никто мне не сказал,
Что брат в бою погиб.

Скажи, какую участь
Судьба судила людям,
Захлестнутым войной?
Мы о шальные годы
Себя ломаем, брат.

ПОЛУЧАЯ ВЕСТИ С ФРОНТА

Снег — белое таинственное слово.
Не просит лед, не требует мороз
Живой бутон или птенца живого
По стоимости зимних бурь и гроз.

Но все же лед, мороз и снег весенний
Устроили такую кутерьму,
Что все перевернули во вселенной.
Никто не понимает — почему.

В людских сердцах свершается такое.
Их древний дух какой-то посетил
И поцелуем с ядовитым гноем
Он в плесень бытие преобразил.

Клыками порван лик живого Бога,
Пролита кровь, которой нет святей.
Оплакивает Бог среди чертога
Своих убитых дьяволом детей.

О, древнее слепое наважденье —
Все сокрушить, развеять, расточить!
Пора первоначальное цветенье
Разгромленной вселенной возвратить.

*Перевел с английского
Евгений Лукин (Санкт-Петербург)*



Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

Boris Markowsky
21 октября 2013

Дорогой Боря, здравствуйте! Я всё ждал Вас. Наконец-то Вы вернулись. Хочу поздравить Вас как редактора: в последнем номере «Крещатика»¹ я обнаружил материал, которому, думаю, может позавидовать любой русский журнал и любое издательство, — замечательное произведение (определить жанр затрудняюсь) В.И. Порудоминского «Трапезы теней», часть 2-я. Читал, не отрываясь, несколько вечеров подряд до поздней ночи. Название исключительно удачное, тени прошлого, словно гости за общим торжественным столом. Короче, воспоминания, при этом найдены совершенно особая, адекватная форма и точная, подкупающая интонация. Короткие лаконичные абзацы перемежаются отдельными фразами или словами, превращёнными в абзацы. Словно слышишь задумчивый, спокойный, мерный, с короткими паузами-передышками голос немолодого и умудрённого жизнью человека. Словно он говорит сам с собой. Так функционирует память, таковы ритм и последовательность воспоминаний, спонтанных, как бы по случайному поводу и на первый взгляд (или слух) беспорядочных, но лишь на первый взгляд; на самом деле вещь подчинена строго продуманной, выверенной и по-своему логичной композиции. Это — проза *большого, необыкновенно искусного, высокоталантливого* мастера. Русский язык такой, что хочется воскликнуть: лучше не бывает! — благородный, точный, музыкальный, а Вы, Боря, знаете, что я особенно ценю музыку прозы. Поразительны осведомлённость и эрудиция автора, о ком бы он ни писал: о Гоголе, о Луи Дагерре, о Кипренском, об Александре Иванове, о скульпторе Андрееве, о Розанове, да мало ли о ком.

Хочу ещё добавить, что мне среди прочего особенно понравились страницы о Лере (Валерии), здесь так много близкого и понятного мне. Да и вообще, я ведь тоже старый москвич, узнаю то и дело в прозе Порудоминского мою собственную, умолкшую жизнь. Передайте, Боря, если можно, мои комплименты и благодарность дорогому Владимиру Ильичу за честь и наслаждение быть его читателем и почитателем. Ваш Б.Х.

¹ «Крещатик» №61.

Тамара БУКОВСКАЯ

/ Санкт-Петербург /



* * *

я заткнусь я заткну себе глотку
по глотку этот воздух как водку
пропущу через жаберный пазл
через паз черед дых через лаз
я заткнусь всё равно этот вой
пахнет черной утробной войной
беспределом где жизнь перегнутой
перегон и отстойник и хранка
я сама себе буду охранка
и наружка с конвойной огранкой
и цензурная правка на гранках
я заткнусь захлебнусь онемею
человеческих слов не имея
только черный шматок в подреберье
трепыхнется как тулово в перьях
с отлетевшей с колоды башкой
или бошкой уже не живой
но глядящей стеклюющим глазом
как душа потерявшая разум
притворяется вечно живой

* * *

удушающий запах ванили
подмешается к запаху гнили
речки-выползки оккервиля
тут — граница а там жизни нет
в тошнотворных дразнилках конфет
издевательский выпад житухи
за оградкой цветочки в желтухе
gizn@gmail.com нет точнее gmail.net
не финти — перейти за ограду
никакого усилья не надо
даже в очередь не вставать —

будь кем хошь — хоть святоша, хоть блядь
ни отсрочить ни вымолить чуда
я не буду не буду не буду
и не будь — всем вообще наплевать

* * *

я выдохну июнь
сравнив его с безумьем
под синим под мостом
плескается вода
плескается плескается
так лучше и лодки в ней
толкуются как елда
я выдохну июнь
и юный и телесный
пусть ходит по рукам
и зажигает кровь
от синего моста до красного
мне тесно нет места для меня
меняй меня меняй
меняй меня житво
на нежить нежитуху
на жидкое стекло
канального текла
текучести дробей
толкучести и стука
борт-о-борт двух баржей
на сцепке под мостом
я не игрок в серсо
и прятки-догонялки
меняла площадной
шугается меня
и сущность бытия
такая знаешь сука
не ластится ко мне
а щерится — нельзя
нельзя нельзя нельзя
судьбу продать за грошик
продешевить пр*срать
и выменять на фук
что в имени моем
что в выдохе — всё мука
и путает гортань
рыданья со смешком

* * *

растает черный снег
ручьи мочой запахнут

кошачьим криком март
возьмет тебя за пах
и у метро оркестр
такой мотивчик жажнет
что изойдешь слезьми
и видно дело швах
шарахнешься
о стертый угол дома
шатаясь без толку
по улицам тоски
всё сказано
истерзано по слову
разодрано
на мелкие куски
узкие врата —
сознанию не вместиться
оно смешилось
с падалью дождя
оно простилось
с памятью на лица
на темной улице
мне не узнать тебя

* * *

мне не нужно ни службы ни дружбы
ни на что не хочу уповать
ветер с хитростью слежки наружной
всё про нас так и так будет знать
и завьется веревочкой счастье
разольется под сердцем покой
не склоняй этот сумрак к участию
в сцепке страсти — да кто ты такой
что ты знаешь о тяжбе пространства
с утеснением жизненных сил
кто вручил тебе свиток посланца
страсти нежной — ты разве просил
попроси на копеечку счастья
и на рубль вранья-воронья
ночи белой сочувствия
в колокольчик безумный звеня

* * *

воем завою слезьми изойду
по-над фонтанкой на старом мосту
пологих ступенек двойная гряда
как же от них я уйду в никуда
видишь, как маслом, полита вода
солнечным светом июльского дня
тянутся водорсли с самого дна

жизнь моя жизнь — ты смотрела куда
где вы ходили ноги мои
нету у сердца сегодня брони
тень свою в воду не оброни
если обронишь она уплывет
лодочка ялик смешной пароход
сносит теченьем под арочный мост
вышел срок годности кончился ГОСТ
на этом пиру ты незванный был гость
воспоминанья как старая кость
хочешь — держи про себя про запас
бог бы не выдал свинарь бы не спас
да так и так всё известно про нас

* * *

Закроешь дверь
окно и форточку
и станешь маленьким
присев на корточки
пыль по углам
следы на досточках
паркетных плит
ущербы вмятины
парша и патина
и смысла нет
сто лет в обед
словам и правилам
кнуту и прянику
фальшак побед
сиди не рыпайся
свернись калачиком
и в этом качестве
не засти свет
и станешь маленьким
присев на корточки
закрывши дверь
окно и форточку

* * *

Неприсутствие в жизни
удача и фарт
завернет меня в фартук
заливистый март
послеморный и мирный
топорщится год
из не было в была
сверток с биркой плывёт
некондиции мира
зеленка и йод

на обрывке клеенки
фамилия год
6.03 полшестого
день месяц и час
моего появленья
оп-ля среди вас
моего появленья
явленья на свет
потому без меня
полноты жизни нет
и до следущей бирки
год месяц и день
сколько счастья и страха
терпенья терпень...

* * *

А как в таком небе найти себе место
Там — знаешь белым-бело холодно пусто
А свято — не — свято разбавлено снято
Замешено тесто для манны небесной
И хочешь не хочешь а смотришь с оглядкой
И кто-то оттуда глядит в непонятке

* * *

Засмотришь на текучее небо
на не вправленный вывих пейзажа
снегопад в укрывательском раже
не стесняясь горбатого лепит
и телесный болван онемелый
месит снежное крошево телом
постигая мир тварным и целым
непробудным холодным и белым
непробудным и беспощадным
площадным беспардонным надсадным
сладострастным бесстыдным и стадным
до тепла человеческого жадным
ладно ладно залатан заляпан
в сердцебойке трепещущий клапан
притаясь придурясь тихой сапой
то ли с кляпом во рту то ли с каппой
плачь беззвучно залей и закапай
то что взял без разбору с нахрапа
и пр*срал и профукал прохаркал
просвистел промотал процедил
как сухую землицу сквозь пальцы
ту где калий и магний и кальций

* * *

Запомните меня нелепой и смешной
спешащей суетной неловкой заполошной

в одеждах старости где строчки бейки прошвы
 пересечение двойной сплошной
 ни к месту ни к рукам и невпопад не в строку
 не пристегни — пришей не два не полтора
 в пропаде ревности в безумии с наскоку
 слагавшую слова и полномочье жить
 в безмысленной тоске в бесстыдном оговоре
 февральской тяжбы меченых стихий
 где горло тянет ааааа хрипит подвздошь омен
 рифмует жизнесмысл хи-хи стихи грехи
 я больше не права рассудок мой не смеет
 бить картой козырной качать свои права
 обоснованья нет да я и не успею
 часы дотикали и умерли слова
 я здесь ещё теплом но холодом я с теми
 кто вышел навсегда в ничто и в никуда

* * *

А вот часики дотикают
 и веревочка довьется
 и ни криками ни кликами
 жизнь уже не отзовется
 за грудиной ляжет камешек
 кровь в висках не застучит
 и не маешься не каешься
 совесть больше не зудит

* * *

На крюковке
 как клюковку
 склевали воробы
 циферки и буковки
 кружочки и крючки
 а палочки считалочки
 абракадабру слов
 корюшка да колюшка
 это их поклёв
 прыгалки да классики
 касса для слогов
 вставочки да ластики
 значок всегда готов
 было сплыло не было
 сплыло а куда
 в крюковке колышется
 тёмная вода
 добрый детский боженька
 а не уследил
 что там рыбка корюшка
 зарывает в ил

Александр РАДАШКЕВИЧ

/ Париж /



В СКОРОМ ПОЕЗДЕ БЫЛИ

НАША ЛЮБОВЬ

Она дрожит на тех вокзалах,
где откатали поезда
за сеть обратных поворотов,
она встречает самолёты
в небесных аэропортах из
городов, прилежно стёртых
на картах позапрошлых стран,
в её глазах струятся годы
за веком, канувшим в века.
Мы различаем в раме окон
её прощальное лицо, в дыму
обугленных бессонниц,
во мгле оледенелых снов,
с той отгоревшей сигаретой
над отыгравшимся вином.
Недораспахнутое небо, недо-
гадавшаяся память, недо-
любившая любовь, в потёртом
прошленьком пальто, со взглядом
дальним и незрячим, она
дрожит на тех вокзалах, на той
заснеженной скамье, в той
неразгаданной аллее, куда
её мы заводили и где
мы предали её.

В ИЕРУСАЛИМЕ

Как полый ствол седых оливок,
пульсирует секундная, минутная

и часовая растерянно висят, с утра
предвечный батюшковский час
и длань в расплавленной стене
на людной Виа Долороза, где жизни-
смерти слаженный базар. Вороны
в финиковых пальмах, авраамических
религий непримиримые жрецы,
и зацелованные камни подогнаны
под мир, как Пифагора додекаэдры
в текучем тлении свечей. А небо
белое в глазницах, а алое в груди, и
отрясанье риз земных, как времени
свинца. Пульсирует секундная,
минутная и часовая вневременно
висят, а рядовые ангелы, сбиваясь
в стаи шелестящие, сливаются
с руинами теней и за спинами
громко молчат, сверяя с нами
вечный час и не жмурясь
на свет проливной.

ИЗ НИКОГДА

А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Всё к лучшему...

Анна Ахматова

Из никогда или когда-то вдруг объявился
не друг, не брат, забвенный знак от юности
патлатой, его картины и стихи, и та же была
вокзальная судьбы, любви рассветные мазки
и колкий воздух поздних одиночеств. И дочь,
и сыновья, а в сердце стёртом — н и ч е г о,
ни отзвука, ни музыки, ни стука. Она тупа,
немая боль. Он пишет «вы», хоть были мы
на «ты» в проигранном когда-то, когда
пернатые надежды учили рясть-обмирать
от взгляда, ветра, от волны, что тает на
глазах бессмертно и напрасно. Не друг, не
брат, чужой и одинокий, в шершавых стенах
несвершений, на гребне убывающей судьбы
меня окликнул ты из юности патлатой,
из никогда или когда-то, где всё лишь раз
и навсегда, где так темна и непреложна
обратная наука расставаний.

ЧАС ПРИЗНАНИЙ

Д. Г.

Из вихрастого мира, где за воротом
шея работы Кановы и из звёзд, не мигая,
заплывают в нагие глаза, тобою послано
ночное посвящение в мои оснеженные
рощи, в мои безгласные равнины, в моё
незрячее окно.

Вслед отжившим поэтам,
чьи лазурные тоги устилают небесный
склон, мне бы должно ответить, взор
потупивши долу, элегическим вздохом,
что длиною в полжизни, или сказкою
разминовений, что, конечно, уже
не про нас,
но если это час признаний, что оплавился
в нежную просинь, то я младше тебя
на века, и обо всём, что не назвали мы
именем земным и безучастным, ангел
вечерний и непоправимый, давай
безумолчно
молчать.

ПОРА

Пора повыбросить пластинки и музыку
былого, долетавшую до куполов упованья
в опечатанных храмах надежд, как отпевшие те
голоса, бередившие пыльные души, *пора, мой
друг, пора*¹ без вздоха позабыть на голом алтаре
поминовений *частичку
бытия.*

Пора порвать немые фотографии, их взоры
строгие и вещие улыбки, сводящие с ума,
и книги рыхлые, в закладках лета, пора снести
на ближнюю помойку, с открытками, где города
и море прошлого, где пряничные замки
и стёртые сады, где *мы с тобой
вдвоём.*

Не говоря о жёлтых письмах, веющих лиственным
тленьем чьей-то аллеи над обрывом юнеющих
далее — пора, давно пора на свалку, где не
читают, не видят, не слышат, где пробавляются
прошлые души бедною снедью сношенной
жизни. Пора: *замыслил я
побег.*

¹ Курсивом — из Пушкина.

ДОМА

Как у Христа за пазухой, у мамы
я буду спать под ватным одеялом
остатние века.
«Было лихо, и сейчас не тихо», —
в старинном вздохе ты повторишь.
В последний вечер
мы обнимемся, заплачем на грани
убывающих миров, под небом,
рухнувшим на плечи,
и закачаемся на самом, на краю,
бросая тень беззвучного упрёка за
них, за вас и за себя,
за всех, кого здесь обманули, как ту
собаку за окном, в снегах дорожных,
что подозвали и пнули
в нос. «Спокойной ночи, мой дружок», —
ты скажешь и по-новому вздохнёшь,
и скрипнет дверь
в бессильные миры, где мы сильнее
ночи и себя, пока, как столп, качаемся,
обнявшись, на самом,
на краю.

* * *

В скором поезде были, обгоняя
ветра, мы с тобой докатили до,
где нету в помине и не будет
тебя. Я застыл на перроне, как
в янтарной смоле, не внимая
разладу заскуливших гудков, и
почти не мигает там, за речкой
гравюрной, неземной огонёк.
Жизнь обнимет за плечи и
заглянет в глаза: «подожди
немного, отдохнёшь и ты».
Лермонтов, из Гёте, с хором
ангелов неосторожных
исполняет народный артист.
В скором поезде были, обгоняя
ветра, мы с тобой докатили до,
где нету тебя, где безгрешная
Лета в ледяных берегах и
безветрия млечность гасит те
огоньки, «не пылит дорога, не
дрожат листы», и замкнулась
за нами эта «свежая мгла» там,
где музыка преданных вёсен
поплыла над последней землёй.

Герман ГЕССЕ

/ 1877–1962 /



От переводчика

В № 2 за 2012 год в «Крещатике» в рубрике «Литературные манифесты» был напечатан перевод эссе немецкого писателя Казимира Эдшмидта «Экспрессионизм в поэзии», написанного в 1917 году и считающегося одним из самых известных манифестов экспрессионизма. В этой статье автор полемизирует с предыдущими направлениями в искусстве — с натурализмом и импрессионизмом. Интересен журнальный отклик Германа Гессе на эссе К. Эдшмидта, опубликованный в 1918 году и мало известный поклонникам великого писателя.

На русском языке публикуется впервые.

ПО ПОВОДУ «ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ПОЭЗИИ»

...И у Эдшмидта¹ тоже есть полное право не признавать какого-нибудь направления в искусстве, в котором он видит черты буржуазной эпохи, не ценить его и не иметь желания с ним познакомиться. Так произошло, что к его собственному удивлению его первые новеллы были однажды названы экспрессионистскими. Он тогда ещё ничего не знал об экспрессионизме. С очень многими художниками предшествующей эпохи произошло то же самое — они создавали импрессионистское искусство, понятия не имея об импрессионизме. Но наряду со всем этим в искусстве любой эпохи живёт также и дух вневременный, вселенское чувство, на котором нет меты времени и у которого нет возраста. Если когда-нибудь, скажем лет через сто, кто-нибудь соберёт вместе стихи, написанные с 1850 по 1910 год, в которых найдёт это вневременное вселенское чувство, то, не исключено, что это будет не Штефан Георге и не сегодняшние молодые, а кто-нибудь из тех поэтов, которых ныне причисляют к «импрессионистам». Импрессионистов от экспрессионистов в поэзии отличает, мне кажется, главным образом то, что импрессионистом поэта кто-то нарекает, экспрессионист же избирает свое имя сам.

¹ Казимир Эдшмид (1890–1966) — немецкий писатель, литературный критик и издатель, один из основоположников и теоретиков экспрессионизма.

В спорах об искусстве дело обстоит так же, как и в любом споре мнений. Невозможно понять другого, доколе его не полюбишь. Но полюбить друг друга можно только тогда, когда мир постигаешь в большей степени своим нутром, чем внешней активностью. Любят не объекты, они для нашей души лишь желанный повод проявить свою способность к горячей любви, дать ей излиться, точно сверкающему потоку. Я никогда не мог понять, как можно не любить стихотворения, потому что оно написано французом или японцем, как можно отвергать человека, потому что он католик, еврей или консерватор.

Я люблю Достоевского иначе, чем люблю Гёте, а Корнфельда¹ иначе, чем Мёрике, но для меня невозможно было бы ответить, кого я люблю больше. Я люблю каждого в тот момент, когда он занимает меня, когда я могу принадлежать ему, могу слушать его — только в этом случае он проводник электричества моей души.

Так за многие часы чтения я по себе узнал, что можно очень полюбить Готфрида Келлера, а также и Верфеля. В течение целого дня я могу быть счастлив, читая в саду Гёльдерлина, а в «Бенкале» Шикеле² нахожу страницы, щедро меня одаряющие.

И я тоже вижу «экспрессионизм» всюду там, где искусство обращается ко мне глубоко и мощно. Так как для себя, в своей чисто приватной теологии и мифологии, экспрессионизмом я называю звучание космического, память о прародине, вневременное вселенское чувство, лирический диалог отдельной личности с миром, самовыявление и самопознание, выраженные в любой форме.

Это тот экспрессионизм, сторонником которого объявляет себя также и Эдшмид в наименее полемической части своей статьи. «Никто не лучше другого оттого, что пишет по-новому. Никакое искусство не хуже, оттого что не похоже на прежнее». Так говорит Эдшмид. И если он и не всегда поступает так, как говорит, то это тоже право его молодости. У юности трудная задача, она полна сил, но повсюду наталкивается на правила и условности. Ни к чему не питает такой ненависти сын, как к предписаниям и условностям, в которых, как ему видится, погряз его отец. Удар кулаком в лицо пиетету — один из поступков, без которых невозможно оторваться от юбки матери. И вот теперь, когда молодое поколение чувствует, что этот десятилетиями существовавший буржуазный мир, под придирчивой розгой которого оно выросло, погружается в небытие, оно возликовало по праву.

То, что в этом гибнущем мире тоже были и доброта и своеобразие, что эти умирающие и умершие дяди ни в коем случае не были лишь гнусными комедиантами, что в течение всей той импрессионистской эпохи сотни сердец горели вневременным огнем, — ведь об этом, признать это, быть благодарным за это — не обязанность молодых.

И потому задача тех, кто в большей степени сопережил то время и то искусство — не дать повести себя ложным путём. Задача того, кто старше,

¹ Пауль Корнфельд (1889–1942) — писатель из круга пражских немецких писателей, драматург и прозаик.

² Рене Шикеле — немецкий экспрессионист, поэт и прозаик (1883–1940).

в том, чтобы свободней, изобретательней, щедрее и мудрее обращаться со своей большей, чем у юности, способностью внушать любовь. Старики всегда чересчур поспешно называют молодых открывателями старых истин. Старики сами всегда с удовольствием подражают жестам и манере молодых, сами фанатичны, сами несправедливы, сами считают только себя способными дарить счастье, сами легко ранимы. Старость не хуже, чем юность. Лао Тзе не хуже Будды, голубой цвет не хуже красного. Лишь тогда старость выглядит жалкой, когда хочет играть роль юности.

«Ди Нойе Рундшау» 1918, Берлин

Перевод с нем. Вальдемара Вебера



Рис. Ю. Филипчук



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

/ Нью-Йорк — Санкт-Петербург /

Из книги
«Грифцов в нескольких измерениях»

ГРИФЦОВ ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ

I

1

Как на ладони Грифцову предстала
жизнь Всевластного.
В скарденной бедности живёт семья, с отчаянным
пристрастием к упованию.

Вьётся бледно-зелёный отрок
на простыне в напряжении сил ползливых,
отрабатывая бесшумность энергии накопления
и незримость её, когда возбуждается.

Он боится её пролить,
необходимую в будущем.
Он ползёт от кровати до этажерки, стараясь,
чтоб его не заметили окружающие вещи.

Он называет это умолченным
извиванием пути, он называет это
изворотливостью глубин. Всевластный
подрастает. Грифцов его видит как на ладони.

2

— Что умеешь? — спрашивает Испытующий.
— Проползу до той стены так,
что ваш стол этого не заметит,
ни даже более зоркое кресло.

— Ползунок, — говорит Испытующий, —
сам сюда не приходи отныне.
Научись себя изымать совершенно,
и тебя позовут наши люди.

Он вернулся, чтобы к стене, напротив
зеркала, приковать себя цепью
и добиться невидимости искоренением
организма частиц. И добился.

3

И однажды, когда он стал Всевластным,
прикипев к бумаг изучению в кабинете,
к составлению их, к приказам
о прочёсе леса и обезвреживании бандитов,

об уменьшении размеров бедности населения
и продлении средней жизни
продолжительности, — он получил записку:
«С подростковых лет я избивал тебя сладко.

Ты всегда ведь был подлецом, Всевластный.
И сейчас, когда для тебя я недосыгаем,
а моя «История» всем доступна, избиение длится
в вечности, и обозримо великолепно!»

4

Так увидел Грифцов. А когда бледно-зелёный
в прошлом отрок подох, никому из смертных
в голову не пришло сказать, что Бог забирает лучших.
И Грифцов заснул умиротворённо.

II

Грифцов идет и видит: митинг!
Парят витии над людьми,
размахивая, как плетьюми,
идеями, чтоб вразумить их.

То потный патриот недужит:
«Ату!» — кричит, слюна во рту
клокочет и кипит, Христу
он черной ненавистью служит,

то удалец с тоской звериной
и узкой злобою в глазах,
а то, с лимонками в трусах,
козёл с бородкою козлиной.

И всяк зовёт к себе Грифцова,
и словоблудит, чтоб привлечь...
Грифцову вонька эта речь.
Он чист, и дышит образцово.

Он говорит: «Мне мерзок митинг,
ужимки эти и прыжки,
идите в баню, там ваш мытинг,
отмойтесь, грязные щенки!»

ГРИФЦОВ БАЛЛАДНЫЙ

1. Баллада о любви

*...когда твое лицо в простой оправе
передо мной сияло на столе.*

А. Блок

Закончив дело, мы распались на две
не слишком грецкие, но слишком скорлупы,
народ не побеждает в этой битве,
а мы с подругой были из толпы,
особенно она, спросив: «А где же
твой благодарный поцелуй?»,
«Чем дальше в лес, — подумал я, — тем реже
встречайся с этой дамой, не балуй».
Не слишком грецкие, но слишком скорлупы.

А как-то говорит: «Сфотографируй», —
взглянула розово и, как модель, легла,
туманясь, на тахту большой фигурой,
при этом обнажившись догола.
И тут я понял, с кем имею дело.
Тридцатилетие тому
назад я трогал трепетное тело
(возможно, что её) в одном доме.

Мне было пятьдесят, ей сорок восемь,
когда мы начали навёрстывать свои
упущенные трепетанья вёсен
под знаком розы в золотом аи.
Что до меня, то я любил впервые,
но через года полтора
мы из прямых зеркал вошли в кривые,

и поплыла любовь в два топора.
Я ей сказал: «Ты больше не оазис.
Ты, извини, для нужд любви резервуар».
Когда клиентов не было и кризис
случался, я платил ей гонорар.
Потом она разваливаться стала,
сначала отвалился нос,
за ним два уха, брови, губки алы... —
всё медленно летело под откос.

Вчера, листая школьные альбомы, —
в овалах лица молчаливой чистоты! —
увидел, как из лёгкой полудрёмы
приблизилась небесные черты.
Потом пошёл на кладбище (тут рядом,
наш «петербург» не так велик),
где в спину был окликнут тихим взглядом.
Я сделал вид, что я другой старик.
В овалах лица молчаливой чистоты.

2. Баллада о театре

На подходе к театру снуёт жульё,
продают входные из-под полы,
двдцать пять в партер, на галёрку два,
да в буфет талон на еду-питьё,
у иванов праздник, им трын-трава,
краткий отдых от кабалы.
На подходе к театру снуёт жульё.

Скоморохи-то, крохи совсем, юнцы,
на контроле шутки шутят, вопят,
да палят из ружей, да пристают,
все раскрашены с головы до пят,
за юбчёнку иль за штанцы
цап-царап, — смотри, кошелёк сопрут!
Скоморохи-то, крохи совсем, юнцы.

Пантомима похотью вся разлилась
на просцениуме в прожекторах,
тут не только выучка, тут и страсть —
тот в засос целует, та в морду хрясь,
в вертограде том вертопрах
оседлал садовницу, скачет всласть.
Пантомима похотью вся разлилась.

Взвился занавес, ну-ка, мы поглядим,
что вошло из семени, что почём,

так и есть: тут свадьба, пол ходуном,
там развод, — раздольюшка молодым! —
заливаясь пивом-водкой-вином,
жертва в пляс идёт с палачом.
Взвился занавес, ну-ка, мы поглядим.

Скоро-скоро друг друга вконец растлят,
раз-два! — и управились, погляди:
ходят чинно, заседают в судах,
наградными цацками на груди
гордо звякают, чад растят,
а в антрактах блядствуют, божий страх!
Скоро-скоро друг друга вконец растлят.

В пятом акте накатывается ночь,
«...далеко, — доносится, — до зари...»,
и пока им по сердцу петь-играть,
к дряхлой матери со скандалом дочь
заявляется и шипит: умри,
время жить, мол, и умирать.
В пятом акте накатывается ночь.

Где-то там за кулисами старики —
ходят шёпотом, говорят пешком,
воду пьют, глоточками семени,
да мозги друг другу, как парики,
пудрят, ветхо стоят кружком,
все — особенно со спины — родня.
Где-то там за кулисами старики.

Вот кончается действие, гаснет свет,
вот идут иваны вдоль по рядам,
обсуждают фабулу, эпилог,
по домам пора, пора по домам,
лишь один стоит — занемог,
заболел, не мил ему белый свет.
Вот стоит Иван, хочет вернуть билет.

ГРИФЦОВ НАБЛЮДАЮЩИЙ

Вот человек стоит,
сей плодоносный хрящ,
лет сорока на вид,
подмышечно разящ.

Он купит седуксен,
дальфаз и валидол,
мне кажется, он брэнн
и чует близкий дол.

Когда сей червь и бог
к прилавку, семена,
подходит, тихий ток
продёрнут сквозь меня.

Между его ремнём
и верхним краем брюк —
зазор, с рубашкой в нём.
В его глазах испуг,

а под глазами синь,
а на макушке плешь...
Я говорю: «Аминь!»
Утешь меня, утешь.

И человек, сопя,
речёт в молчанье: он
бессмертен внутрь себя,
духовн и заглублён.

ГРИФЦОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

Еще вчера
артист пера
прислуживал одной лишь музе — и
стоит у трона, визави
с правителем, виляя задом,
благодаря потливым взглядом
его, в испарине любви.

Возможно, он,
лобзая трон,
притворствует, возможно, встав с колен,
он сплюнет, невзлюбив свой плен
мгновенный и подобострастный
и дар свой возвратив напрасный.
Возможно. Но навек растлен,

презрен навек
сей человек,
косящийся на лацкан пиджака,

когда правителя рука
к нему пришпиливает орден,
когда он лыбится, разморден,
выигрывая в дурака.

Жив испокон
веков закон,
он грузно-неподъёмен, тяжело
его свинцовое ядро:
велик поэт, но и ничтожен,
от Бога дар ему положен,
от самого себя — дерьмо.



Рис. Ю. Филипчук

Константин КУЗЬМИНСКИЙ



by Keith Kenny, 1980

Георгий БЕН



ПЕРЕПИСКА

Предупреждение составителя

Переписка поэта Константина Кузьминского и переводчика поэзии Георгия Бена относится к периоду 1978–79 гг., когда Кузьминский занимался составлением «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» (девяти томник русской лирики, основывающийся на текстах самиздата). Не вдаваясь в подробности сюжета, который развивается в письмах, я хочу лишь предварительно пояснить для читателя некоторые детали.

Авторы переписки познакомились в Ленинграде в 60-е годы. Георгий Бен посещал семинар поэтического перевода, который вела Татьяна Григорьевна Гнедич — переводчица, незадолго до того вернувшаяся из сталинских лагерей; широко известна история перевода Гнедич байроновского «Дон Жуана», который она выполнила по памяти в тюремной камере. Кузьминский не посещал семинар, но дружил с Гнедич (в переписке он называет ее «тетка Танька») и с ее учениками, составлявшими костяк семинара того времени: кроме самого Бена, это поэт и переводчик Василий Бетаки (в переписке «Васька»), его (третья, но отнюдь не последняя) жена Галина Усова («Галка»), и Александр Щербаков, известный своим переводом «Алисы в стране чудес». С начала 70-х началась массовая эмиграция евреев. В 73 г. сначала уехал в Париж Бетаки с очередной женой (Виолеттой Иверни, которую авторы писем издевательски называют «Выверни»), вскоре Бен проследовал в Израиль, а через два года Кузьминский оказался в Америке.

Статью Бена о Гнедич, которая обсуждается в переписке, можно найти на сайте «Голубой Лагуны»: <http://kkk-bluelagoon.ru/tom2a/gnedich.htm>, там же — послесловие Кузьминского.

Лариса Мелихова

* * *

Нью-Йорк — Майями — Остин
одним словом, Америка, початок апреля, 10-е, 78
Милый Жора!

Ты великий молодец, и твоей книжкой¹ я утираю нос всем американским вонючкам. Тетка Танька² не сгинела! (Не сгинела она и во мне, но в обрат-

¹ Имеется в виду книжка «Изменчивость. Поэты Англии и Америки в переводах Г. Бена», изданная в Тель-Авиве в 1977 г.

² Т.Г.Гнедич (см. предупреждение составителя).

ном смысле: 20 поэтов переведены на английский для делающейся книги моей «школой переводчиков» памяти Т.Г.Гнедич.) А сейчас примемся за прозу. Тут как-то стихийно две радости — твои переводы и в том же месяце купил щербаковскую Алису. Еще бы Галочку с австралийцами — и никакого Бекаки не надо. Пусть он своих курдючных поэтов переводит, я на него зол. С трудом прочитал объемистую монографию Ефим Григорьевича¹ с жалобами вполне советского человека на не вполне советскую власть. «А не люблю я профессоров по другой причине» (кажется, Зощенко). А не писал я тебе по причинам личного характера: сначала, отупев от безработицы, уехал отдыхать на Майями, потом, по приезде, залег в сумасшедший дом (отдохнуть), по выходе был приглашен журналом «Арт ин Америка» рецензировать две русские выставки в Нью-Йорке и только сейчас вернулся. Катались с Шемякиным на небоскребах, разнесли ресторан «Русский Мишенька», повидал полсотни друзей и опять — в Техас, к милым моему сердцу бананам, огурцам и укропу. Отдыхаю, а работы невпроворот. Кстати, антологию Ленинграда (прозу, поэзию, документы) помимо английского издания (здесь и в Лондоне) будем пытаться сделать по-русски через вашу обетованную страну. Там меня какая-то плешь напечатала в журнале «Время и ми»² без всякого моего ведома, да еще и номеров журнала не шлют. В отношении рифмы — в Америке приходится ею поступаться: рифмуют только графоманы. Пытаюсь хоть ритмику сохранить, да и то не всегда удается заставить моих «переводил», все они на ухо обиженные, две-три стопы для них ничего не значат. Много выступаю с местными и заезжими поэтами, забиваю их, как кроликов: они же, как Брежнев, по бумажке читают, и не стихи, а вялую прозу. Словом, живу не худо. Правда, в Израиле таки пропала остатняя часть моего архива (в основном — мое) — ну и чорт с ним. Надоело. Своих-то стихов я еще напишу.

Как ты там, Жора? Отвоевал ли? Или еще какие поселения защищать надо? О делах ваших вну- и внешнеполитических слежу по газетам, не смешно. Не хочу я туда. А ты не хочешь оттуда.

Остаюсь — твой техасский поэт и быковой.

Еще раз радуюсь за книжку. Хвалю. (Хотя Суинберна ты не чухаешь — но мы уже об этом говорили, еще в Ленинграде.)

Обнимаю. ККК

* * *

Глубокоуважаемому мистеру Кузьминскому — привет!

Письмо твое было мне переслано их Тель-Авив, ибо я сейчас временно проживаю в граде Мюнхен в Баварии (и, если ничего не произойдет, пробуду здесь года два).

Рад слышать, что книжка моя тебе понравилась. Читал ли ты, кстати, рецензию на нее в N15 «Континента»³?

¹ Е.Г. Эткинд (1918, Петроград, — 1999, Потсдам) — советский и российский филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, теоретик перевода, доктор филологических наук.

² «Время и мы» — русскоязычный литературный и общественно-политический журнал, выходивший с 1975 по 1981 г. в Израиле, затем до 2001 г. в Нью-Йорке.

³ «Континент» — русский литературный, публицистический и религиозный журнал, издаваемый первоначально (1974–1992) в Париже, сейчас — в Москве.

Что же касается переводов, которые ты «со товарищи» делаешь из русской поэзии, то если вы переводите рифмованные стихи свободным стихом, то, извини, это вовсе не переводы, а в лучшем случае «вариации на тему». Думаю, что мне не нужно тебе объяснять (впрочем, если настаиваешь, объясню), что излагать, скажем, Евтушенко стихом Кэммингса (или, как он сам себя называет, «кэммингса») — это все равно, что излагать Кэммингса (кэммингса) стихом Евтушенко.

А насчет графоманов — так ведь графоманам куда легче писать свободным стихом: объем стихотворной продукции можно быстро и резко повысить.

Насчет того, что ты не хочешь переселяться в мятежный Израиль — а разве тебе кто-нибудь приглашал туда переселяться? Ну, если ты не хочешь в Израиль, не хочешь ли ты побывать в Европе? Мы бы могли тут увидаться. Опять же, ежели бы ты посетил Мюнхен, ты бы увидел меня, а ежели бы ты посетил Париж, то смог бы навестить нелюбимого тобой Эткинда (кстати, ты не читал мою рецензию на его книгу? Впрочем, тебе бы она не понравилась) и еще более нелюбимого тобою Васю. Кстати, за что ты на него зол?

Будь здоров — и пиши, не пропадай.

Георгий Бен

* * *

Диар Жора, Нового года и тебе, каковой обещает быть годом искусств (по китайскому календарю). Стало быть, ты все еще в Мюнхене, как там? Виделся ли с херром Васькой и его супругой Выверни? Невзирая на взаимное охлаждение, он тут всякие нежности обо мне пишет, а я о нем. Я ему за Галку вырву холку. А также за самые дурацкие статьи, которые я когда-либо читал в жизни. Но не об нем речь. Сейчас принимаюсь за второй том пятитомной антологии современной поэзии, позарез ищу Александра Щербаква. Нет ли у тебя? Он же из всех из вас единственный, кто писал. Конечно, можно и без него, но желательно. Первый том почти закончен, осталось за Лосевым-Лившицем, который должен представить Уфлянда-Еремина-Виноградова. Вычетом последнего они и так у меня есть, но он их знает лучше. С Эткиндом я каши не сварил, дал ему на прочит 14 поэтов, через год он вернул бессловесно, я так понял, что ему кроме Ахматовой и Миши Гурвича никто не интересен. Ну и Бог с им. Пусть доедает своих трупиков, а я займусь живыми. Статьи писать некому (не Ваське же предлагать!), так что мучаюсь сам. Крыть будут всяко меня же. Хрен с ними. В 5 томов входят свыше 100 поэтов, из них лишь 10 — печатались. Москву тоже захватил. Это еще наследство Алика Гинзбурга, то, что он нам давал в начале 60-х. И о нем некому написать. Вся эта диссидентня, вроде Турчина, может писать только о политике или о компьютерах. А о поэтах некому. Стас Красовицкий весь собран мной, до последней буквочки, а о нем самом — ну ничего не знаю. Ну там год рождения, да где учился.

А вот тебе хочу предложить написать о семинаре Гнедич и о ней. Берешься? Или — опять мне? Стр. на 10–15, можно меньше. Стиль — хоть матом. На твоё усмотрение. Ваське не предлагаю, ибо он глуп. Хотя люблю его по-прежнему. Но говорить не желаю. Рукопись мне нужна в течение месяца, а ответ — немедленно. Суть — показать, что Гнедич с ее культурой и матерным характером была в сто раз важнее Ахматовой. Что семинар переводчиков дал

поэзии многое, хотя бы в плане познания. Туда же вали и Эткинда. Ничем не ущемляю. Пойдет во второй том, после «ахматовских сирот» и «исторической школы». Туда же если б Сашу Щербакова процитировать... Не Галку же. И не Ирочку Комарову. Ваську я и так цитирую. Я к статье сделаю этокое приложение о ее ЛИТО в конце 60-х, Куприянов там и пр. На страничку. Не бойсь. Берешься?

С Израилем у меня назревает крупный конфликт. Перельман¹ меня живого напечатал без спросу, Алика Мандельштама пустил в столь ху*вой подборке, что он не только «на уровень своего гениального тезки не тянет», а вообще ни на какой. Кто это, сестрица постаралась, или у Перельмана вкус такой? Нудельман получил, сука, мой роман в августе, уже пол-Израиля, к редакции не относящегося, его прочитало, а редакция изволит молчать. По рукам, курвы, пустили. Ну, приеду в эту страну богоданную со своим шести-зарядным (образца 1845 г.)! А архив так и замылили.

Сообщи также мне, Жора, имена русско-институтских организаций там в Мюнхихе, чтоб знать, кому предлагать журнал. Издатель требует с меня гарантий на 300 экз. Ну, 100 я вмажу по здешним славикам, а остальное надо искать по Израилям и Европам. Поэтому надо знать, где что есть. Прикинь, а?

Вообще, буду за совет благодарен. С антологией у меня таких проблем нет, издатель дает 14 проц. после первых 250 копий, это не деньги, но это и не для денег. А журналу (даже полугодовому) нужны гарантии. Вот и ищу.

На сем прощаюсь, жду от тебя — срочно — ответа о согласии на статью и статью. Что неясно — пиши.

Твой ККК

* * *

24.11.1979

Привет!

Лешана това вэ мазал тов, ве адмея вэ эсрим леха! Кибалти михтавка, вэ ани гомер лаанот².

Вот так-то! Мы тоже иностранным языкам обучены.

А засим сообщаю тебе, что послание твое благополучно до меня дошло. И, отвечая на твой вопрос, могу сообщить, что я всё еще в Мюнхихе, как ты его на аглицкий манер величать изволишь. Ты спрашиваешь: «Как там?» Отвечаю: «Так-то, брат Кузьминский, так как-то всё!» С херром Васькой и его супругой Выверни (а что! хороший «пан», как сказали бы твои новые соотечественники) я не виделся давно. В ноябре я провел несколько дней в Париже, но с нашим свиданием произошел, как говорят в Израиле, «панчер» (догадайся, что это значит: слово — английского происхождения). Честно говоря, с Васькой я вполне хотел увидеться, а с госпожой Выверни — не хотел. Я, кажется, тебе не сообщал, что с ними обоими виделся я минувшим летом в немецком граде Кёнигштейне, что под Франкфуртом; и она произвела на меня крайне тягостное впечатление. Дело не в том даже, что она до невероятия растолстела (я бы сказал, нездорово растолстела): та Выверни, которую ты

¹ Виктор Перельман — учредитель и единственный сотрудник редакции журнала «Время и мы».

² С Новым годом и всего наилучшего, да жить тебе до 120 лет! (пер. с иврита)

видел в Санкт-Петербурге — это просто тростиночка, дикая газель, еле-еле душа в теле — по сравнению о той Выверни, какова она сейчас. Поверь, я даже почти не преувеличиваю. Но это бы еще «кол акавуд», как говорят на Святой Земле. Дело в том, что госпожа Выверни стала совсем оголтелой христианской фанатичкой, и даже с антисемитским уклоном. Ну так вот, «ту телл э лог стори шорт», прибыв в град Париж, я был бы не прочь увидиться с Васькой, но не с его благоверной. Я позвонил ему, и мы сговорились встретиться на следующий день часов в двенадцать. Я отпустил своих спутников гулять по музеям-бульварам и освободил себе весь день до вечера, чтобы провести этот день с мсье Бетаки. Однако, когда я с ним встретился, в словленном кафе (причем, он запоздал, и тем вынудил меня выпить две дополнительные чашки кофе по шесть франков штука — цена даже в Германии за кофе невиданная), он заявил, что у него срочнейшее дело, ибо ему нужно перевозить с фатеры на фатеру какую-то свою очередную пассию, и мы с ним проговорили всего минут тридцать, а затем он еще на полчаса забежал в гостилицу. Я был весьма зол.

Теперича отвечаю на твои вопросы. Щербакова у меня нет. Про Стаса Красовицкого тоже я ничего не знаю. А теперь насчет Гнедич и ее семинара.

Таковую статью я бы взялся написать, в меру своих слабых сил и недостаточных знаний, разумеется. Единственное, что мне совсем непонятно, — это что именно ты от меня хочешь? Ты пишешь: «Стиль — хоть матом». Стиль стилем, а что о содержании? Я решительно не хотел бы показывать, что Гнедич «была в сто раз важнее Ахматовой» — и не из-за пietetа перед Ахматовой, а потому, что, на мой непросвещенный взгляд, одно к другому не имело никакого отношения: говорить о том, кто важнее, Гнедич ала Ахматова, это, опять же на мой непросвещенный взгляд, всё равно, что решать вопрос о том, кто важнее — Чайковский идя Эдисон, или о том, что «если слон на кита налезет, кто кого поборет?» Так что я совершенно, по своему неразумию, не понимаю даже, почему, на твой просвещенный взгляд, Гнедич была важнее Ахматовой. Будь любезен, разъясни. И в каком смысле я должен «туда же валить и Эткинда»?

Короче говоря, напиши мне поподробнее, что именно ты хочешь от меня получить? То есть, рассказ ли о татьяни-григорьевненьных переводческих принципах и особенностях, или рассказ о формах и методах работы ее семинара, или рассказ о ее способах редактирования стихов, или анализ достоинств ее переводов, или еще что-нибудь? Короче, растолкуй мне это подетальнее, и если ты не будешь настаивать на том, чтобы я доказывал что-нибудь, чего я не думаю, то я берусь написать такую статейку недели за три после того, как получу твой ответ и твои разъяснения.

Русско-институтских организаций в Мюнхене почти нет. Есть «Радио Свобода», есть славянский факультет в Мюнхенском университете — вот, кажется, и всё. Да, есть еще какой-то эмигрантский союз (говорят, с изрядно антисемитским душком, поэтому евреи его сторонятся — не из приверженности к сионизму, а из нежелания выслушивать разные неприятные намеки, что, говорят, нередко случается). Гораздо больше таких организаций в Израиле, но, кажется, ты к нему несколько скептически относишься после опыта с Перельманом. Перельман, точно, не является символом английской обязательности и немецкой пунктуальности; но, по моим наблюдениям, евреи вообще не обличаются — в массе своей — этими качествами. Кстати, знакомо

ли тебе имя профессора Фридберга из Иллинойса? Этот человек, если он захочет, даст тебе адреса всех русско-институтских организаций мира, вплоть до Аргентины или Новой Зеландии. Напиши ему. Он, в отличие от остальных евреев, как раз человек обязательный и пунктуальный. Только он носит пиджаки и галстуки и не является поклонником распахнутых шуб на голых грудях. Впрочем, тебе не обязательно с ним видеться лично.

На сем прощаюсь — и жду от тебя скорого письма. Прими мои самые наилучшие пожелания. Кстати, не собираешься ли в Мюнхен? Остановиться ты сможешь у меня. Мы бы славно потолковали «за жизнь» и провели время. Со своей стороны, я едва ли в обозримом будущем приеду в Техас.

Остаюсь вечно преданный тебе

Георгий Бен

* * *

6 марта. Австин.

Шер сэр Бен (или хер?), рад ответу. И согласу. Васька должен где-то сейчас вскорости турнировать по Америке, уж не заедет, так по телефону поговорим. Про его супругу Иверни говаривалось по редакциям: «Иверни тут приходила. Ивернули». Я же, застав ее уже в Питере «не газелью», очень живо во утешение Галке изображал, как Выверни, взяв двумя пальцами и попользовав Бекаку, швыряет его, мокрого и грязненького, на край ванны. Галка очень смеялась. Но Вася всегда страдал гигантоманией. Это у него не первая таких размеров пассия. Вася всегда хотел, чтоб много. Ну и пусть кушает. Я его понимаю. Но может, свидимся.

А для антологии — садись и пиши. Пиши о всеевропейской культуре тетки Таньки, о ее «демократизме» в отличие от избранности Ахматовой, Ахматову можешь и не поминать, если не хочешь, начни просто с организации семинара, биографии тетки Таньки, о сборищах у нее, о роли переводов, заменивших живую (несвободную) поэзию в России. Если чего в статье будет не хватать, я подпишу страничку отдельно. Что хотелось бы — это представить бы хоть по одному оригинальному тексту участников семинара (ведь все поэты, чать!), но где их достать? Ваську (лучшего) я и так 2 текста по памяти цитирую в статье об историзме в поэзии. Тебя — не проблема, а вот остальные? Хоть цитатами, что ли? У Галки я помню — «Поэты ходят по канату, А он не выдержит толпы». И все. Васька, должно, помнит чего. И Сашино. В общем, рассчитывай статью на 3–5 страничек, плюс, может, текстов стр. на 5. Больше не потянуть.

Но это очень важная статья для антологии. Ахматовскую школу можешь помянуть на примерах переводов того же Бродского, да и Наймана. О роли перевода поболе. Насчет «хоть матом» — так мата, наверно, не нужно, но — свободно. Без натуги и напруги. Повествовательно-полемически. А с кем полемизировать — ищи сам. Я добавлю веселую страничку от себя, о тетке Таньке лично. Люблю ее. Эткинда — как посмотришь. Хошь — в соавторы, хошь — цитируй. Твое дело.

От меня ему передай глубокое уважение, но не любовь. Галстухов не люблю, и профессоров тоже,

В статью более упирай на рассказ, на фактологию, анализом же можешь заняться попутно. Антология у меня не «критическая», а скорее — информативная. Понял? Портреты даю и образ жизни, а не анализ творчества. Но это как ты похочешь. Можешь и об анализе, только чтоб фактология была.

Насчет организаций мюнхских и израильских — перечисли с адресами. И Фридбергу напишу, дай адрес. А то — Иллинойс! Университет, что ли?

В Мюнхен ехать, Жора — не до Евжоп. Тута дел хватает. Денег же — не. А рад бы повидать. Там видно будет. Я когда выезжаю, от тоски запиваю. А это не элехантно. От чего Эткинд шарахается. Понимаю его. Сам бы шарахнулся. Но сейчас не пью. Некогда. В Париже бы — спился. Как Арех или Некрасов. И помер б. Прощаюсь, думаю, со статьей все ясно. Срочно садись писать. 2 недели даю. Уже второй том кончаю, а мне ее туда. Шли адреса. Обнимаю. Ку-Клукс-Клан. Тексас.

* * *

15.IV.1979

Дорогой друг мистер Кузьминский!

Во-первых и в-главных, униженнейше прошу извинения за задержку с посыланием текста. Статья оказалась многотрудной, и сочинить ее — заняло куда больше времени, чем я поначалу рассчитывал.

Во-вторых, возникли дискрепанции насчет ее объема. Поначалу статья получилась страниц чуть ли не на сорок, но я посредством наступления на горло собственной песне ужал текст до двадцати страниц. Что уж дальше сокращать — не знаю: всего жалко. Добролюбова или Сент-Бева никто размерами не стеснял. Ежели все-таки ты будешь сокращать по своему разумению, то согласуй со мной текст. Не знаю уж, что и делать. Теоретические выкладки (скажем, про переводы лингвостилистов в сравнении с переводами начала и середины 50-х годов, или про роль и особенность перевода в нынешней российской словесности) выкидывать, вроде бы, нельзя — без них статья превратится в разухабистый мемуар. А мемуарную часть тоже не выкинешь: исчезнет сама Т.Г. Может быть, выкинуть ту часть, где я объясняю, почему юные дарования поэтические (непереводческие) тянулись к переводчице, а не к какому-нибудь Доризо или Ринку? (Вроде бы, это не совсем на тему). Но тогда нарушится логическая связь, и потребуется как-то сцементировать обрезанные концы. Словом, подумай. Я дал статью прочитать иным толковым людям, и они очень одобрили. Может, сможешь выдать ее на-гора всю, как есть?

.

Послезавтра я уезжаю в Норвегию и Швецию, вернусь 10 мая. Надеюсь к возвращению найти твой ответ.

С приветом, Георгий Бен.

* * *

The Institute of Modern

Russian Culture

at Blue Lagoon, Texas

John E. Bowlt, Director

Konstantin K. Kuzminsky, Head, Literary Practice Section

April 20, 79

Мин херц Жора.

Зауважал. Продукция выдана качественная и в срок. Правда, к продукции придется писать пред- или послесловие, но это уже моя забота. Твой же текст пойдет слово в слово, от заголовка и до конца. Прямо в начале второго

тома, после статьи (статей?) о Петербурге. Дополнительные сведения: в каком отношении к семинару (-рам) переводчиков приходились Бродский, Найман, этс. (кого знаешь?). Мне нужны факты, факты и факты. Статьей очень доволен и по получению и прочтении таковой немедля сел писать тебе на хербовой бумаге. Почему упорствуешь с Зеровым ударением на «о»? Т.Г. и украинцы ударили всегда на «е». Далее. Перечисли всех около Т.Г. (и участников семинара, и не). Я переводчиков не люблю, поэтому не знаю. Кто к ней хаживал, и зачем. Суть предпринимаемого мною труда заключается в истэблишировании всем помаленьку известной информации, сведении таковой во едино. Чтоб знали, как жили. Семинар ты покрыл, теперь около. Хочу восстановить картину делов и дней наших. Максимально полную картину. Почему сам и перешел на телеграфный стиль. Экономия не пространству, но времени. Ведь четверть века покрываю! Происходило же: многое. Покрываю мемуарно и «теоритицки»: что, когда, зачем и почему. О тетке Таньке будет еще в 4-м томе. Мое. О поэтах просто, ее ЛИТО. Статья же твоя хорошо пишется мне в предисловие ко 2-му. Сенька Монас обещал о петербургской поэзии общее эссе, но, не надеясь на него, я уже написал сам. К первому тому и вообще будет писать Иван Болтов, пан директор. Так что за тобой — дополнительные сведения (см. выше). Но — рад. На Ваську же я более, чем зол. В «Третьей волне г*вна»¹ оне тиснули подборку «саркосельцев», целиком (кроме бл*ди Афанасьевой) изъятую из моей антологии, и без указаний на оную. Убью суку.

Помимо. Институт, коевый я представляю, функционирует. Пока изыскиваем фонды для развертывания фронта работ. Тебя назначаю советником при моей секции по делам перевода. Пока советуй: кого из богатеев следует потрясти за вымя? Вымя должно быть сочным и молочным. Мне тут надо еще писать письма Барышниковым и Ростроповичам, приглашать их к соучастию, а пока пишу тебе. Фридбергу тоже напишу. На казенной бумаге, за которую пока платить приходится из собственного кармана.

Снимали тут неделю телевизионный фильм об Юлии Вознесенской и мне, а вообще об поэтах, на час, за что получил 500 долларов. Путем чего запил. В октябре должен выйти на экраны. Может, и Юлия к тому времени выйдет. Она очень тетку Таньку любила, а у меня нету ни одной фотографии. У тебя нету? В Ленинграде-то есть, я к Т.Г. лучших фотографов посылал, но — как достанешь? И пленка у меня с Т.Г. пропала в ёб*ном Израиле. Ты уж меня, Жора, прости, но с израильским МИДом я буду говорить языком моего шестизарядного: ведь четвертый год бьюсь, чтоб получить остатки архива! И никого не колышет. Ведь пленка с теткой Танькой пропала, я перед отъездом зашел к ней прощаться, всю прощальную речь и стихи записал! Где теперь? Обшмонать архив они не забыли, мне еще в Вене предъявляли письма из архива изъятые, а вернуть — поди, потребуй из Техаса. Остопи*дело мне все это. Возьму и напишу на эту тему роман. Один уже написал, «22»² приняли, урезали и молчат. Роман крутой, а они там еще за Милославского

¹ «Третья волна» — русское эмигрантское издательство, основанное в Париже в середине 1970-х. Существовало до конца 1990-х.

² «22» — русскоязычный литературный журнал, выходящий ежеквартально в Тель-Авиве. Основан в 1978 г.

не расхлебались. «Ковчег» же за Эдика, вроде, прикрыли. Вот тебе и свобода слова! Для кого? За что боролись? За что тетка Танька померла? А я ее верный ученик и прозелит. Нежно ее любил.

На чем братски обнимаю тебя. Молодец за статью. ККК

* * *

28.V.1979

Дорогой друг!

Вернувшись из скандинавских краев, получил я твое письмо от 20 апреля. Рад слышать, что продукция тебе понравилась. Когда она выйдет типографским способом?

Отвечаю вкратце на твои вопросы (на те немногие, на которые могу ответить). Бродский и Найман к семинару Т.Г. никакого отношения не имели. Зерова с ударением на «о» пишет Гелий Снегирев («Мама моя мама» в «Континенте»), и здешние знакомые украинцы тоже говорят, что нужно «Зеров». Однако «Краткая лит. энциклопедия» (КЛЭ) дает «Зеров». Кто его знает, как правильно? Я думаю, что прав Снегирев и украинцы, им видней.

Насчет того, кто был «около Т.Г.». В семинаре поначалу были Васька, Галя Усова, Ира Комарова, Миша Середенко, Роза Красильщикова, Татьяна Злобина, Володя Васильев и твой покорный слуга. Понемножку спорадически в семинаре появлялись (и быстро исчезали после нескольких появлений) разные люди — например, Давид Петров, Евгений Рейн, Володя Британишский и др. (всех не помню). Миша Середенко отселился по собственной воле примерно в 1962–1963 годах. Найман, м.б., и появился раз-другой, но я не уверен. Бродский не появлялся в семинаре, это точно. Приходили иногда и люди из других семинаров. В те же годы, когда ушел Середенко, появился Саша Щербakov. Кроме того, к Т.Г. ходили разные мальчики и девочки домой, но я их очень плохо знаю. В последние годы, когда семинара уже не было, к ней повадился Витя Топоров. Кстати, правду ли говорят, что он — стукач? (Я это слышал уже от трех или четырех человек, выехавших из Питера в течение последних двух-трех лет). Не знаю, так ли это; но судя по его фантастической переводческой карьере — совершенно уникальной в условиях нынешнего советского бескнижия — это похоже на истину.

Фотографии Юлии Вознесенской у меня нет, я вообще ее и видел-то раз или два в жизни. Из фотографий Т.Г. у меня есть только пара «групповых» (причем, любительских), там она плохо видна. Увы!

Что касается израильских пропавших твоих вещей, то тебе надо было об этом мне написать, когда я был там. Я в Израиль поеду, видимо, будущей весной. А что за архив, кто именно в Вене показывал тебе изъятые письма из архива, и кто их изъязл? Очень непонятно ты пишешь. Если ты членораздельно изложишь всю историю и что, где и у кого хранится, я постараюсь тебе помочь, если смогу. Напиши точные фамилии, адреса и прочие данные. И как все произошло, что твои бумаги попали в Израиль. Со своей стороны, я обязуюсь, что когда переселюсь назад в Израиль (думаю сделать это года через два или три), буду там твоим душеприказчиком и вести твои дела.

А что это за «Ковчег», и кто такой Эдик? И почему твой роман «крутой». Что касается Милославского, то его повесть, по-моему, не крутая, а просто плохая. А сам Милославский — лицемер, шкурник и лгун, ни одному его сло-

ву нельзя верить. В «НРС»¹ напечатал подлое письмо, где что ни слово, то вранье. Я уже было хотел написать Седых ответ, да времени жаль, ведь все равно не напечатают.

Поездка наша в Скандинавию была отмененная. Побывали в Швеции, Норвегии и Дании, а из Стокгольма сплавали в Хельсинки. Были, так сказать, совсем рядом с доисторической родиной («близок локоть...»). На обороте ты видишь кусок сексуальной улицы в Копенгагене, меня дерущего за бороду какого-то викинга и Таню рядом с другим викингом. А лучше всего — Норвегия.

Шалом и привет! Поздравь нас с израильско-египетским миром.

Преданный тебе

Георгий Бен

* * *

*The Institute of Modern Russian Culture
at Blue Lagoon, Texas John E. Bowlt,
Director Konstantin K. Kuzminsky,
Head, Literary Practice Section
June 1st 79*

Шер херр Бен,

не вернувшись ниоткуда, над клятой антологией сидючи, на другую квартиру переезжаючи, дизайнера матюкаючи, отвечаю тебе немедленно. Продукция твоя выйдет враз за первым томом, который, по причине авторов (и их претензий), дизайнера и фотографий, переезда и пр. надеюсь сдать на двух неделях (Джон Боулт еще должен празднословие написать). Отматвавшись от первого, сажусь за второй. И на кой я в эту холеру ввязался еще в 62-м, заделав антологию советской патологии (АСП)? Да так и потекло. Глейзер с Бекакой мне не конкуренты, потому что один из них мудака и ничего не знает, а второй знает, но тоже мудака. А тоже антологию делают. Васька всех своих бл*дей напихает, от Зойки Афанасьевой до Элиды Дубровиной, за мадам Выверни и не говорю, Глейзер же уже начал: Вознесенский, Ахмадулина, еще почему Евтушенки нет? Фиг с ими. Скушно, Жора. Зерова же пушу просто без ударения, пусть как знают, так и читают.

«Кто был около Т.Г.» с твоего позволения, со ссылкой на тебя, перепису и добавлю, не возражаешь?

В стукачах же у нас ходил каждый второй, если не первый. О себе я много слышал. За Топорова не скажу, молодые все его уважали и дружили, я его знал, но ко мне он не ходил, а стукачу положено бы. Карьера у него от Эткинда и Гнедич, сам он человек приличный, вроде Кушнера, а такие в Союзе нужны. У Кушнера ж тоже карьера. Время подошло такое, да и в Москве у него связи. Человек злоязычный, но приличный. Автор самых клевых эпиграмм.

Фото официальные мне ни к чему, в первом же томе идет около 50-ти «групповых, любительских», как ты выражаешься. Если под рукой — сделай зирокс, пометь на нем, кто и кто, фото же пересними (или попроси кого пе-

¹ «Новое русское слово» — газета на русском языке, издававшаяся в Нью-Йорке в 1910–2010 гг.

рзнять) и шли прямо 35 мм негатив. И в статьях и в фото предпочитаю не казенность и парадность, а непосредственность и пристрастность. Лившиц мне гениальную статью о филфаке 50-х написал, с любовью, о друзьях ведь писал. Лимон — о московских мастернях, пьянках и художествах, богеме, так сказать. Я тоже напираю на «быт», определяет который. И так хочется о тетке Таньке, что напишу еще, и о Анастасии Дмитриевне (?) — не Даниловна, часом? — я ее с павловской дамой всегда путаю. И о Егории, и о Толике — мелочей тут нет¹. Лева Халиф гениально рассказывает (в «ЦДЛ», он у меня кусками идет), как его в «Стреле» почтенная старая дама от кондукторов укрывала, причем пили коньяк и читали стихи. На перроне же — встречали — Ахматову. Ахматова и тетка Танька — тоже outlaws.

Об израильском архиве опишу подробнее, когда поедешь. А так — голландский консул в Москве взял свыше пуда рукописей с выданными титлами (на них автографы были, чтоб ребят не повязали, все нежные посвящения выкинул), велел спросить в Вене. В Вене ходил к мистру Гореву три раза, на четвертый обещал с автоматом. В первый раз Горев мне разъяснил, что есть русская и есть еврейская культуры, а русско-еврейской нет, во второй — предъявил мне письмо Опушки, изъятое из архива и попросил объяснений, на третий, когда я явился уже сам, чтоб не передавали никакой Эстер Вейнгер (она после первой же открытки замолчала), а мне, улыбулись и сказали спрашивать уже с нее. Вот четвертый год и спрашиваю. А она не отвечает. Проц. 90 прислала и молчит. И где потеряны эти 10 проц. — при пересылке, в архивах МИДа или самой Эстер — поди теперь разбери. Но они у меня заплатят, и круто. В романе. Который у меня, действительно, крутой. Эдик же — Лимонов, которого еб*т уже со всех сторон за роман, опубликованный в журнале «Ковчег», который после этого, вроде, прикрыли. Деньги на журнал давал Бокову, вроде, Посев, а Лимонова обвиняют во всех смертных грехах. Роман же, на мой взгляд, самый на настоящее время, после Венники Ерофеева, самый талантливый, трагичный и искренний. А от Эдика требуют гражданственности и чтоб без «порнографии». Мудаки. Ну, шолом алейкум, пиши. КKK

P.S. Хочу, как Нансен! Драму не дают. Коня, и того нет.
Ковбой КKK

* * *

12.6.1979

Привет!

Получил твое письмо от 1 июня. Опять же. непонятно. Кто такой господин Джон Боулт? Что такое «Антология советской патологии»? Кто такой Глейзер? (Это не тот, который Глезер — который поднимает тосты за гибель Синявского и называет Штильмана «жидо-большевистским человеком из Праги»?) Кто такая госпожа Зойка Афанасьева и госпожа Элида Дубровина?

И кто такой Горев?

Зерова пусти без удара: одобряю и санкционирую.

¹ Персонажи послесловия Кузьминского к статье Бена (см. ссылку в предуведомлении составителя).

Насчет Топорова — опять же, повторяю, никакого твердого убеждения у меня нет в том, что подозрения мои справедливы. Повторяю, что говорили. Может, и врал. Обо мне, наверно, тоже кто-нибудь такое говорил (а о ком не говорили? нет таких людей, небось, на святой советской Руси).

Насчет фото Татьяны Григорьевны, так я обнаружил у себя два. На том и на другом изображены Т.Г., первая васькина жена Шура и твой покорный слуга. Изображения делал Васька в бытность свою мужем Шурочки. Оба фото сделаны в Пушкине. Качество очень неважное: лавры Мэтью Брэди на Ваську не будут возложены. При переснятии и вообще ничего не останется. Я мог бы тебе прислать, но только если ты поклянешься страшною клятвою, что переснимешь и вернешь мне фото в целостности и сохранности, ибо они у меня — единственные, где изображена Т.Г.

Про «Ковчег» опять же ничего не знаю, и кто такой Лимонов — тоже. И почему роман крутой, тоже не знаю. Пишешь ты все загадками.

Но, тем не менее, продолжай и далее писать, пусть даже и загадками. Другие вовсе не пишут. То ли гордятся, то ли стыдятся. Не знаю, чем и чего.

А мы тем временем, использовав длинный уик-энд, побывали в славном, независимом, суверенном, свободном и национально гордом княжестве Лихтенштейн. Очень забавное маленькое государство на 20 000 человек, со столицей Вадуц, где живут 3 000. Красота страшная, и туристов — со всего света полным-полно, хотя еще пока не сезон. В стране нет безработицы, нет бедности и нет преступности. Полиция страны составляет 22 человека плюс собака. В местной тюрьме — четыре камеры. Когда в сезон отели полны, эти камеры занимают туристы. Одна полицейская машина, и никакой армии. Парламент, правительство, полиция и все прочие госучреждения помещаются в одном небольшом здании. Князь живет в другом — в замке на горе, откуда он, как гофмановский герцог, вполне может с балкона уронить табакерку в другое княжество. Зрители довольны, и все ездят на дорогах и обычно новых машинах. Очень приятно, что где-то есть на земле подобная страна (это уже — без иронии). И отличный филателистический музей — филателист бы умер от восторга или зависти.

Вот так-то. Засим пиши. Спрашивай. Запрашивай, если надо чего.

Грюсс Готт, и шалом!

Георгий Бен

Вкладываю тебе лихтенштейновский вид с замком «Шлосс Вадуц», в коем имеет жилплощадь Лихтенштейновский «фюрст». В свой замок гад фюрст посетителей не пускает. В Белый Дом пускают, в Букингемский дворец пускают, в королевские дворцы в Осло и Стокгольме пускают, в князь Франц-Иосиф II Лихтенштейнский брезгует. Ну и бог с ним, я его тоже к себе не пушу.

* * *

*The Institute of Modern Russian Culture
at Blue Lagoon, Texas* John E. Bowlf,
Director Konstantin K. Kuzminsky,
Head, Literary Practice Section
18 июня 79
Шер Жорж!

Серый ты человек, ежели знаешь все про Вадуц, и не знаешь про тех, кто упомянуты. Изъясняю: Джон Боулт (см. титло) — искусствовед, на 4 года

младше меня, мировая знаменитость по авангарду. Автор монографий о: теоретических работах футуристов, Кандинском, Малевиче, Мире искусств, десятков сотен статей, этсетера. Сведения — в любой библиотеке. Ученик Димы Сарабьянова из МГУ. Дима тут был, племянник Любови Поповой, что ли, и один из самых культурных людей России. Вроде Эткинда, и ровесник. Но зовет себя — Дима. Зав кафедрой искусств. Джон же — организовал наш институт, в регенты к нам напросились директор Метрополитен мьюзеум, директор Национальной галереи и прочая американская сволочь. Но хоть деньги и паблисити дают. Я же — заведу литературной практикой, т.е. живыми. Теорией заведует Майкл Холквист, структуралист, поклонник Бахтина, наш быв. зав. кафедрой. Историей — Сенька Монас, тоже быв. зав., который и вывез меня сюда, перевел и издал Зоценку, Мандельштама, Гумилева, еще чего-то про евреев (дело Бейлиса, что ли), поскольку и сам — Сенька Монастырский, отец — эмигрант 900-х из под Одессы, и отец и сын — оба умницы. Архитектурой заведует Милка Близнякова, выдворенная из Болгарии, специалист по русскому конструктивизму. Музыкой — Шпильман или Шпигельман, я не помню. Организатор какого-то оркестра, числится во всяких энциклопедиях. Архивом — Илья Левин, из Герцена, мерзавец, мой друг и трупоед. Вот и весь институт. Сейчас ищем покупать дом и землю, о чем споры — где покрасивше.

«Антологию советской патологии» я сделал с Гришкой-слепым и Борей Тайгиным в 62-м году, одновременно с первым полным собранием Бродского (второе и принесло ему, паразиту, славу — издано в 64 году в Америке, первая его книга). Антология же представляла поэтов 20, по стишку. Издал Боря Тайгин, в 3-х экземплярах. Разошлась.

Глезер — тот самый. А кто такой Штильман?

Зойка и Элида — Васькины бл*ди. Первая — царскосельская, вторая — союзовская. Стыдно не знать. В «Континенте» печатают. Зойка ошивалась у Т.Г. Переводила с польского.

Господин Горев — бл*дь мужеского пола в израильском посольстве в Вене. Заведует вновь прибывшими. То ли посол, то ли атташе. Но больше там никого не было. Это он, сука, вел со мной все дела касательно моего архива, и явно по указанию израильских властей не оставил никакого письменного свидетельства, все дела велись принципиально устно. Я пишу — в ответ звонок, или даже через третьи руки: передайте там Кузьминскому, чтоб зашел. Система знакомая, как в Союзе. До него, был, говорят, приличный человек, но его убрали.

Фото Т.Г. — поищу по сусекам, попрошу из Союза прислать, в крайнем случае — твои. Если пришлешь заказным — заказным же и вышлю. Но потребуется около месяца, пока я соберусь в Вако, к своему художнику: ценные материалы я ему не пересылаю, а сам привожу и увожу. Чтоб не в третьи руки. Так что шли. Гарантирую. Мне тут все равно надо ко 2-му тому много чего пересылать, тыфу!, переснимать.

«Ковчег» же, олух царя небесного, парижский журнал Коли Бокова, в третьем (и вероятно, последнем) номере которого напечатана гениальная до неприличия проза одного из лучших поэтов Москвы (а ранее — Харькова) Эдика Лимонова, которого собираю уже лет 12. Его даже Иосиф признал, представил в «Континенте». Ты что ж, и журналов русских и газет здесь не

читаешь? стыдно, Бен. Вадуц же, ко всему, еще и центр советской разведки — в сов. посольстве там больше работников, чем во всей Европе.

Твой ККК

* * *

25.7.1979

Дорогой друг!

Извини, что не сразу ответил, получивши твое последнее письмо: сначала занят очень был, а потом в Цюрих на несколько дней уехал, а потом опять дела... Сам понимаешь. Никакого оправдания мне, разумеется, нет, но опять же вся надежда на то, что повинную голову меч не сечет.

Спасибо за разъяснения насчет того, кто такой Джон Боулт и прочие упомянутые тобою личности. Сиднея Монаса я знаю — не лично, но по его работам, а также по рассказам упомянутого мною однажды профессора Фридберга, который Монаса, кажется, любит и ценит. Очень интересный у вас институт, и дело полезное. Даже поработать там захотелось. (Никоим образом не пойми это, как какой-либо намек на что-либо; ежели я захочу на что-то намекать, так я намекать не буду, а открытым текстом скажу).

А Штильман — это вот кто: он — чешский еврей, видный искусствовед — точнее, был видным чешским искусствоведом до того, как принял участие в Пражской Весне и в 1969 году оказался за границей (кажется, он живет в Австрии, но точно я не убежден). Так вот, этот Штильман организовал минувшей зимой в ФРГ выставку «некондиционного искусства» стран победившего социализма. Среди прочих, были приглашены принять участие в этой выставке и разные художники, выехавшие из СССР и живущие в разных странах. Многие из них спокойно приняли участие в этой выставке, и никаких скандалов не произошло. Однако скандал был в связи вот с чем (всю историю излагаю так, как ее излагали немецкие и французские газеты). Глезер и компания написали Штильману, что они отказываются принимать участие в выставке, если Штильман допустит на выставку какую-то группу художников, враждебную глезеровской группе (о какой именно группе шла речь, я сейчас забыл). Штильман ответил Глезеру, что дискриминации и цензуры он у себя не вводил: хотите, дескать, так принимайте участие в выставке, не хотите — ваше дело. В ответ на то Глезер, хоть и сам еврей, где-то в общественном месте назвал Штильмана ни мало, ни много как «жидо-большевистским человеком из Праги» (цитирую дословно: «юдише-большевиште манн аус Праг»). Можешь представить себе, какую отбивную котлету сделали из Глезера немцы, которые до сих пор не оправились от комплекса вины за «холокост». А в довершение всего Глезера взял публично и печатно под защиту Максимов¹. Вот такая, брат, процветает великая дружба в эмигрантских антисоветских силах: Максимов не разговаривает с Синявским (и всему составу «Континента» — в том числе и Васье — запретил). Вышеупомянутый Глезер, по рассказам (на этот раз, устным), опять же в общественном месте поднял тост за гибель Синявского. Светлая личность, а? (Кажется, такого себе даже Андропов не позволяет.)

¹ Владимир Максимов (1930, Москва — 1995, Париж) — русский писатель, основатель журнала «Континент».

А на Израиль ты зачем обижаешься? Если даже господин Горев и проявил себя, мягко выражаясь, не лучшим образом, то при чем тут Израиль? Если не лучшим образом проявит себя американский чиновник (разве такого не может быть?), не будешь же ты скопом ругать всю Америку. Почему же к Израилю такое отношение? В Израиле, увы, хватает и бюрократов, и идиотов, и жуликов, и негодяев, и такие люди обычно более на виду, чем порядочные люди (которых, может, гораздо больше), но ведь такое же положение в любой без исключения стране. А ты еще, небось, должен вообще за Израиль вечно бога молить: ведь, наверно, по израильской визе ты выезжал из СССР? И без этой визы ты (как и многие другие) вообще еще жил бы под сенью бывшей сталинской, а ныне брежневской конституции. Я знаю, сейчас очень модно ругать Израиль (и делают это большей частью люди, его на грош не знающие, вроде госпожи Выверни), но зачем же тебе присоединяться к этому недостойному хору?

Насчет Вадуца ты что-то путаешь: там вообще нет советского посольства. Там есть только одно посольство — швейцарское, — а интересы всех остальных стран представлены в Лихтенштейне посольствами этих стран в Швейцарии. Что же касается «Ковчег» и Лимонова, то, устыженный тобою (и справедливо), я принял меры и навел справки: и в результате мне буквально на сих же днях обещали представить на суд вышеупомянутый журнал с вышеупомянутым опусом на прочит.

А что до «Континента», то он для меня не самый главный авторитет. Как тебе нравится, например, откровение Максимова о том, что Киссинджера и Пальме следует судить и повесить по приговору нового Нюрнбергского трибунала?

Вкладываю в это письмо две фотографии, на которых, в частности, есть ТГ. Фотографировал Васька — кажется, в 1960 году. Едва ли ты что-нибудь сумеешь из них сделать, но на всякий случ. посылаю. Еще раз убедительнейшая просьба: как только нужда в этих фотографиях отпадет, вышли мне их заказным письмом.

На этой странице ты видишь копенгагенские «мemento» — в частности как я деру бороду какому-то средневековому датскому королю. А также вкладываю другие скандинавские фотографии, чтоб тебя развлечь.

Будь здоров, и пиши!

Вечно твой:

Георгий Бен

* * *

*The Institute of Modern Russian Culture
at Blue Lagoon, Texas* John E. Bowlf,
Director Konstantin K. Kuzminsky,
Head, Literary Practice Section
Aug. 3rd, 79

Jora, huy s nim,

чуть не начал писать по-англицки. Обезлошадел я тут, первый том здавши (зри письмо прикладенное), усмотрел, что — не по силам ай-би-е-его мать ленту держать, перешел на антику. Тем боле, что сучий сын художник мой, с пи*дателя 600 запросил (это при том, что я о 2000 молчу — но я

человек еще не западный). Оттого и приходится печатать на этом: положил себе зарок ленту до начала 2-го тому не покупать, потому что, Жора, пришел на меня очень большие расходы, а доходов у моей жены 500, из них же на машинку и на пр., других же никаких, токо я не жалуясь, просто в России и жениных не хватало, а здесь все получше. И у меня иногда бывает.

Так вот (дурак же я, ей-ей!) писать надо было на оборотной стороне издателя, но излагаю и так: в восторге от 1-го тома (в ем, напоминаю, 6000 — нуль перепечатал — 600 стр, 40 поэтов, 60 статей — предисловий, 97 фоток — а? а за границу писать — по страничке можно вкладывать, потом и вложу). Словом, принял. Пустит — в этом году. Касательно тетки Таньки. Солнышко, спасибо, хучь ху*вая тетка, но и из нее чего выжму (тебя придется обрезать и — одну из Васькиных жен?) Тщусь поиметь лучше, снимал ее Птишка, фотограф н у м е р о у н о в в Питерсбурхе по моему заказу, но когда расчешутся???

Фотографии же — заметь — из рук не выпущу (предыдущую порцию сам в Вако возил — знаю я этих фотографов), то есть — часть они крови и плоти моей. Верь мне, Жора. Я в них зубами вцепляюсь. Отсниму — отдаю.

Я же вывез архив — свыше 3-х (тысяч, это в скобках, не то что в кавычках). И вцепились же, падлы! По мясам выдирали. И пока что — не все...

Уж твои — не отдам. Будь покоен. Привезу, пересниму, увезу.

Из одной — можно сделать.

97 редчайших фоток из моих, Виньковецкого, Шарымовой архивов (Лившиц друг — а, гад, не доверил!) — все их в Вако свозил (а машины же нет, на чужой), отснял их мой друг, художник, а потом заломил... Я уж тут пошатнулся: не мог я к калмычьему племю привыкнуть: американец ведь, чать? Но — берет не по русски. Я ж с нее — ничего не имею. Исключая расходов, под тысячи две. Но ведь нужно же сделать? И делаю...

Напиши ты хоть мне, попрличней, почеловечней, о Ваське, о Галке, о Саше — кто же может, как ты? Ну, о тетке Таньке пристало писать академично (хотя я бы не стал — и не стану! — напишу — как любил: человечку!), а вот ты вот, хотя бы — об оных — не можешь?

Подыши, напиши!

Ведь отколетя нам же в потомках, ведь, Жора?

Я пишу — как дышу. Иногда с перегаром.

Иногда — попостнее.

Пиши!

Обнимаю, целую.

Фотографии в целости. Есть и будут. КК

P.S. Васька — редкостный мудака! Тиснул меня без согласия в Континенте (х*йно какую-то), а когда я им возражение написал — на меня же и накинуся. К.

* * *

3 сентября 1979 г.

Привет!

Получил твое письмо от августа третьего сего года. Рад слышать, что первый том ты сдал и надеюсь, что получу его вскорости с трогательной твоей дарственной надписью. Когда он выйдет из печати?

Меня из татьяны-григорьевниных фотографий, пожалуйста, если нужно, спокойно вырезай. Я не гордый. А уж васькиных жен — так и тем более вырезай, сам бог велел!

А почему у тебя машины нет? В Америке же (как, впрочем и в Германии) купить ее — как говорится, раз перепихнуться. Подержанная машина, на которой вполне можно ездить — а ежели только по городу, то даже и без больших ремонтов,— тут можно купить марок за пятьсот. Когда я был в Америке, я купил (в 1974 году) «форд-галакси» 1967 года за двести долларов, и ездил я на ней безбедно полтора года, на ремонт за все это время извел не более ста или ста двадцати долларов, да потом еще эту «джэлопи» продал за сто долларов, когда уезжал. Сейчас, конечно, такую машину за две сотни не купить, но за четыре, наверно, — точно можно. Заверяю тебя собственным опытом, что машина очень-очень сберегает и время и деньги. Кстати, когда я купил и потом эксплуатировал свой «форд-галакси», мой заработок составлял примерно сто долларов в неделю. И ничего: не только не разорился и с голоду не помер, но даже на этой машине по Америке разъезжал, всю страну проехал от Калифорнии до Вашингтона, а потом еще сделал несколько крупных путешествий, в мотелях останавливался, в ресторанах жрал. Так что — послушай доброго совета: немедленно купи машину. Как поют в Израиле: «Амехонит шельха ля коль амишпаха» (в переводе: «твой автомобиль — для всей семьи»). Это есть такая рекламная песенка, которую часто поют в роликах перед киносеансами.

Что тебе написать «поприличней, почеловечней» о Ваське, о Галке, о Саше? С Васькой, возможно, отношения мои закончены. Дело в том, что я в письме упрекнул Ваську за некритически восторженное отношение к Максимову, а Вету (в том же письме, направленном не ей, а Ваське) — за некритически ругательное отношение к другим вопросам. В ответ Васька прислал мне довольно добродушное, хотя и сдобренное матом письмо, где спрашивал, что я имею против Максимова. А Вета одновременно прислала мне хамское, злобное и крикливое письмо-инвективу, где не было ни одного аргумента, одна лишь площадная брань. Я ответил им обоим: каждому послал отдельно корректнейшее письмо, где, как мог (убедительно ли, нет ли — другой вопрос), изложил свои аргументы. В ответ я не получил ничего. Видимо, они махнули на меня рукой. Мне известны случаи, когда Васька прекращал отношения с людьми (да и не только он, а и другие из максимовской команды) только потому, что эти люди без восторга относились к Максимову; а Максимов в таких случаях приказывает своим ребятам порвать отношения с той или иной личностью. Не знаю, так ли именно обстоит дело в отношении меня и Васьки, но, как говорится, факт на лице: ответа ни от Васьки, ни от мадам Выверни я не получил. Если добавить к этому, что я успел если не подружиться, то завести хорошие отношения с Синявскими, а также еще с парой людей, которых Максимов на дух не переваривает (и это, возможно, стало известно моим парижским знакомым — я, впрочем, не делал из этого тайны), то я предполагаю, что Васька теперь перестанет вести со мной знакомство и откажет мне от дому. Впрочем, это пока — только гипотеза, так что не ручаюсь за ее истинность.

Так что, возвращаясь к твоему вопросу: ну, что мне написать о Ваське? Я о нем мог бы написать немало плохого — но не сводить же мне с ним на бумаге личные счеы. Мог бы я о нем написать и немало хорошего — но

панегирики ему, без упоминания его недостатков, я тоже писать не хочу. О Галке писать и вообще нельзя, пока она находится в России (насколько мне известно, она в диссидентах не ходит, своих сочинений за рубежом не публикует и не давала разрешения разным клеветникам — эмигрантам, вроде меня или тебя, ее хвалить). То же самое можно сказать и о Щербакове. Он со мной попрощаться побоялся, когда я заявление в Израиль подал; он меня бочком-бочком стороной обходил, когда пару раз меня встретил в период моего подаванства, ты ж понимаешь, какой он диссидент! Я это говорю, упаси бог, ему не в поношение: может быть, на его месте я и сам вел бы себя так же! Да и кого можно ругать за то, что он, собираясь оставаться и делать карьеру при советской власти, этой самой советской власти побаивается? Но факты, как сказал то ли Гегель, то ли Лукич, — это вещь упрямая, и против них не попрешь.

Очень, впрочем, жаль, что ты живешь за тридевять морей: было бы приятно об этих и многих других темах побеседовать с тобой лично. Может, все же выберешься в Европу? Я в Америку раньше чем через года два не попаду (да и это еще вилами на воде писано), а если я и попаду в Америку, то бог весть, доберусь ли до Техаса. Знай, однако же, что ежели ты доберешься до Мюнхена, то на отель тебе тратиться не придется: у меня есть очень мягкий диван, на котором отлично можно спать. А ежели ты хочешь в принципе побывать на Святой Земле, то мы можем свидеться там: мы собираемся туда на побывку будущей весной. Кстати, ежели будут у тебя туда поручения, имей в виду. Но лучше бы ты попал сюда, и мы бы с тобой выпили знатного баварского пива, как это делается на прилагаемой иллюстрации.

Итак, будь здрав.

И пиши. Ежели чего надо стесняйся спрашивать — и просить.

Всего наилучшего, горячий привет супруге и от супруги.

Георгий Бен

* * *

The Institute of Modern

Russian Culture

at Blue Lagoon, Texas

John E. Bowlt, Director

Konstantin K. Kuzminsky, Head, Literary Practice Section

10. 9. 79

Жжора, ззараа! Учишь мя жжить? Я — 2 машинны имел. Одна — ходила — раком (к чему я никак не мог привыкнуть), вторая — осталась мехнаниху. Жена — не водит, я — вечно пьян, как — ездить? А ты меня учишь (какие штаны надевать на лекцию Эткинда!) Я — к тетке Таньке — мог вообще без штанов явиться. Что — не делал. Ты — человек практичный, я — непрактичный. Вместо машины за 250 — купил эту машинку за 1000. Отчего — денег не остается (при жениной зарплате — 5 000, и моей — 0.) Отчего — истратил на эту антологию — 3 000. И — н и к т о не помог. А я — еб*л. Я запил, сдав 1-й том, и — пью. По 8 долларов в день. Поскольку — пью самое дешевое пиво. А ты — машину?

У меня отродясь в Америке — не бывало по 250 сразу. Бывало и побольше, но — долги — превышали. Вот сейчас — получу 500 с телевидения — а я уже съел их под корень.

Поэтому — живу без машины. Как ты выкроишь — 250, когда — их то, 250, ежемесячно, и не хватает? А я — жить не умею. Я — гений.

Поэтому — и плачу за все фото пересъемки, не считая печати, которую делаю — тоже Я. Не хочу я жить, Жора, как ты. Это вы с Эткиндо живите. А я — как я. Без.

И вырежу тебя из тетки Таньки. И допишу — за Галку, за Васю, за Щербачкова. Прав — мне никто не давал. Кроме прва — дружбы.

А машины у меня нет — потому что денег нет. Все на стихи ваши трачу. И буду!

Еб*л я «Континент». Они меня без спросу (Вася!) напечатали, теперь я возражаю. НЕ печатают! А Виверни я — еб*л. И не один я. Ваське же (на его хамское письмо, с описанием благодеяний — кои я ЕБ*Л!) написал. Оне — обиделись. И ни в одной свободной прессе — не печатают. Всю «переписку» — включу в антологию! Моя! Что хочу, то и делаю. Хочу — тебя печатаю (с комментариями, за Егория, за Толика и прочих). Но — с коммнтрми, потом!

Ты — слишком мягко, акадеимично, я тебя — ни на слово не изменю, но свое — допишу. А что я, права — не имею? Я ж тетку Таньку — знал. Имеет простой советский человек право, или — не имеет? Имеет прво простой советский кузьминский (или бен) — без штанов на лекцию Еткинда — явится? Или — Еткинд — мудака? Я ж его за галстухи — не ограничиваю?

Хочу сказать за тетку Таньку, и за Галку, и за Щербачка. Право имею. Право — д р у ж б ы. Отмотаются. А ты Жора, от меня — отмотаешься? А куда ты, падла! денешься? От нашего разговора за Маршака на Марсовом поле? Жора, никуда ты не денешься. И поскольку ты, по сравнению з Васткой (де Гаммой), вумный человек (а твои переводы — мне нравятся, хоть и предпочитаю — и м о и м! — Сашины), но Ты работал за совесть, и поэтому — не шлю тебе — мерканскую халтуру, кояя вынужден — выдавать (деньги сейчас ишу), а потом буде и в рифму (кою никто здесь не умеет — будут деньги — пришлю свои почеркушки!).

Главное — Васька: ишак. Терпеть (и любить) можно было только — в Рлссии. А тебя — хоть и терпеть не могу, ноь — уважаю и здесь. Понятно?

Васька же — а профессиональный мудака (что, впрочем, не умаляет его человеческа качеств). Виолетта же (по сравнению з Галкой) просто — бл*дь.

Я устал, Жора. Цинтию яб*т. Мне — худо. Но — материалы — ШЛИ!

Прощай пока. Объяснимся. ЕКККК.

P.S. Пардон за очень (неразборчиво)

Ну совсем мужик в маразме.

Жора, хочу извиниться за моего несуразного муженька... поскольку и мне поклоны шлются в каждом вашем письме. Да, это огорчительно, что он... запил. Но это уже не страшно мне, т.к. то, что мы пережили и год тому назад, я думаю, уже не вернется. Хотя, в общем-то, мало что изменилось с того ужасного времени. Ну, шок, ну, депрессия, ну... у всех она поголовно, у русской эмиграции, заметьте (нет ее у англичан там, ирландцев...) А

было собственно что: полная безнадега, полная ясность ненужности здесь, на Западе таких людей, как Костя. Ну, кому нужен русский поэт Константин Кузьминский? Ни поклонников, ни чтений... Ничего... Но и это не ТО самое ужасное. Если его мечта, его идея-фикс сделать антологию 50-х — 80-х годов (поэзию и прозу), ну никому это не нужно. Тому же «Континенту» 3,5 года назад дадена была в Париже (самому В.Максимову и Марамзину) подборка ленинградских поэтов (замечательная, надо сказать, исключая К. Кузьминского), то теперь уже определилось лицо этого журнала, и понятно, что той литературной мафии, что засела в «Континенте» — это н е н у ж н о. А вот, что касается моего мужа, то я хочу в двух словах изложить то, что из его писем никто ничего не поймет. Оба мы, и он и я — непутевые люди, в том смысле, что всем трудно на Западе, а нам еще и труднее и противнее. У всех ломка, там языковые барьеры. У меня, к примеру. Только после 3-х лет вообще рот раскрыла, и удаюсь, огорчаюсь над каждой своей ошибкой... а потом плюну и вообще перестая говорить. Я и по-русски-то терпеть не могу говорить. Ну, работа была всю жизнь, почти на одном месте (19 лет), вначале техник-архитектор, потом, последние 7 лет самостоятельной работы — проектирования и строительства этих же объектов, т.е. с авторским надзором, от 60 руб. — до 180 рублей. И ни разу не просила прибавок, сами давали. Вообще для себя — рот открыть не могу. Работала среди молодежи, великолепных, талантливых архитекторов. Всю жизнь в работе. Но это было весело, интересно... И вот теперь тут. Попробовала было раз 5–6. На интервью надо говорить о себе что-то, я не могу, краснею, заикаюсь, расплакалась даже однажды. А уж какое напряжение, какая трепка нервов. У них тут в Америке кризис и в архитектуре. Тут — тоже мафия своя. Есть и знакомые архитекторы. Но они, зарабатывая по 2–3 миллиона в год, меня взять в чертежники не пожелали на 500, хоть им и объясняли, что мол 19 лет опыта... Теперь я уже не огорчаюсь. 2 года работаю уборщицей в музее при институте. Чистыми — 500. Очень трудно стало в последнее время. Дом наш продали, пришлось искать новое жилье, вблизи ин-та. А это на 100 дороже, да еще все подорожало на 25–30 %. А вы советуете машину. Знаем прекрасно, что надо, уже намучились достаточно. Но на что? На эти 500 долларов можно жить очень экономно. I.V.M.!!! Теперь своя. И вся антология — всё всё на наши 500. Доходов никаких больше. Я решила бросить к черту эту арх-ру вообще. Работа у меня спокойная, место прекрасное (чищу серебро 18 века, английское, и чашечки китайские), люди очень милые, перевозку им дневники Нижинского, купил тут один старый хрыч — бешено богат, увлекается художниками «Мира искусства» и купил дневники (оригинал!!!) Нижинского! Здорово! Думала ли я, что увижу их когда-нибудь. А вот щупала, читала. Сейчас я должна Косте помогать сделать эти 5 томов Антологии, а потом и повеситься можем. (Да, все было, хотели и руки на себя наложить, т.к. понимали, что мы катимся в пропасть. Но спасла нас наша любимая борзущечка, чистокровная борзая из Москвы. Так ее-то убивать ведь нельзя, такую красотулю. Вот и тянули, гнили 3 года этой никчемной страшной жизни. Ну, и не можем мы так быстро адаптироваться в новой стране. Едим — сладко, спим — мягко, все думаем о тех, кто там. Так вот и сходим с ума помаленьку. Если бы не наш директор, который любит нас очень (т.е. J.E.Bowl), меня и Костю. И помогает нам всячески. Коку ценит за его бесценную голову. Но теперь мы верим, что все об-

разуется. Ин-т есть, люди в нем — таланты или специалисты хорошие. Годика через 2–3 и фонды найдутся, а там может и зарплата будет Коке. Вроде бы ничего не изменилось, все то же, а настроение у Коки — другое, рабочее. А что муза его, Цинтия, там изменила, вот и запил дня на 3–4 — ну недельку. А там опять вернется к антологии своей.

Спасибо за приглашение приехать в Мюнхен. Но теперь вы понимаете, что мы нищие, такие же, что и в Питере были, а не америкашки новоиспеченные. Верьте, Костя большим делом занялся, а в каком костюме ему Эткинда встречать, пусть сам решает, моих советов он слушать не будет. А то тут на-днях наши преуспевающие компьютерщики (что имеют в м-ц 2–3 тыс.) посоветовали Косте в электромонтеры пойти учиться... Вроде народ грамотный. Книжки покупают и ставят на полки.

Советов Костя не любит. Очень от того и запил, от их советов. И так трудно, а они с советами. А на них мы уже не обижаемся. Пусть живут — Америке компьютерщики нужнее, чем поэты.

До свидания, за сим прощаюсь, и еще раз извиняюсь за некоторые инвективы, и излишние мои эмоции.

Эмма

13 сентября 1979 г.

(Марок вот не было, оттого и не отослано письмо)

* * *

The Institute of Modern
Russian Culture
at Blue Lagoon, Texas
John E. Bowlt, Director
Konstantin K. Kuzminsky, Head, Literary Practice Section
okt. 11. 79

Cher herr Jora,

ох*ел, что ли, бешеный? Вдруг — ко дню Колумбуса — получаю торт!

Спасибо! Тут же институтом его и уели. Присутствовали: г-н Илья Левин и Mr. Bowlt. Торт — вполне в австрийском вкусе. «Вспомнил тихую Вену...» Ведь я там, Жора, можно сказать, лучшие дни провел свои: в кафешках и маленьких шнапсовых, где пил сливовицу... Этак, ностальгически, напомнил. Спасибо.

Антология наша — рекламируется вовсю. Сейчас в Нью-Хэвене конгресс славяки — все стены обклеены, и помимо. 1-й том должен выйти по этому году.

Со вторым, где ты: твои фоты держу в резерве, заказал классные через Юлию. Статью же придется не «переписывать» (автора — чту), а — «дописывать», в своем штиле. Отдельно. Придется писать подробно о школе перевода, которую знаю лишь — понаслышке. Ну, попробую. Не привыкать. С фотографиями опять же — не помещать же одного тебя! Или даже с Васькой. Остальных-то — нет. Да ладно, пусть переводчики будут безликие.

Вообще-то, задумалось у меня (с Левиным, лежа в Голубой лагуне) в 5-м томе дать о переводе поподробней. И переводы. И оригиналы. Зависит от Юлии — если достанет Петрова и тетки Танькины, и Азадовского — 15 лет тщетно ищу его гениальный перевод «Песнь о любви и смерти корнета Марии Рильке»... Словом, наиболее яркие. Сашу дам — «Гарлемски-

ми девочками» (где? нету ли копии?) и Тарбормотом. Галку... Галки нет. Бекаку дам «Вороном» и еще чем из По. Тебя? Посмотрю по сборничку. Ты переводчик сухой, безэмоциональный, классичный, тебя — трудно. Все хорошо, но ничего не выпирает. Петрова же надо его безумным Бернсом. Понимаешь идею? Не — просто классный перевод, а перевод-сотворчество, с изюминкой. Что-нибудь этакое. Но это еще есть время подумать.

Пока — допишу то, что ты опустил: про фонари Егориевы¹, про тетки Танькину достоевщину, про Толика, про жизнь, про Анастасию Дмитриевну (?). Я — натуралист. Юннат, словом. Так и пишу. Как лисичка какает, как мышей ловит, любит.

Про наши шуточки допишу. Или — это для 5-го тома? Не знаю.

Словом, Жора, работай ушами, мозгами и прочими. Что и как еще делать?

Что делать с Васильевым? Пуцать?

За «тех, кто там» — не беспокойся. Тут уже столько всего переписано, что ГБ не хватит расшифровывать. Много народу.

Шмакова вот не могу, сукинова сына, вычислить. В Нью-Йорках. Топоров у меня тоже в 5-м томе будет.

Пожалуй, для 2-го — ограничусь твоей статьей с моими комментариями.

Понимаешь, тетка Танька у меня с двумя томами связана: с петербургской школой (2-й том) и мальчишками (4-й). Как ее разорвать? Да еще — с 5-м, с переводом. Но 5-й у меня — дополнительный. Туда войдут барды, газетные фельетоны (найти надо!) о нас, не вошедшие авторы, перевод, словом — ассорти. Библиография тоже.

Словом, работаю и думаю. Запиваю тихо, один, на пиве (поскольку ликерный магазин далеко), высасываю по 8 кварт в день «Миллера» (пахнет мочой и конюшной, «Жигулевским»), поплю недельку, отблуюсь и за работу. Директор не пьет, а Илья — буржуй. Ему водку подавай, да под соответствующую закуску. Я же привык к бормотухе, чернилам, биомиицинику, алжирскому, розовому крепкому — словом, читай у Венички. Калифорнийское очень напоминает!

А вообще, Жора, жизнь течет, и мы тоже.

Стиль же у меня общий с: Юзом Алешковским, Веничкой, Халифом, Лимоном, Милославским, но — СЛАВА БОГУ — не с Эткиндо. Понимаешь, Жора, я, в отличие от тебя и Ефим Григорьяча — outlaw, untouchable, почему меня тетка Танька, со своим лагерным прошлым, так и приняла. ЦК.

Твой Голова. КК

* * *

31.X.1979

Дорогой друг!

Каюсь, бью себя в грудь, посыпаю голову пеплом, стираюсь во прах! Получил я твое письмо от 10.IX. 1979 уже давно, да все как-то не собрал-

¹ «... Прихожу как-то к Гнедич — фонарь здоровенный под глазом. Не сама же? «Вы говорит, понимаете, Константин Константинович, я любила другого, а он меня — спас. И теперь я должна...» Достоевщина!» (из предисловия Кузьминского к статье Бена, см. ссылку в предупреждении составителя)

ся ответить; а тут намедни второе твое письмо, от 11.X.1979, пришло. Ну, и я, устыженный, сажусь за машинку и незамедлительно отвечаю тебе, отложив все прочие заботы и дела.

Упреки твои в мой адрес (насчет того, что «учу тебя жить»), наверно, справедливы. Что делать? Опять же, какось и прошу прощения.

Насчет того, что, как ты пишешь, «Континент» тебя напечатал без спросу, а твои возражения печатать не захотел, и ни одна свободная пресса тоже не захотела. Насчет всей свободной прессы я не знаю. Но ежели ты захочешь (и ежели тебе это не покажется слишком провинциальным и недостойным тебя явлением), я готов поручиться, что напечатаю тебя в нашей израильской прессе — русскоязычной разумеется (с ивритоязычной прессой я и сам не знаком). Что хочешь напечатать? Стихи? Прозу? Посылай все ко мне, и через месяц-другой это будет напечатано.

А, кстати, это идея! Надо тебе сказать, что я тесно связан с журналом «Круг», выходящим в Тель-Авиве. Не хотел ли бы ты дать в этот журнал для израильских читателей свои стихи или прозу? Ручаюсь, что отнесемся бережно, исправлять в твоих стихах будем только опечатки. Или, может быть, ты готов в эпистолярном виде интервью дать? Все-таки, как никак (если верить данным «Посева»), в настоящее время в Израиле из всех стран самая большая русскоязычная читающая публика за пределами СССР. Так что, правда, дай стихи или прозу! И пришли свою фотографию (можешь хоть в моменталке сделать, это сойдет). И могу про тебя хвалебную статью написать и в том же «Круге» напечатать, если дашь материал. Ручаюсь, что, прежде чем послать эту статью в «Круг», вышлю ее тебе на цензуру и дам «карт бланш» вычеркивать и вставлять все, что захочешь. Или, ежели не доверяешь, сам про себя напиши. Можешь в третьем лице, под псевдонимом. Можешь в первом лице, под своей фамилией. Ну, как? Большого гонорара не получишь, но скромный гарантирую — хватит на то, что неделю пить или — на выбор — полнедели есть. Словом, совершенно серьезно тебя призываю начать сотрудничать в «Круге». Материалы можешь послать мне. И в любом случае пришли к стихам (или к прозе) про себя краткую биографическую справку — когда и где родился, где учился, ну, и так далее — сам понимаешь. Итак, жду. По ряду причин я кровно заинтересован в процветании и обынтересивании «Круга», так что не по ленись, пришли что-нибудь. И ведь не особо писать нужно — пришли что-нибудь из стихов или прозаических вещей, которые уже написаны.

Теперь — насчет Галки, Щербакова и прочее. Тут ты, пожалуйста, поосторожнее. Они все-таки в Советском Союзе живут, под советской властью ходят. Я бы об этом и не писал (западная свободная жизнь заставляет забывать постепенно атмосферу нашей доисторической родины), но тут произошел эпизод, который мне об этой атмосфере напомнил. Слушай.

Есть (точнее был до недавнего времени) в городе Петербурге человек мой близкий друг, врач по профессии, некий Иосиф Григорьевич Фридберг, называемый в просторечии Люстиком (этимологию этого диминутива я тебе объяснить не могу). И вот этот Люстик (которому сейчас примерно 50 лет) недели три тому назад вылетел из Петербурга и в настоящее время находится в Израиле. Когда он проезжал через Вену, я, специально туда поехавши, его увидел и поговорил «за жисть». И среди прочего он рассказал мне одну историю и дал поручение. История и поручение касается Щербакова и Васьки.

Дело в том, что у Люсика есть родной брат, также и даже в большей степени мой близкий друг, называемый официально Леонидом Григорьевичем Фридбергом и в кругу друзей носящий подпольную кличку Фриц. Этот Фриц в последние четыре-пять лет близкий сдружился с Щербаковым (знакомы они и раньше были, но тут произошло более тесное сближение между ними). И вот Щербаков, узнав, что брат Фрица отбывает за пределы социалистической родины и, по всей вероятности, увидит меня, — так вот, Саша Щербаков попросил Фрица, чтобы тот попросил Люсика, чтобы Люсик попросил меня написать Ваське или увидеться с Васькой и передать Ваське следующее. В относительно недавнее время Щербакова неприятно таскали в КГБ и спрашивали его о взаимоотношениях с Васькой и о прочих подобных вещах. Поводом было то, что Васька сделал радиопередачу частично о Щербакове, и в этой передаче охарактеризовал Щербакова как замечательного человека и своего — то есть, васькиного — единомышленника и отличного переводчика, переводящего с антисоветским подтекстом.

Во всяком случае, так Щербакову изложили содержание этой передачи кагебешники (сам Саша передачи этой не слышал). В результате, в конце концов, все, вроде бы, обошлось; хотя Щербаков не получил повышения по службе, на которое, кажется, рассчитывал. Но после этого Щербаков, повторыю, попросил Фрица, чтобы тот попросил Люсика попросить меня написать Ваське и попросить Ваську никогда, ни при каких условиях, ни в печати, ни по радио не упоминать о Щербакове ни добром, ни хулой. Я уже тебе рассказывал, что моя переписка с Васькой была прервана, ибо он весной не ответил на мое письмо, а позднее — летом, — находясь на Бодензее, то есть в полурота часах езды от Мюнхена, и сделал никакая попытка встретиться со мной (либо приехав в Мюнхен, либо пригласив меня на Бодензее, — что я мог бы сделать без труда даже на выходной). Так вот, несмотря на прерванную переписку, я все же неделю тому назад написал Ваське, где изложил ему все, что передал мне Иосиф Григорьевич со слов Щербакова. Ответа от Васьки пока нет. Впрочем, времени прошло мало: может, он на этот раз и ответит.

Но я это рассказываю не к тому, чтобы сообщить о Ваське, а к тому, чтобы намекнуть тебе, что ты поосторожнее пиши о Щербакове, Галке etc.

Кстати, интересует ли тебя такая вещь, о которой я сейчас изложу. В городе Хайфе, на горе Кармел, в Израиле, находится монастырь «Стелла Марис», и в нем живет католический монах по имени патер Элиас. С этим монахом — умнейшим, надо тебе сказать, человеком — я познакомился года три тому назад, и сейчас даже переписываюсь. Ему лет шестьдесят, он родом из Южной Африки, по образованию врач, во время II мировой войны был врачом в Британской армии, а после войны ушел в религию, получил религиозное образование и с 1954 года живет в монастыре в Хайфе. Между прочим, он знает дюжину языков, в том числе иврит, и в Израиле, помимо монашества, стал крупным археологом, историком и переводчиком. Он перевел на английский язык нескольких израильских поэтов, и сам пишет очень приятные стихи на английском языке. Я некоторые из его стихов перевел, кое-что было напечатано в русской прессе в Израиле. Не хочешь ли и ты где-нибудь в своих изданиях его напечатать? Или это — не по профилю?

Теперь насчет замечаний из второго твоего письма. Я нисколько не буду обижен, если моего фото не будет в твоём издании. Фамилия-то будет, надеюсь? И ежели у тебя какие-то трудности с информацией о «школе перевода», как ты пишешь, или еще с чем, то спрашивай, не стесняясь.

А почему ты пишешь, что «Галки нет»? Ее переводы есть, в частности, в сборниках стихов Хьюза, Байрона, в «Поэзии Австралии», еще где-то. Или у тебя нет этих книг? Могу тебе прислать из них тексты.

Если ты хочешь дать «перевод сотворчество», «с изюминкой», то из Васьки советую дать его перевод стихотворения Мейсфилда «На пуантах». По-моему, это как раз то, что тебе в этом смысле нужно. Перевод этот — кстати, совершенно блистательный — нигде, насколько мне известно, не напечатан, но Васька тебе его, наверно, охотно пришлет.

Что касается меня, то, конечно, хозяин — барин, и не мне управлять пером антологиста. Но, по-моему, из меня мог бы ты взять Кипплинга («Бляхи», например, «Пиктов» или «Мир так хорош»), или Хенли, или, например, «Ливадию» (хотя, правда, ты моего Суинберна не любишь), или Огдена Нэша... Впрочем, не хочу ни на чем настаивать: знаю, что со стороны такие вещи всегда виднее.

Что же до Володи Васильева, то взять что угодно из его напечатанных переводов; а тут раздолье полное, он печатался немало — начиная от маленького перевода из Мюссе в 1958 году и до испанской эпиграммы, выпущенной в 1972 году, и в промежутке (да и после) — латиноамериканцы разные, Вальтер Скотт (очень, кстати, хорош его перевод скоттовского стихотворения «Арфа» и охотничье песни), Верлен, Бодлер, эт-сетера, эт-сетера.

Не знаю, что ты находишь у себя общего в Милославском. Он же — прохвост и лгун. Нужно объяснять, почему, или сам это знаешь? Веничку (если имеешь в виду Ерофеева) и Халифа я уважаю (не лично, ибо в лицо отродясь ни того, ни другого не видел, а по трудам и отзывам).

У нас все спокойно. Съездили в Италию, побывали в Болонье, Флоренции, Пизе, Лукке, проехали по красивейшим горным дорогам северной Италии. Красота всюду неопиcуемая, а уж Флоренция — это вообще Олимп, тут никаких слов нет. Вкладываю тебе открытку с изображением флорентийского собора «Иль дуомо делла Мария деи фьори» и фотографию с видом Пизы — фотография сделана с высоты той самой падающей пизанской башни.

И еще одно. На обороте твоего письма от 10.IX. 1979 твоя жена приписала несколько строк. Я ей отправляю особый ответ, который вкладываю в этот конверт. Передай его ей, не читая предварительно. Ежели она захочет, она сама тебе его покажет. И еще — самые ей мои наинижайшие поклоны и самые пламенные приветия и самые наилучшие пожелания.

Засим — шалом и откланиваюсь. Жду ответа: не бери пример с меня, не откладывая ответ в долгий ящик. А я тоже — обещаю исправиться.

Будь здрав, и благодарю!

Твой недостойный друг

Георгий Бен

* * *

31.X.1979

Дорогая Эмма!

Большое спасибо за письмо, написанное на костином письме, и еще большое спасибо за разъяснение некоторых вещей, которых из костиных излияний не понять. И извиняться за него не нужно. У него, конечно, есть свои недостатки (а у кого их нет? У большинства людей, не исключая и меня, не-

достатков, может быть, куда больше, только эти недостатки другие и не прущие в глаза — но зато, может статься, недостатки куда более опасные), но я его нежно люблю и искренне уважаю. И не надо ему идти в электромонтеры. Конечно, Америке компьютерщики нужнее, чем поэты (как, впрочем, и любой стране) — тем более, поэты, пишущие по-русски. Но я лично (может быть, неразумно) считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ежели у человека свое дело — это компьютеры, то слава богу, или, как говорят в Израиле, кол акавод (в приблизительном переводе «совершеннейшее почтение»). Но ежели человека судьба к компьютерам или к электротехнике не расположила душой, то и не надо над судьбой совершать насилие. Мне было бы, например, худо, если бы я пошел торговать фалафелями или сидеть в банке (при всем том, что я вполне уважаю и торговцев и банковских служащих: и те и другие — люди, полезные обществу и нам лично, и они могут быть замечательными людьми). Если так уж случилось, что даже моя профессия и в Израиле мне приносит и в Германии приносит удовлетворительный жизненный уровень, то слава богу. Но если бы не приносила, я все равно не пошел бы, повторяю, фалафелями торговать. Кстати, как это ни странно и ни парадоксально, но по моим поверхностным наблюдениям наш брат-гуманитар почему-то в среднем в Израиле обеспечивает себе более приличный жизненный уровень, чем в Америке. Может быть, мое наблюдение ошибочно, но мне так кажется. Это, разумеется, при том, что — совершенно неоспоримо — жизненный уровень в Америке вообще гораздо выше, чем в Израиле. Но ведь если говорить, к примеру, что жизненный уровень, скажем, в Швеции выше, чем в Индии, это не значит, что шведский дворник живет лучше, чем индийский врач. Это лишь значит, что шведский дворник живет лучше, чем индийский дворник. И я знаю в Израиле людей — причем, не больших бизнесменов, а профессионалов из недавних эмигрантов, — которые зарабатывают и больше трех тысяч долларов в месяц (и это при том, что в Израиле жизнь дешевле, чем в Америке).

Вы ошибаетесь, когда пишете, что депрессия «у всех поголовно — у русской эмиграции». У меня, например, после выезда из Ленинграда ни разу не было никакой депрессии, и не было минуты, когда бы я пожалел, что уехал. Наоборот — оторопь берет меня при одном воспоминании о Советском Союзе: как вспомню, так вздрогну. И все шесть лет я только и радуюсь тому, как волно мне дышется. Вы можете сказать, что я исключение; но, уверяю вас, я знаю немало людей, выехавших из России, которые ощущают и думают примерно то же самое. И это несмотря на то, что им иной раз приходилось туго: мой друг Женя Тартаковский прошел через израильскую армию, полтора года там пробыл, а я могу вас заверить (сам пройдя только через месячные и двухмесячные военные сборы), что израильская армия — далеко не сахар; и все разговоры о том, что это — санаторий, — суть обывательские сплетни. Так вот, Женя, даже находясь в армии, по его словам, ежевечерне благодарил бога за то, что довелось ему покинуть Россию. Ну, а сейчас Женя преподает в Тель-Авивском университете и вообще чувствует себя кумом королю и сватом премьер-министру Менахему Бегину. Знаю я, кстати, в Тель-Авиве одного человека почти вашей профессии: он работает в какой-то строительной фирме, зарабатывает очень неплохие деньги, купил себе даже пентхауз и превосходно себя чувствует. Между прочим, в Израиле вы бы

точно нашли себе работу по специальности: во-первых, потому, что в стране очень много строят, и архитекторы да инженеры-строители без работы не сидят, а во-вторых, потому, что в Израиле — видимо, уникальная в мире ситуация, когда на работу совершенно спокойно берут человека, совершенно не знающего языка или знающего его очень плохо — в расчете, что он на работе подучится (как оно обычно и бывает); дело в том, что нет в Израиле такого учреждения, где не было бы людей, говорящих на всех основных европейских языках, в том числе и на русском. Мой друг Черняк поступил на завод, будучи инженером и не зная иврита ни в зуб, и в течение года объяснялся только на английском и на русском, пока не подзубрил кое-как иврит.

Кстати, русские поэты в Израиле — включая самых бездарных и в особенности самые бездарные — умудряются годами жить на какие-то стипендии от «Сохнута» (Jewish Agency) и других организаций, занимающихся грантами. На эту стипендию машину и виллу не купить, роскошествовать не будешь, в кругосветное путешествие не поедешь, но жить можно. Иосиф Бейн, паразит полнейший (это не ругательство, а констатация экономического факта), уже шесть лет умудряется с тремя детьми жить на разные стипендии и благотворительные пожертвования, издает за счет этих пожертвований сборники своих стихов, да еще за это время пару раз за чужой же счет съездил за границу, где пропагандировал свою поэзию. А уж как обирает свое родное еврейское государство Давид Маркиш, так это просто — только руками развести. Не говоря уже о том, что за счет «Сохнута» он объездил полсвета, пропагандируя Израиль и агитируя за выезд евреев из России (он был в Аргентине, в Сенегале, в Австралии и еще бог весть каких экзотических землях, не говоря уж о Европе, которая для него находится просто в пригороде около его дома), — не говоря уже о том, что он за счет родного еврейского государства издал несколько собственных книг, которые упорно не желают расходиться даже теми мизерными тиражами, которые нормальны для Израиля, — так он и в быту живет так, что купил виллу и ездит на вольво. Только глупые израильские евреи тратят столько денег на дармоедов: умные евреи диаспоры никогда бы этого не позволили.

Да, так вот — возвращаясь к Косте: я решительно не согласен, что костина мечта сделать антологию — это никому не нужно. Разумеется, вы совершенно правы, говоря, что это не нужно «континентовской» мафии и еще многим литературным пиратам. Но это нужно — нужно — и нам, немудреным читателям, знающим русский язык, да и (с дальним прицелом), может быть, и американцам и жителям других стран, интересующимся Россией. Конечно, таких тиражей, какие имеет Шекспир или Толстой, Костя себе не добьется, и я очень допускаю, что миллионером Костя на этой антологии не станет. Но если хочешь становиться миллионером, то надо бросать литературу и открывать ресторан. И, кстати, не будь костина работа нужна, не было бы «института русской культуры» и всех этих сборников, которые ведь не на манну небесную набираются, брошюруются и распределяются.

Желаю вам искренне, чтоб все образовалось, — и уверен, кстати, что образуется. И еще: если я могу чем-нибудь помочь — не стесняясь, пишите. Кстати, если срочно нужно будет денег, а одолжить будет трудно, то, сколько

смогу, пришлю, напишите, не стесняясь. И надеюсь, что в ближайшие год или полтора я выберусь в Америку и там вас навещу. Горячий, горячий привет и наилучшие пожелания от меня и от Тани.

Георгий Бен

P.S. Кстати, о машине: понимаю вашу обиду на мои неразумные слова (но я же не представлял до вашего письма, каково ваше положение), и тем не менее думаю, что надо на какую-нибудь «жалорее» разориться. Я могу помочь. Напишите честно, и долларов 200–300 я на это благое дело вам ссужу — отдадите, когда станете богачами. Я бы и так послал, но не знаю, как вы к этому относитесь. Так что напишите. Уверю вас, это меня не разорит.

* * *

The Institute of Modern
Russian Culture
at Blue Lagoon, Texas
John E. Bowlt, Director
Konstantin K. Kuzminsky, Head, Literary Practice Section
7 ноября, с Праздничком!

Жора, милый, только что отписал Халифу, еще письмо в машинке было, справляюсь у него за Давида Петрова, чьи стихи знаю с 62 года (и только их и имею), а там обнаружил — Халифу посвященное, и тут вдруг мышь приносит твое роскошное письмо! Ну, Халифа я бросать не стал, дописал, а теперь тебе. Письмо толстое и красивое. С вкладышами, гладышами и выкладками. Встаньте дети, встаньте в Круг! Встану. (Если не выставят). Понимаешь, Жора, в 35 лет (а сейчас в 39) смешно начинать поэтическую карьеру. Но начинать необходимо. А то носороги засрут. Покамест ни одной серьезной публикации у меня не было, а готовы. Печаталось — что друзьями (Мишей в Аполлоне), то мудаками (Васькой в Гранях и Конте) — и все не то. Моя Вавилонская Башня, поэма в 100 страниц и чуть помене языков (а уж лексических рядов и явно поболее), была закончена для Миши в 1972 году, вместе с выходом Сюзанниного «Живого зеркала» и ему переправлена (сам прислал), так и лежит. В феврале 76 меня взяли издавать в Гренобле, Марк Пессен, номеро уно художник книги (он делает только де люкс — Сенгора там в золоте издал, и кучу знаменитой французни). Николька Постникова, ребенком в войну попавшая из России и ни слова по-русски (пела только мне, пьяному — колыбельные!), переводит (перевод другого посылаю) с Ксюшей, которая старая эмигрантка! Но Марк захотел — роскошно (60х90, с кучей гравюр и в «сумасшедшем» переплете, на 2, не то 3 языках — я ему дал часть переведенного по аглицки), да еще с параллельным изданием, оформленным лучшим русским графиком Петроном Петровичем выбил пару лет назад полгода во Францию, приехал, потоптался у Шемяки, а на пути через Гренобль — завезли его в русский дом. Естественно, на стенке — Кузьминский. Стал с Марком работать. Из России переправил кучу иллюстраций, а они, на пути из Парижа в Гренобль... пропали. Так что что там теперь с изданием — не знаю. Но Башню трогать ни к чему. Велика. Есть еще несколько вещей, но с них начинать — не того.

А есть — вещь, которую я берег для Континента с декабря 75, с написания. Мельче — было как-то обидно. Не для Эха и Ковчеха, а в 22 — у меня

роман лежит. Бери, на свое усмотрение, мне к моим обвинениям в антисемитизме — больше не прибавится. 250 строк, «Биробиджан». Лучшее, что у меня есть. Лири-эпическая поэмка. Ну, посмотришь там по лексическим рядам. В антологию тогда не буду включать. Элинсон сделал к ней потресканные иллюстрации, но... зараза — закатил в цвете, да еще тончайшем! Когда-нибудь? издадут. А пока без оных. А тут начал ее на аглицкий переводить, так что можно б и билингову, а чо? Переводчик — мой друг и ученик (я тут целую школу навербовал, памяти тетки Таньки), могли бы и закончить. Но это я не знаю. Для отдельного издания — вроде бы мало, а журнал, как явствует — русскоязычный? Да ладно, без перевода. Если цензура пропустит. Есть еще у меня, довольно трагические «3 поэмы антисемитизма» и совершенно непристойная поэма «Татиана», из которой я бы только 3-ю часть тиснул. Слово «поэма» пусть тебя не пугает. Первая моя, «Томь» (1962) была 400 строк (очень коротких), а дальше пошло по убывающей — все по 100, только «Биробиджан» в 250 вылез. А стихов я не пишу. Лексика не позволяет. Слишком много рядов.

С прозой — сложнее. Как я тебе писал, год назад отдал 1-ю часть романа «Хотель цум Тюркен» в 22, они с восторгом взяли, и до сих пор — печатают. Мог бы, правда, предложить всю книгу (300 стр, стандартный пейпербэк), но там с набором за*бешься. И то это только по выходе в «22». Не потому, что я их уважаю, а пусть первые шишки — на себя берут. Роман — пошукаю разрозненные листы, лишки какие, их и пришло. А на копировку — уви! Сейчас вот Илюхе к дню рождения — 1-ю часть копирун, а весь... Но ты просто посмотри по стилю черновиков — может пойти, ай нет?

Не скажу, Жора, что я начисто лишен писаковского честолюбия, наоборот, но как-то фаталистически более отношусь. Случается, от неудачных (не по моей вине!) публикаций запиваю, весь мир не мил, но запиваю я, случается, и не от этого, А какой я поэт и прозаик — не мне судить. Хороший, полагаю. Но от этого не легче. В Америке 2 издательства — Кухарец и Половец, и один все Халифа не может выпустить, другой — «Эдичку». То у них печатник пьян, то подписчиков мало, фуфло. Половцу позапрошлой весной дал пару поэмок, все еще лежат. Альманах в издательстве «Альманах» пока не вышел. Кухарцу сейчас работаю шутейную книжку, ну, ее набрать — мне полдня, цитатки. Сенька Монас пишет предисловие и пишет кипятком.

Тут, кстати, о Фридберге. Разрекламировали вы меня с Сиднеем на совесть: полчаса говорили с Фридбергом — полный альянс, рвется рецензировать антологию, писать статьи о переводе. И вот ты сам, на свою голову наработал: Фридберг категорически и вполне резонно настаивает статью о тетке Таньке и переводы — помещать в 5-й том. И он прав. Кроме лирики публикаций переводов я пока не достал. Тщетно ищущу (с 63 г.) Костю Азадовского, «Песнь о любви и смерти корнета Марии Рильке», заказал сейчас достать фуги и переводы Бернса Петрова, Галкины надо у Васьки выцарапывать, и все это приводить в стройную систему. Яша Виньковецкий помнит почти наизусть Сергеевское «На борту Виктории Оу», надо потряхивать еще Алика Гинзбурга (мы с ним тут неделю назад всю ночь пропяньствовали и проговорили, он ошизел от моей антологии!), у него могут быть переводы Бурича, да много кого еще. Потом все это сырье надо представить на обработку Фридбергу. Друг мой и Учитель, Молот, переводчик Беккета Роб-Грийе, Мрожека (не для

денег, для себя переводил), уже в Вене, но когда я с него, с суки, переводы получу? Словом, не журись, Жора, ни за статью свою, ни, тем паче, за Щчербакова и Галку — к тому времени уже все 150 поэтов будет напечатано, кГб на годы разбираться, чепуха. Материалов надо, материалов. А в переводе я не секу, никогда не интересовался. Но придется. С Фридбергом мы кашу сварим, хотя на его лекции я и возникал кое-против чего. Подвирывает он, хоть и знает в сто (тысячу!) раз больше меня. Но все мы подвирываем. Очень мы с ним прочувствовались.

А вообще, Жора, посотрудничать не грех, на старости лет. Пойдет дело — так могу в Круг регулярно подборки со статьями давать — не о себе, понятно. Могу дать необэриутов, СМОГов, кого хошь. Из ненапечатанного. Могу дать стихи наркоманов, и могу — шизофреников (один друг в больничке собрал, да я добавил). Много чего могу, было бы нужно. Мне тут давали по весне журнал, но издатель, проф. экономики (тьфу, географии!) Щлак — такая тянучка! С ним нельзя. Да и некогда мне журналом руководить, и без него дел навалом. А 7 двойных выпусков — так и лежат, за месяц сделал. По 100 стр. Да, кстати, Жора, не нужны какому Кругу — прозаики? У меня антология «Лепрозорий-23» с 75-го года лежит, 275 стр, 23 автора, разбивать жаль, а уже помаленьку другие печатают. Коля Боков тиснул в 4-м Ковчеге Матренина — в аккурат, что у меня. Федю Чирсткова в лауреаты Даля произвели — боюсь и мой рассказик уйдет, и т.д. Набирать здесь негде, все наборщики в Палестине. Я ж из Ленинграда 3 тома антологий вывез, по 300 стр, да в сырье — полтонны. Сейчас вот, к примеру, для 2-го тома — Юпа в микропленках нашел, его «Твист» и «Шейк» знаменитые! А «Яичницы» и «Люля» нету... А без Юпа — как? Ни Полтавскую, ни Сайгон, ни Малую Садовую без него не опишешь. Был же. Практически, Жора, мне удастся процентов на 75 восстановить все, что было за эти 25 лет. Даже первый сборник Коли Рубцова — я делал. Словом, картину. Морев тот же. С Бродским соперничал! Без успеха, правда. А уж поэт — получше Бетаки. А только у меня и есть. Или альманах «Фиоретти. Малая Садовая» (1966) — все стихи из него, Эрлюша дал!

А скольких я еще не могу найти! Бейна, я, к примеру, искать не буду. Виделись один раз, и то он у Гришки слепого, пользуясь слепотой, 1-й сборник Иосифа спер, в 63-м. Тогда я его выпустил на чтении Бродского-Наймана в институте народе Азии, согласовав с Осей. Тогда ничего поэт был. А сейчас — встречаю его только по стишку тут и там, не впечатляет. Может, правда, в сборниках что есть. Но где их взять? В Израиле у меня, кроме Анри Бокштейна и Милославского — ни души. Так первый — в эмпириях, вторые два — нищи.

Насчет того, что Бейн паразит, так все мы — паразиты. В России меня матушка кормила, здесь — жена. На фондах, правда, не паразитирую, только «на живой ткани». Работать, правда, приходится больше мне, но зарабатывать — Мышке.

А Милославского я свято чту, как прозаика, и действительно, ему сейчас ху*во. Есть люди, Жора, округло к жизни прилегающие, а есть — углами. Я — и так, и так. Как к кому и к чему. А Милославский — весь из углов. Потому ему и неуютно. Бардак же там у вас редкостный, сужу по всем полемикам, да и друзья просвещают. Все они с пеной у рта защищают Израиль, как

будто кто на него, помимо арапов, нападает. Я сюда ехал не где лучше жить, а — где спокойней. Работать. Кроме того, я к Святой земле имею самое касательное отношение. Ни к чему мне она, разве грубо поклониться. Так и то — я язычествующий христианин, мне реликвии ни к чему: Бог — в душе. А там бы я, конечно, полез в драку, иначе я не могу. Здесь же драться не с кем. Насчет же жизни тутошней — то сначала жил профессором (год), потом надеялся на лекции-выступления, но на них славы не хватило и агента приличного пока не подыскать, с начала этого года — на институт, а он дом еще покупает, не до зарплаты моей. Человек я практичный только в искусстве, а оно, падла, дивиденды приносит только под старость или, хуже того, по-смертно. Но я не жалуюсь. Жена у мене тоже неприспособленная, иначе б такого мудака в мужьях не держала. Купил ей 2 года назад машину, за 250, красный «Амбассадор» (эк!), так она постояла-постояла и сломалась. Подарили этим летом вторую, 150 за починку, которых у меня, по летошнему безделью, не нашлось. Оставил механику. Да и главное — боится она, зараза, учиться водить. А мне — к чему? Я 90% времени провожу в койке, за машинкой, мне на работу не ездить. Ну ладно, уломал ее учиться (а в этом году — через 3 года по приезде! — и английским занялась. Даже нравится), так на курсы — не на что пока послать. А ее без инструктора — смысла нет за руль сажать, описается от страха. Мне-то что, я уже водил. Сели с моим переводчиком Гришкой в Амбассадор, сзади собаки, едем. Теперь, говорит, тормози и заворачивай. Я и нажал на тормоз. По советски. А тормоза — американские. Собаки — горжетками нам на шею, а сами мы чуть через ветровое стекло не вылетели. Ну, перестал я давать, а она — ЕДЕТ! Я кричу, чего ж она едет, если я на педали не давлю? А он говорит: ты тормози. Ну я еще раз. После этого Гришка ездить со мной отказался. А я не боюсь, только — зачем? Если Мышь сама водить не будет — что ж, мне ее на работу возить? Так я в 7 только ложусь, когда она встает, всю ночь работаю. Обещал тут пан директор институтскую машину купить (мне значит), так еще на дом 40 тыс, получить не можем. Меньше месяца осталось, а потом дом продадут и ищи другой. Так что до машины ли, Жора? Живем пока в негритянском квартале, благо, полчаса ходьбы до мышьиной работы, а там видно будет. Понимаешь, Жора, я легко мог бы получить на годик какую-нибудь вонючую синекурку в каком-нибудь вонючем университетике, но это значит: мотаться, а я отмотался в юности уже, по всей России, мне для работы нужно чего пожрать и чтоб покой. Пожрать есть чего, за квартиру плочено, а на бордели все равно не заработать. Из долгов я все равно не вылезаю, потому что эта бл*дская антология — съела уже тысячи 3 (машинка там, телефоны, почта, копии и т.п.) А не звонить — ни из Лимона, ни из Лившица, ни из Баха — не выжмешь ни фига материалов. Да и прочие мои проекты мне боком обходятся. На дневник Юлии — 1000 истратил — ну, 1000 за фильм и получил. Плюс слава. Еще слава Богу, на канцелярию не трачусь; жена с университетской помойки папки приносит, в них и раскладываю рукописи, а укупить — не по средствам. Бывает, надоедает мне вся эта благотворительность — тогда запиваю. Попью, попить — и опять за работу. Ничего, получается. А жить там на Синайской гое, на Луаре, или в Новой Гвинее — не все одно? Я и среди папуасов найду телевизионщиков, фотографов, переводчиков и буду делать то же. Надо же кому-то делать.

Так что чепуха это все, Жора — мелочи житейские. Сейчас варю вот свиную голову, мне свинину можно, на недельку стюдию хватит, и Джона с Илюшкой подкормлю. Хлеба вот здесь нет. Мышь печет, но раз на раз не получается. А жить можно.

А касательно проектов — давай. И монаха своего южно-африканского (я параллельно ко всему собираю еще антологию монашеской поэтики, от Величковского-Довгалева, через Прокоповича, до матери Марии и до наших дней. Друг тут у меня переводит на аглицкий какую-то знаменитую португальскую монахиню, метафизичку 17 века, тоже посмотрим. Но в общем, мы с Тютюником — прохвессор по 18-му веку, ровесник Фридберга и такой же умница, из украинских евреев и стихопис — уже давно над этим думаю. Так что давай, и оригиналы и переводы свои!). И с переводчиками еще предстоит поработать, к 5-му тому, а то — голословно про тетку, а так — такое закати! Хотя по паре лучших приведем, где в статье Фридберга, где к твоей. А за их ты не беспокойся. Во-первых, будет не до них, а во-вторых, я не Вася. Вася удука, я с самого приезда, как ознакомился с его на Свободе и в Посеве — так сразу и завязал, а не только из-за Галки. Я антисоветчиков не люблю, это — советчики навыворот, тот же носорог Максимов, да и Сол припахивает. Я не аполитичен, а просто еб*л эту мышиную грызню и возню, попробовал, на Голосе чем пахнет — и решил: не надо. Не нужны мне деньги за такое гавно, как Родина, пусть ею Вася торгует, а я — продукцией. Искусством, то-ись, которое может быть и политично, но в первую голову — хорошо. Думаешь, я Биробиджан из-за политики писал? Из-за поэтики, а политика — поневоле. Прижали за жопу — ну и... И понимаю я Галку и Сашу — они не советские, но уж никак — не посевовские. Вася же этого не понимает, и не понимал никогда. Вася мыслит (если тот процесс, что у него в черепушке, можно назвать каким-либо словом) — ррационально. А я — ииационально. А то, что оба мы не по вкусу советской власти — так это не значит, что Вася мне по вкусу. А в Континенте только по этому племенному признаку и отбирают — диссидент, аля нет... Лимонов — он кто — диссидент? Да нет, недоделанный анархист и поэт, что главное. Ему ж не в президенты баллотироваться, а про боль свою рассказывать. То же и Мило-славский. За то и ценю, а не за политическую программу. Коммунистов, правда, не встречал. Кроме как из старшего поколения, да и те — в недоумении (отцы наши). Так что не боись за Галку с Сашей, не обосру, я не Вася. А тексты переводов, какие есть, какие найдешь нужным — откопируй, друг! Я ж не профессор, мне не выписать из Ньюйоркской или Конгресса. Не дают. Сижу тут только с головой и без книг.

Ну, думаю, все. Машину, если присмотрю, тебя иметь буду, но не до машины, Жора, сейчас. Завтра вот приходит местный телевизионщик, обсуждать серию фильмов, какие можем сделать, и приезжает продюсер, фильм о Юлии дописывать и доснимать. Из Бостона. Фильм будет классный. Юлиа Виктория Федорова в каких дублирует, а я себя сам. И художник мой (фотограф он же) должен привести из Вако остатние окантованные работы к выставке, да для антологии чего отнять (те же твои). Алик Гинзбург обещался, но он нафармазонил. Еще мне надо кучу писем дописать по делам и за ночь написать статью о местной художнице, к ее выставке. Сумасшедшая баба, музыкантша и график, шизо, пьяница, но — талантлива. Они тут, падлы, все ко мне прилипают, как в Питере, а мне весело. Стал, так сказать, центром

художественной жизни Остина. А толковых людей, что в деревне, что в городе — всегда одинаковый процент. Так что не скушно. И студень надо варить. На харчи и квартиру у меня всегда бы хватало, если б не «непредвиденные». Но и доходы тоже бывают — непредвиденные, редко, правда. Сейчас вот институт меня от расходов на бумагу и марки ослобонил — и то хлеб, и какой! Был бы дом — получили бы и ксерокс, а так не дают: солидности еще не набрали. Но — терпение. Институт то начался — 15 мая с.г. И уже таких имен набрали (главное, голов!). А Джончик, директор, был у меня в студентах, ни одной лекции по питерским пиитам не пропустил, отчего и уверовал. Помогает, как может. И главное — Мышке. Каждый уикэнд вывозит нас на пленеры, отчего она отдыхает до понедельника. Еще купаемся, и будем, жарим шашлыки и проводим заседания кафедр — по яйца в воде, благодать. На неделе то ни у него, ни у мене времени нет, заседаем по субботам. Младше меня на 3 года, а сделал — втрое, если не в 30! За ним не пропадешь. Обнимаю. Голова секции и привет (поклон) Тане. ККК

ПРИЛОЖЭНИЭ (БЭЗ ПРИЛОЖЭНИЙ):

Жора, братик, сунулся я тут по сусекам, искать не надо, у меня по почкам, посылаю Биробиджан, 3 поэмы (для иллюстрации публикации в «Парле», НЕ ДЛЯ печати) и Китовраса.

А править у меня все равно ничего невозможно: я тку на совесть. Ковер получается, орнамент. Ближе к этому в Л-де не пишет никто, а в Москве — Лен, мой Сальери, и гениальный Володя Алейников, но он криворожскую вязь плетет и замоскворецкую. Вообще, утешает, что никто ни х*я не поймет. И не надо.

А то опять «понятное» выдерут, как в Континенте. Понятное Васе. И Володе. Писать надо непонятно, поэтому сейчас попросту перешел на диалекты Занзибара и Замбии. А то по-французски пишешь абсурд, а какая-нибудь бл*дь французский язык знает: как это у вас сюрреалистически получается, и переводит. Ясно, сюрреалистически, когда я слова не по значению, а по звучанию сопрягаю. Или тут с испанского переводчик пр*ебся. Тоже понятно. Но больше всего меня утешил негр африканский 3 года назад: зарыдал от Вазамбы Мтуты — спасибо, говорит, я родной язык услышал! Хоть понимает. А то читаю Биробиджан на Голосе, подходит милейшая старушка, Крузенштерн-Перетц, правнучка бронзового, крестит меня, целует и плачет: «Если б вы еще по-русски писали!» Вот так, Жора.

Касательно данных:

год рождения — 16 апреля 1940, в больнице Урицкого в Л-де (вместе с Чарли Чаплиным и Акимовым НП)

нац-ть: поляк-цыган-еврей и русский

родители: один дед поляк расписывал Кронштадский собор, другой еврей — торговал картинками, отец — художник, погиб добровольцем (Невская Дубровка), мать — учительница (учит и по сю) меня

образование: школа — 1-я английская (213-я) в Л-де, биофак (герпетолог, не окончил), театральный (театровед, не окончил)

Работал: на суше и на море, в зоопарке и на ликерно-водочной фабрике, в кино и на телевидении, в Сибири и на Кавказе, профессором Техасского университета и возил навоз на Толстовской ферме. В промежутках писал и пил.

женат: 5 раз, детей — дочь Иудиа от 4-го брака
резиденция: Техас, г. Остин, Голубая лагуна
автор: книг, антологий, каталогов, статей о живописи, народных песен (Туман) и т.п.
языки: большинство европейских, сибирские, ряд африканских и полинезийских (из каждого понемногу, ни одного целиком)
выставлялся (живопись и боди-арт) в россии и в америке
печатался: во франции, израиле, америке и россии
средний годовой заработок: 2 000 долларов, источники дохода: жена.
любимая книга: 3 мушкетера, любимый поэт: киплинг, любимая женжина: (женат), любимое место: берег Маклая
антипатии: антисоветчики, коммунисты, сионисты (можешь опустить), гомосексуалисты, лесбиянки и западные либералы
знакомые писатели (западные): генрих белль, аллен гинзберг, билл мервин, ахмад шамлу и эдик лимонов
знакомые киноактрисы: элизабет тейлор и ольга бган
знакомые спортсмены: наташа кучинекая и коля евсюков
знакомые китайцы: мой лэндлорд м-р Тинг и поэт Ли Бо
любимые напитки: текила, белый ром и жигулевское пиво (бочковое, разлива Стеньки Разина)
любимые табаки: памир, египетские сигареты и честерфилд (кинг-сайз, без фильтра)
любимые наркотики: кашгарекий план (черный)
любимая еда: мясо
нелюбимые писатели: набоков и лев толстой
нелюбимые поэты: пастернак и ахматова
любимые еврейские писатели: Давид Фридман и менделе мойхерсфорим
нелюбимые журналы: континент, посев и сион
любимые журналы: «Нива» Ваулина и «ами» (за то, что напечатали Веничку)
любимая одежда: саронг
любимые художники: левитин и михнов-войтенко
любимое оружие: техасский кольт образца 1845 г и малайский крик (имеются)
религия: языческий христианин
особые приметы: отсутствие селезенки и два пупка
был: жокеем, змееловом, золотоискателем, охотником, натурщиком и козопасом
учителя: Л.В.Успенский, В.Н.Сорока-Росинский (Викниксор), Валерий Молот, Т.Г.Гнедич,
Г.Чугунов и Д.Я.Дар
Ну, вот, пожалуй, и все.
Остальное можешь почерпнуть из резюме, только нужноли?
Настоящее место работы: ИСРК у Голубой Лагуны, зав. секцией литпрактики.
Если можно — пушай так, добавив к этому от себя некоторое предисловие о характере.
Но анкету — поместить бы.

Словом, для начала — хотелось бы Биробиджан, с послесловием Ильи и далее — твоя часть с приложением анкеты. А?

В этой биографии — нет ни слова неправды. В чем подписуюсь. А от себя пиши что хошь. Ты не ваяя, тебе я верю.

Жора, ну вот тебе еще 2 поэмки и 1 стишок. Поэмки для печати, стишок — так. Добра этого накопилось изрядно.

Так что смотри. Обнимаю. К.

Сегодня еще написал Ливонскую войну, после письма к тебе уже.

Сейчас буду мышь будить, 12 часов проработал — как Мышь с письмом пришла, и до утра. Тебе писал, поэмку написал, то да се.

У меня — как запой, так неделями — пью ли, пишу ли.

Скорее всего, и запиваю с перенапряга. И с лирики. Малютка, Леночка Глуховская — бл*дь, там ее и подобрал, знал, что. Но — с дюжину стихов и поэм.

Полина — роман.

Кохана Анна — шастает по остину, ищет, как польский паспорт на местный поменять, деловая девочка. Но красива...

Татьяна — так просто из Интуриста.

Но хоть стихи получают.

А я под утро малость ох*евши, а меня еще целый день еб*ть будут, а мне еще Милославскому писать, Бокштейну... Там у меня, вроде в 22 ессе на 3 романа берут: на Юрин, Единое и Веничкин, так на пару страничек. Юра пишет, что надо поправить. А меня править нельзя, придется переписывать, а то ритмика ломается. Насчет вранья я не знаю, а Милославскому там тяжело. Помогать надо.

Ну, прощаюсь, Жора. Жена допишет.

Ку-Клукс-Клан.

Пс. Да, именовать меня — «Константин К. Кузьминский», на среднем К — настаиваю.

Для печати.

ЦК

#

P.S. Хочу срочно вам отправить весь этот материал. Спасибо за теплоту и доброту. И никогда не сердитесь на Костю. Он может, конечно, и взболтнуть и что еще другое. Но людей он очень любит. И работать с ними любит, порой не умеет. В таких случаях его надо ставить на место. Очень помогает! Знаю.

Пишите, не пропадите. Он очень о вас всегда хорошо отзывался, хотя и не так часто виделись, там — в том мире.

Огромный привет Тане.

Эмма

* * *

Дорогой Костя!

Получил твой большой пакет с письмом, стихами и т.п. Все очень хорошо, и большое спасибо. К сожалению, не могу сейчас ответить подробно, ибо через два дня мы уезжаем в отпуск; вернемся 23.XII. Сейчас совершенно катастрофически нет времени.

По приезде — напишу подробнее, отвечу на все твои замечания. А пока — несколько предварительных заметок. Я не знаю, захочет ли Мордель печатать в «Круге» длинные поэмы по 200–250 строк. Ведь «Круг» (чтоб ты не обманывался) — это популярный еженедельник на 32–46 страниц, со всякой всячиной (израильская жизнь, международная политика, интервью, стихи, рассказы, фельетоны, гороскопы, кулинарные рецепты, рецензии и т.д. и т.п.) — короче, «Rambler» (как у Аддисона и Стила). На этот случай напиши, согласен ли ты на сокращения, и если да, то не возьмешься ли ты сам указать, какие места можно было бы сократить. И, само собой, то, что будет напечатано в «Круге», ты можешь спокойно включать в свою антологию: читатели у этих изданий будут разные, и сам «Круг» — это не высоколобый журнал типа «22», а популярный еженедельник, рассчитанный на самую широкую публику (иначе он не продержался бы и месяца: ведь он — единственный в Израиле журнал на рус. яз., не получающий дотаций, и, тем не менее, как-то кормящий своих владельцев и сотрудников).

Итак, жду он тебя ответа насчет того, можно ли сокращать твои поэмы (в частности, «Биробиджан»). Я, со своей стороны, постараюсь внушить Морделю, что лучше было бы все-таки не сокращать.

Эмме — мой самый пламенный привет.

Всячески тебя обнимаю и жму руку —

Георгий Бен

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б.Марковский*
Рисунки *Ю.Филипчук*
Дизайн обложки *С.Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 24.08.2013. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 19,9. Печать офсетная. Заказ 284.
Тираж 500 экз.

**Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...**

